

ISSN 0038-5050

С О В Е Т С К А Я Э Т Н О Г Р А Ф И Я

1983



ИЗДАТЕЛЬСТВО • НАУКА •



СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

2

Март — Апрель
1983

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1926 ГОДУ • ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. В. Бромлей (Москва). Этнографическое изучение современных национальных процессов в СССР (К 50-летию ордена Дружбы народов Института этнографии АН СССР)	4
К. В. Чистов (Ленинград). Традиции и вариативность	14
С. А. Арутюнов (Москва), Э. С. Маркарян, Ю. И. Мкртумян (Ереван). Проблемы исследования культуры жизнеобеспечения этноса	22
В. Д. Итонишвили (Тбилиси). Грузинская советская этнография за 60 лет	32
Н. Г. Волкова (Москва). Арабы на Кавказе	41
В. Г. Стельмах (Москва). Политика переселения индейцев США в 30-е годы XIX века	51
Дискуссии и обсуждения	
А. Ф. Дашдамиров (Баку). К методологии исследования национально-психологических проблем	62
В. И. Козлов (Москва). О некоторых методологических проблемах изучения этнической психологии	74
А. А. Леонтьев (Москва). Национальная психология и этнопсихология	80
С. А. Арутюнов (Москва). Об условности понятия «этнопсихология»	82
И. М. Кузнецов (Москва). Об обыденных этнокультурных психологических представлениях	84
Сообщения	
Н. В. Шлыгина (Москва). О функциональной взаимосвязи построек крестьянского двора в Восточной Прибалтике	88
В. С. Цой (Алма-Ата). Изучение семейной обрядности корейцев Казахстана	96
Е. П. Завадская (Москва). Некоторые этноконфессиональные аспекты формирования многонационального Эфиопского государства в конце XIX века	102
Этнография в музеях	
А. М. Разгон (Москва). Музей и наука	109
А. О. Мелия (Тбилиси). Музей народного зодчества и быта Грузии	114
Поиски, факты, гипотезы	
Н. Л. Жуковская (Москва). Визит в Каминояма	122
Научная жизнь	
Ю. В. Бромлей, Л. П. Кузьмина (Москва). Второй конгресс Международного общества этнологии и фольклора Европы	130



В. А. Тишков (Москва). 44 Международный конгресс американистов	13
М. С. Бутинова (Ленинград). XIII конференция по изучению Австралии и Океании	140
Коротко об экспедициях	144

Критика и библиография

Критические статьи и обзоры

З. М. Волоцкая (Москва). Новое в изучении болгарских сказок	145
---	-----

Общая этнография

Л. Е. Куббель (Москва). А. И. Першиц, А. Л. Монгайт, В. П. Алексеев. История первобытного общества	148
В. Н. Кисляков (Ленинград). Собрание Музея антропологии и этнографии АН СССР (К 100-летию образования первого академического этнографического центра)	151

Народы СССР

Л. Б. Заседателяева (Москва). Б. А. Калоев. Земледелие народов Северного Кавказа	154
В. П. Кобычев (Москва). В. А. Кузнецов. Нартский эпос и некоторые вопросы истории осетинского народа	156
Т. С. Макашина (Москва). Обрядовая поэзия Пинежья	158

Народы Зарубежной Европы

Ю. Л. Бессмертный (Москва). G. Duby. Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale	161
---	-----

Народы Зарубежной Азии

Г. Н. Грачева (Ленинград). Е. В. Ревуненкова. Народы Малайзии и Западной Индонезии (некоторые аспекты духовной культуры)	165
--	-----

Народы Африки

С. Я. Козлов (Москва). Г. С. Киселев. Хауса. Очерки этнической, социальной и политической истории (до XIX столетия)	168
---	-----

Редакционная коллегия:

К. В. Чистов — член-корр. АН СССР (главный редактор),
 В. П. Алексеев — член-корр. АН СССР, И. Л. Андреев, С. А. Арутюнов,
 С. И. Брук, Н. Г. Волкова (зам. главн. редактора), Л. М. Дробизева,
 Т. А. Жданко, А. А. Зубов, Р. Н. Исмагилова, Р. Ф. Итс, Л. Е. Куббель
 (зам. главн. редактора), А. А. Леонтьев, Б.-Р. Логашова, Г. Е. Марков,
 А. И. Першиц, Н. С. Полищук (зам. главн. редактора),
 П. И. Пучков, Ю. И. Семенов, В. К. Соколова, С. А. Токарев,
 Д. Д. Тумаркин

Ответственный секретарь редакции Н. С. Соболев

Адрес редакции: 117036 Москва, В-36, ул. Д. Ульянова, 19
 телефон 126-94-91

Зав. редакцией Е. А. Эшлиман

УКАЗ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

**О награждении Института этнографии имени
Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР орде-
ном Дружбы народов**

За заслуги в развитии этнографической науки и подготовке научных кадров наградить Институт этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР орденом Дружбы народов.

**Первый заместитель Председателя
Президиума Верховного Совета СССР**

В. КУЗНЕЦОВ.

**Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР**

Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.

**Москва, Кремль.
3 февраля 1983 г.**

Ю. В. Бромлей

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СССР

(К 50-летию ордена Дружбы народов
Института этнографии АН СССР)

Учет национальных факторов жизни советского общества приобрел важнейшее значение для его поступательного движения с момента возникновения, ибо «Октябрьская революция перевела политические лозунги и требования в плоскость повседневной организаторской работы»¹. Именно поэтому с первых же дней после революции ученые нашей страны включились в исследование национальных процессов, принимая вместе с тем активное участие в самой практике национального строительства. Существенная роль в этом отношении принадлежала этнографам. Как известно, претворение в жизнь Декларации прав народов России, провозгласившей в 1917 г. «свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих Россию»², могло быть осуществлено лишь при условии устранения неравенства всех этнических общностей страны. Решение этой задачи существенно затруднилось отсутствием надежных данных о национальной, этнической принадлежности населения в территориальном разрезе: единственная всеобщая перепись населения Российской империи (1897 г.) учитывала, как известно, лишь родной язык. Не случайно В. И. Ленин дал специальное указание о составлении этнографической карты Туркестана³.

Одним словом, молодое Советское государство нуждалось в точных научных данных, которые помогли бы проанализировать сложившуюся этническую ситуацию. Эти данные — об этническом составе населения, его численности, пределах расселения основных народов и их локальных групп — страна ждала от этнографов. И в этой связи нельзя не вспомнить ту самоотверженную работу, которую провел большой отряд наших ведущих специалистов, подготавливая национально-государственное размежевание советских республик Средней Азии. Это, в частности, крупные экспедиции, посланные по решению государственных и партийных органов страны в Бухарскую и Хорезмскую республики и в другие слабо изученные в этнографическом отношении районы Средней Азии. Для этнографов реализация национально-государственного размежевания в Средней Азии в 1924—25 годах и позже является одним из важнейших итогов их работы, проведенной в теснейшем сотрудничестве со специалистами других профессий, с государственными и партийными работниками. Успешному проведению его немало способствовали составленные в те годы этнографические карты, а также «Список народностей СССР», статьи и публикации, характеризующие этнический состав отдельных областей⁴.

В канун Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы вклад этнографов в изучение современных национальных процессов нашей стране сводился в основном к выявлению культурно-бытовых параметров отдельных народов, сначала преимущественно малочисленных, а затем и многомиллионных, таких, как, например, русские, украин-

¹ Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР. — Правда, 22 декабря 1982 г.

² См.: Декреты Советской власти, т. I, М., 1957, с. 40.

³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 436.

⁴ См.: Токарев С. А. Ранние этапы развития советской этнографической науки (1917 — середина 30-х годов). — Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии, в. V, ТИЭ, т. 95, М.: Наука, 1971, с. 117.

Бекн и т. д. Вместе с тем в конце 40-х — начале 50-х годов у этнографов начинает появляться интерес к этнической проблематике вообще, к этническим аспектам национальных процессов в нашей стране, в частности. В результате, уже в 60-е годы были намечены некоторые типы современных этнических процессов в СССР⁵. Одновременно постепенно развивается разработка теоретических аспектов этнической проблематики в целом⁶.

Не без содействия этнографов в последнее время привлечено внимание и к этническим аспектам национальных процессов. Выделение этих спектров позволяет глубже проникнуть в суть такого рода процессов, в частности, путем раскрытия культурно-бытовой специфики жизни народов, отличающейся, как известно, большой устойчивостью. Это тем более существенно, что, как отметил в докладе «Шестьдесят лет СССР» Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов, национальные различия будут существовать много дольше, чем различия классовые⁷. Следовательно, еще в условиях зрелого социализма нации будут не столько этноциальными, сколько собственно этническими общностями.

Не случайно, видимо, и то, что в последнее время этническая терминология получила широкое распространение не только в исторических исследованиях (в первую очередь в трудах по этнографии и региональной истории), но и в нашей философско-социологической литературе и на страницах общественно-политических изданий (в том числе таких, как газета «Правда» и журнал «Коммунист»). Одним словом, этническая терминология приобрела права гражданства, притом не только применительно к отдаленным временам (этногенезу народов), но и к современности. В последнем случае этническое рассматривается как одна из сторон национальных общностей. Под ним при этом подразумевается национально-специфическое, проявляющееся прежде всего в языке, повседневной культуре, в том числе обрядах и обычаях, устном творчестве, нормах поведения, а также в особенностях психического склада, в частности в характерных чертах ценностных ориентаций. Одну из неперменных сфер проявления этнического представляет самосознание. Нет ни одного народа-этнoса, не имеющего своего самоназвания, стало быть, и этнического, национального самосознания.

В свете сказанного в национальных общностях и национальных процессах могут быть условно выделены две основные стороны: этническая и социально-экономическая. Соответственно нация характеризуется как этносоциальная общность, а национальные процессы, как этносоциальные.

Разграничение в национальных явлениях двух основных сторон в свою очередь позволило выдвинуть задачу изучения взаимосвязи, взаимодействия этнического и социально-экономического в рамках нации в ходе национальных процессов. Именно такого рода задача и была поставлена перед возникшей в конце 60-х — начале 70-х годов на стыке этнографии и социологии новой пограничной дисциплиной — этносоциологией современности. При этом был сразу определен двусторонний характер такого рода работ: изучение, с одной стороны, особенностей этнических процессов в разных социальных группах, с другой, — своеобразия социальных изменений в различных этнических средах, у разных народов⁸. Вместе с тем предусматривалось широкое использование методики и инструментария конкретно-социологических исследований, прежде всего массовых анкетных обследований с последующей обработкой материалов с помощью ЭВМ.

⁵ См., например: Гарданов В. К., Долгих Б. О., Жданко Т. А. Основные направления этнических процессов у народов СССР. — Сов. этнография (далее СЭ), 1961, № 4; Гурвич И. С. Некоторые проблемы этнического развития народов СССР. — СЭ, 1967, № 5; Козлов В. И. Современные этнические процессы в СССР. — СЭ, 1969, № 2.

⁶ Об этом см., например: Чебоксаров Н. Н. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых. — СЭ, 1967, № 4; Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973, с. 23—25.

⁷ Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР.

⁸ См.: Бромлей Ю. В. Наука о народах мира. — Наука и жизнь, 1968, № 8.

Можно сказать, что в последние десять-пятнадцать лет этносоциология современности оформилась как самостоятельное научное направление. В частности, за этот период этносоциологами Института этнографии АН СССР в содружестве со специалистами из союзных и автономных республик (этнографами, историками, социологами) проведены массовые обследования с выборкой по 5—10 тыс. чел. в различных регионах нашей страны: в Татарии, Эстонии, Грузии, Молдавии, Узбекистане РСФСР (Московской, Калининской, Саратовской областях и Краснодарском крае). Кроме того по аналогичным или близким программам в последние годы проведены отдельные обследования, главным образом силами местных специалистов, в ряде других республик (в Армении, Белоруссии, Литве, в республиках Северного Кавказа, Карелии и т. д.). Результаты всей этой работы получили освещение в многочисленных статьях, а также в ряде монографий. Первой из таких монографий была вышедшая в 1973 г. книга «Социальное и национальное», в которой рассмотрены разные социальные группы у двух основных народов Татарской АССР — татар и русских. В 1980 г. вышла работа, обобщающая этносоциологические материалы по Молдавии — «Опыт этносоциологического исследования образа жизни»; в ней анализируются данные, относящиеся ко всем основным национальным группам республики: молдаване, украинцам, русским, гагаузам и евреям. В настоящее время заканчивается подготовка коллективного труда «Социально-культурное развитие и сближение наций СССР», в котором будут обобщены основные результаты соответствующих исследований, предпринятых в разных регионах страны (в ряде случаев такие исследования проводились повторно с интервалом в несколько лет).

Этносоциологический подход позволил, не ограничиваясь рассмотрением национальных отношений так сказать на республиканском уровне, обратиться к анализу национальных процессов с учетом представителей отдельных национальностей, живущих как в соответствующих республиках, так и за их пределами. Более того, появилась возможность исследовать межнациональные отношения на личностном уровне, на уровне повседневных взаимоотношений представителей разных национальностей. Подобного рода исследования, связанные с анализом национальных установок людей, национальных особенностей их ценностных ориентаций, а также национального самосознания, уже по существу относятся к пограничной зоне этнографии и психологии, т. е. к этнопсихологии. Такой характер, в частности, имеет недавно опубликованное исследование межнациональных отношений в нашей стране⁹. В тесной связи с этносоциологическими работами, в значительной мере в их рамках, разворачивались в последние годы этнолингвистические исследования временных национальных процессов.

Параллельно шло и собственно этнографическое изучение этих процессов, в центре которых находятся культурно-бытовые изменения, происходящие у народов нашей страны. Важная роль в осуществлении такого рода исследований принадлежит этнографическим экспедициям в самые различные части страны: от Чукотки до Закарпатья, от Туркменистана до Таймыра¹⁰.

Предварительные итоги проводившихся в последние годы всех разновидностей этнографического изучения (в том числе и на стыках смежными дисциплинами) национальных процессов в нашей стране за послеоктябрьский период подведены в коллективном труде «Современные этнические процессы в СССР». В этой работе, выдержавшей два издания — в 1975 и 1977 г. и отмеченной Государственной премией СССР, широко освещены этнические аспекты национальных процессов за годы Советской власти.

⁹ Дробизева Л. М. Духовная общность народов СССР. Историко-социологический очерк межнациональных отношений. М.: Мысль, 1981.

¹⁰ Результаты этих исследований получили воплощение в книгах: Пименов В. Удмурты: опыт компонентного анализа этноса. Л.: Наука, 1977; Этнические и культурно-бытовые процессы на Кавказе. М.: Наука, 1978; Культурно-бытовые процессы

Одновременно началось изучение и этнодемографических процессов в нашей стране. Правда, эти сюжеты рассматривались главным образом в контексте соответствующих процессов глобального характера¹¹.

Вместе с тем предпринимались шаги для комплексного изучения национальных процессов в СССР совместно с философами, историками партии, экономистами, правоведами и т. д. В результате Научным советом по национальным проблемам при Секции общественных наук Президиума АН СССР совместно с Институтом этнографии опубликован ряд работ¹².

Нельзя не упомянуть и о расширении исследований советскими учеными современных этносоциальных процессов за рубежом, в Западной Европе, на Американском континенте, в Африке, Австралии и Океании¹³.

Каковы же научные результаты всей этой работы? Ограничусь здесь лишь упоминанием некоторых важнейших наблюдений, сделанных в ходе этнографического изучения современных национальных процессов в СССР.

Одна из особенностей такого изучения — усиление в последние годы внимания к сближению социальной структуры наций и народностей, особенностей их социальной мобильности, характерных черт брачно-семейных отношений. Соответствующие исследования позволили, например, конкретно представить разницу между социальным составом наций и населения республик, которые нередко отождествлялись. Такой подход представляется тем более важным, что, как отметил Ю. В. Андропов, в некоторых союзных республиках «в составе рабочего класса должна быть более полно представлена коренная национальность»¹⁴. Принципиальное значение для понимания изменений в уровне социального развития наций имеет сделанный на основе анализа репрезентативных массовых материалов вывод о том, что особенно высокие темпы социального роста свойственны народам со сравнительно большей долей неквалифицированных работников в прошлом.

Вместе с тем, в целом анализ зависимости социального роста от образования, социального положения родителей, социального состава семьи, национальной принадлежности, знания языков показал, что национальная принадлежность в современных условиях не является существенным фактором, определяющим массовые масштабы социального продвижения.

Значительное внимание уделено за последние годы этнодемографическим аспектам современных национальных процессов в нашей стране. Это особенно относится к динамике численности населяющих ее народов. Соотношение их численности, как известно, не остается неизменным. И это прежде всего обусловлено расхождениями в темпах естественного прироста различных народов страны. Так, за двадцать лет (между переписями 1959 и 1979 гг.) в южных районах страны население увеличилось на 75—100 и более процентов, в то время как в других районах рост был

юге Украины. М.: Наука, 1979; Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, 1980 и др.

¹¹ См., например: Численность и расселение народов мира. М.: Изд-во АН СССР, 1962; Козлов В. И. Динамика численности народов. М.: Наука, 1969; Брук С. И. Население мира. Этнодемографический справочник. М.: Наука, 1981; Козлов В. И. Национальности СССР. М.: Статистика, 1982.

¹² Основные направления изучения национальных отношений в СССР. М.: Наука, 1979; Братское сотрудничество народов Советского Союза — интернационализм в действии. М.: Наука, 1978; Интернациональное и национальное в современном мире. Кишинев: Штиинца, 1981; Актуальные проблемы национальных отношений в свете Конституции СССР. М.: Наука, 1981.

¹³ См., например: Национальные проблемы Канады. М.: Наука, 1972; Национальные процессы в США. М.: Наука, 1973; Исмаилова Р. Н. Этнические проблемы современной Тропической Африки. М.: Наука, 1973; Этнические процессы в странах Юго-Восточной Азии. М.: Наука, 1974; Национальные процессы в Центральной Америке и Мексике. М.: Наука, 1974; Этнические процессы в странах Южной Азии. М.: Наука, 1976; Современные этнонациональные процессы в странах Западной Европы. М.: Наука, 1981; Этнические процессы в странах Южной Америки. М.: Наука, 1981; Этнические процессы в странах Карибского моря. М.: Наука, 1982, и др.

¹⁴ Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР.

10—20%, а иногда и меньше; народы азиатской части страны, многие из которых до революции были на грани физического вымирания, ныне находятся на уровне самых высоких в мире показателей естественного прироста населения (3—3,5% в год); доля народов славянской языковой группы снизилась с 77,1% в 1959 г. до 72,8% в 1979 г. (т. е. на 4,3%) доля народов тюркоязычной группы соответственно возросла с 11,1 до 15,2%¹⁵.

Со всем этим неразрывно связана отмеченная на XXVI съезде КПСР такая актуальная проблема, как этнодемографические аспекты воспроизводства трудовых ресурсов: избыточность трудовых ресурсов в одних регионах, недостаток в других, что в свою очередь придает особую актуальность этническим аспектам демографической политики. Правда, необходимость специализированного в данном отношении подхода еще сравнительно недавно встречала возражения у некоторых демографов. Вместе с тем было выдвинуто предложение повысить пособия на детей (прежде всего на второго и третьего ребенка, чтобы стимулировать рождаемость у тех народов, у которых она сейчас особенно низка). И как известно, на XXVI съезде было специально отмечено, что «предусматривается повышение пособий на детей, особенно в связи с рождением второго и третьего ребенка»¹⁶. Вслед за тем, данный тезис получил закрепление в соответствующем законодательстве. Но, разумеется, это лишь первые шаги.

В связи с изучением этнических аспектов проблемы трудовых ресурсов поднят вопрос о роли национальных трудовых традиций. Представляется, что умелый и гибкий учет их мог бы содействовать совершенствованию размещения, развития и организации производства.

Постановка этого вопроса особенно очевидна и злободневна в условиях структурной нехватки трудовых ресурсов, характерной сегодня для большинства регионов и отраслей народного хозяйства СССР.

Традициям принадлежит существенная роль в миграциях населения. Показательны в этом отношении данные, полученные в ходе проведенных опросов. Они свидетельствуют, в частности, о том, что привлекательность городской жизни уже осознана сельским населением всех национальностей и во всех регионах страны. По числу лиц, назвавших городскую жизнь привлекательной, сельские жители РСФСР и Узбекистана мало отличаются друг от друга (соответственно 21 и 26%), но зато по доле ориентированных на переезд в город различия весьма существенны. Так, изъявили желание переехать в город 5,5% узбеков и 21% русских. И немалую роль в этом различии играют семейно-бытовые традиции, а также язык, т. е. этнические факторы. Между тем, как раз русская деревня остро нуждается в сохранении рабочей силы, а узбекская ощущает избыток ее. В русской деревне невысокий естественный прирост населения и большая миграция в города, в узбекской — напротив, большой естественный прирост и исключительно малая миграция.

Миграции населения — важный фактор изменения соотношения численности народов в разных регионах страны. С ними, в частности, в значительной мере связана отмеченная в Отчетном докладе ЦК КПСС на XXVI съезду растущая многонациональность, полиэтничность республик. Масштабы этого процесса весьма значительны. Так, в 1979 г. численность лиц, не являющихся коренными жителями союзных и автономных республик, составляло 55 млн. чел., т. е. более 20% всех жителей страны. В результате в каждой союзной республике сейчас проживают представители многих некоренных национальностей и у них, как подчеркивалось на съезде, есть свои специфические запросы в области языка, культуры и быта¹⁷. Изучению этих запросов придается особое значение в ходе наших полевых исследований в республиках.

Вместе с тем, обращено внимание на определенную неравномерность процесса увеличения многонациональности республик. Дело в том, что

¹⁵ См.: Брук С. И. Советский народ. — Наука и жизнь, 1981, № 4, с. 78—79.

¹⁶ Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Изд-во полит. литературы, 1981, с. 55.

¹⁷ Там же, с. 56—57.

последние 20 лет около 5 млн. русских переселились за пределы РСФСР, однако в некоторых республиках (главным образом южных) доля сократилась либо относительно, либо даже абсолютно.

Этнографические исследования последних лет позволили показать также существенное влияние этнических процессов на динамику численности народов. При этом, как уже упоминалось, было выделено несколько основных типов таких процессов. Это прежде всего процессы этнической консолидации, этнической ассимиляции и межэтнической интеграции.

В результате консолидационных процессов за годы Советской власти, как известно, значительно уменьшилась этническая мозаичность нашей страны¹⁸. Это нашло свое отражение, в частности, в различиях числа этнонимов по данным всесоюзных переписей 1926 и 1959 гг. — в первом случае их фигурирует 185, во втором — 109. Правда, как это показано рядом недавних исследований, такое сокращение в значительной мере обусловлено изменением в подходе статистических работников к задачам определения этнической принадлежности¹⁹ (перепись 1926 г. имела цель определить этнографический состав населения; последующие переписи — национальный его состав). Однако само изменение постановки задачи последних переписей весьма показательно: оно, видимо, в немалой мере вызвано продвинувшимися процессами этнической консолидации народов.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что пора наибольшей активности межнациональных и внутринациональных консолидационных процессов уже миновала. Показательно, что число этнонимов, выделенных переписью 1979 г., почти не отличается от соответствующих показателей предыдущей переписи 1970 г. (104). Это, впрочем, отнюдь не значит, что этноконсолидационные процессы вообще уже полностью завершились. Для многих народов они еще продолжаются, хотя и не столь интенсивно, как прежде.

В наше время происходят изменения в территориальной консолидации народов — в компактности расселения отдельных национальностей; эти изменения обусловлены главным образом миграцией. Среди основных народов союзных республик с 1926 по 1979 г. такая компактность сильнее всего снизилась у русских: в 1926 г. в пределах РСФСР жило 93,4% всего русского населения страны, а в 1979 г. — 82,6%. Это обусловлено значительной миграцией русских за пределы своей республики: на Украину, в Казахстан, Узбекистан и другие республики страны. Несколько снизилась такая компактность у белорусов и грузин, однако последние в 1979 г. все еще имели наибольшую компактность среди народов союзных республик: за пределами Грузии жило около 4% всех грузин страны (в 1926 г. — 1,9%). У украинцев, молдаван, латышей, азербайджанцев компактность расселения с 1926 г. постепенно возрастала до 1970 г., затем она несколько уменьшилась. У армян, литовцев, эстонцев такая компактность возрастала непрерывно; однако среди народов союзных республик армяне еще до сих пор отличаются наименьшей компактностью расселения. Среди народов, имеющих свои автономные республики, территориальная компактность по сравнению с 1926 г. снизилась сильнее всего у башкир и татар (на 14—15%), что свидетельствует о переселении части их за пределы республик²⁰.

Определенные изменения в этнической структуре страны связаны также с ассимиляционными процессами, завершающимися в конечном счете сменой этнической принадлежности и представляющими собой как бы растворение отдельных групп или отдельных представителей одного народа в среде другого, обычно более многочисленного. При этом необ-

¹⁸ См. подробнее: Современные этнические процессы в СССР (2-ое изд.). М.: Наука, 1977, с. 501—533.

¹⁹ Брук С. И., Козлов В. И. Этнографическая наука и переписи населения. — СЭ, 1967, № 6.

²⁰ См.: Козлов В. И. Национальности СССР. Этнодемографический обзор. М.: Статистика, 1982, с. 139—140.

ходимо различать насильственную и естественную ассимиляцию. Насильственный характер первой общепризнан; причем наличие или отсутствие насильственной ассимиляции целиком зависит от субъективных факторов (идеологии, политики и т. п.).

О естественном характере ассимиляционных этнических процессов в СССР наглядно свидетельствует тот факт, что ныне в качестве главного канала выступают межэтнические браки, дети от которых обычно выбирают национальность одного из родителей, прерывая тем самым этническую линию другого. Происшедшее за годы Советской власти развитие дружественных межэтнических отношений и падение религиозных барьеров наряду с усилением территориального смешения этносов, особенно в быстро растущих городах, привели к значительному увеличению таких браков: с 2,5% в 1925 г. до 13,6% в 1970. Самая высокая доля национально-смешанных браков в Латвийской, Киргизской и Украинской республиках: 18—20% в 1970 г. (в 1959 г. — 14—15%).

Впрочем, следует заметить, что сам по себе процент национально-смешанных браков еще не дает достаточных оснований для суждения об интенсивности установок на межнациональные браки, ибо сравнительно большой процент таких браков может быть обусловлен просто очень высокой степенью полиэтничности рассматриваемой группы населения. В этой связи было предложено использовать так называемую теоретическую вероятность заключения межнациональных браков, т. е. определение тех вероятных масштабов этих браков, какие имели бы место, если бы на них не влияли установки на межнациональные контакты лиц вступающих в брак (иначе говоря, масштабов, зависящих исключительно от полиэтничности населения). Соотнесение с этой теоретической вероятностью наблюдаемой фактической частоты национально-смешанных браков позволяет определить тенденцию развития межнациональных отношений в сфере брака. Если, например, в течение ряда лет в конкретном варианте смешанных браков фактическая частота приближается к теоретической вероятности, то это свидетельствует об уменьшении значения национальной принадлежности при вступлении в брак²¹.

От этнических последствий национально-смешанных браков во многом зависит направленность ассимиляционных процессов. При этом имеются существенные региональные различия в определении своей этнической принадлежности подростками, выросшими в национально-смешанных семьях. При этом, как показывают исследования, определяющее значение в данном отношении имеет этническая структура среды, в которой происходит социализация подростка²².

Вместе с тем исследования, проведенные в самое последнее время показали, что наряду с ассимиляцией, связанной с национально-смешанными браками, смена этнической принадлежности в нашей стране, как и в большинстве стран мира, происходит и в результате так сказать «вне семейного» взаимодействия представителей разных этносов. Правда, такая «вне семейная» ассимиляция, имеющая, разумеется, тоже естественный характер, происходила главным образом в довоенные годы и к тому же касалась преимущественно переходных в этническом плане групп населения (прежде всего «на стыке» родственных народов). В данной связи, в частности, обращено внимание на то, что в 1939 г. за пределами Украины украинцев оказалось примерно на 1/3 меньше, чем в 1926 г.²³ Снижение же темпов «вне семейной» этнической ассимиляции в канун войны во многом обусловлено некоторыми юридическо-психологическими факторами, в частности, ограничением в конце 30-х годов выбора национальности лишь национальностью родителей²⁴.

²¹ См. Ганцкая О. А., Дебец Г. Ф. О графическом изображении результатов статистического обследования межнациональных браков.— СЭ, 1966, № 3, с. 109—118.

²² Подробнее см.: Современные этнические процессы в СССР. М.: Наука, 1977, с. 460—483.

²³ См.: Брук С. И., Кабузан В. М. Динамика численности и расселения русских после Великой Октябрьской социалистической революции.— СЭ, 1982, № 5, с. 16—17.

²⁴ Там же.

Характеризуя в целом процессы этнической ассимиляции, необходимо особо подчеркнуть, что в СССР (как, впрочем, и в большинстве других стран) ассимиляция в настоящее время оказывает сравнительно заметное влияние лишь на численность территориально-рассредоточенных народов (евреев, мордвы, карел и др.), а также этнических групп, находящихся на территории, в основном занимаемой другим этносом.

Как известно, магистральную линию современных этнических процессов в нашей стране представляет сближение наций в сфере культуры, т. е. межэтническая интеграция. Этот процесс теснейшим образом сопряжен с возникновением и развитием новой исторической общности — советского народа, представляющего собой первое в истории человечества межнациональное (межэтническое) образование, сложившееся на базе социализма. Лежащее в основе формирования этой интернациональной общности сближение наций в экономической, социальной и политико-идеологической областях сопровождается сближением их культуры, составляющем основное содержание процессов межэтнической интеграции. При их рассмотрении этнографы, как известно, основное внимание сосредотачивают на изучении повседневно-бытового, обыденного уровня культуры; профессиональная культура их интересует лишь в той мере, в какой она стала достоянием повседневной жизни широких масс, превратившись тем самым в характерную этническую черту. Вместе с тем межэтнические процессы на этих уровнях культуры рассматриваются, разумеется, сквозь призму соотношения национального и интернационального, нового и традиционного. В ходе исследований, посвященных всем народам страны, в том числе таким малочисленным, как, например, народы Севера, собран огромный полевой этнографический материал по самым различным компонентам повседневно-бытовой культуры, выраженным как в овеществленных результатах деятельности, так и в самих действиях: обрядах, обычаях, устном народном творчестве, традиционных знаниях (народной медицине, метрологии и т. п.), традиционном этикете, антропонимике и т. п. За послевоенные годы вышли многие десятки монографий и сотни статей, посвященных всем этим сюжетам. В своей совокупности они убедительно свидетельствуют о значительных различиях в проявлении процесса межэтнической интеграции в отдельных компонентах повседневно-бытовой культуры²⁵.

Проведенные исследования позволили выделить сферы относительно большего сохранения национальных особенностей (нормы поведения в семье, свадебные и похоронные обряды, традиции питания) и сферы наиболее активной интеграции (идеология, мировоззренческие взгляды, основные жизненные ценности, общеобразовательные знания, массовые культурные навыки). Весьма устойчиво национальные особенности сохраняются в семейном быту: различны отношения в семье, степень участия женщин и младших членов в решении важных семейных вопросов, распределение домашних обязанностей²⁶. С этим связаны немаловажные социальные проблемы. Выявлена обратная зависимость между размером семьи, числом детей и занятостью женщин квалифицированным трудом. В республиках Средней Азии, где самые многодетные семьи, зафиксирована наиболее низкая доля женщин, занятых квалифицированным трудом. В Прибалтике, где число детей в семье минимальное, второй показатель — один из самых высоких по стране.

Процессы интеграции отчетливо прослеживаются и в такой своеобразной сфере быта, как использование свободного времени. Полученные в последние годы данные свидетельствуют, в частности о том, что примерно одинаковый круг людей среди эстонцев и русских, грузин, молдаван и узбеков используют свободное время на чтение газет (от 70 до 90% по разным социальным группам)²⁷, практически в равной мере

²⁵ Подробнее см.: Современные этнические процессы в СССР, с. 256—258, 365—432.

²⁶ Современные этнические процессы в СССР, с. 433—459.

²⁷ Арутюнян Ю. В., Дробизева Л. М. Советский образ жизни: общее и национально-особенное. — СЭ, 1976, № 3.

приобщаются люди разных национальностей к радио и телеинформации. Больше различий наблюдается в использовании досуга на чтение книг, посещение театра, но связаны эти различия скорее с возрастом и социально-профессиональной деятельностью людей, чем с их национальностью.

Своеобразные тенденции наблюдаются в динамике ценностных ориентаций, касающихся художественной культуры. В частности, в современных условиях, когда возрастает интерес к более интернациональным по форме эстрадной и симфонической музыке, все же довольно часто в часы отдыха, на праздниках люди обращаются к народным песням. Как показывают материалы опросов, даже среди тех, кто прежде предпочитал эстраду, в конце 70-х годов возрос интерес к фольклорной музыке. Вообще повсеместно наблюдается повышение интереса к самым различным видам народного творчества. Многие из них переживают как бы второе рождение. При этом такие «вторичные» формы нередко выполняют роль этнических символов.

Одну из важных сторон современных этнических процессов в нашей стране составляют этноязыковые изменения. Характерной чертой этих изменений наряду с расширением функций национальных языков является билингвизм, двуязычие, при котором основным языком межнационального общения чаще всего выступает русский язык. Масштабы этого явления колоссальны, очевидна и тенденция к его расширению. Так, за период от переписи 1970 г. до переписи 1979 г. удельный вес лиц, свободно владеющих русским языком, возрос с 76 до 82% всего населения страны. Однако эта общая тенденция, как показывают материалы последних переписей, у разных народов имеет свои особенности. С 1970 по 1979 г. доля лиц, свободно владеющих в качестве второго русским языком, у одних наций заметно увеличилась (у молдаван с 36,1 до 47,4%, у литовцев с 35,9 до 52,1%), у других — незначительно (например, у грузин с 21,3 до 26,7%²⁸). В общей сложности по переписи 1979 г. около 60% нерусского взрослого населения страны свободно владеет русским языком. Но это одновременно значит, что примерно 40% этого населения еще не владеет им свободно. И данный факт требует к себе внимания. В некоторых республиках отмечается, казалось бы, странное явление: молодежь хуже знает русский язык, чем люди среднего возраста. Между тем во многих национальных регионах темпы притока рабочей силы в промышленность, исполнение активных производственных ролей связаны в известной мере с приобщенностью сельского населения к городской культуре и со знанием русского языка.

Не случайно особое место практически во всех этносоциологических и этнолингвистических исследованиях отводится факторам, способствующим распространению национально-русского двуязычия. В этой связи, в частности, выявлена и проанализирована роль школы, армии, окружающей этнической среды и т. п.

Важнейшее значение для развития современных межэтнических процессов имеет, как известно, распространение интернационалистских норм взаимоотношений. В данной связи следует отметить, что изучение межэтнических, межнациональных отношений позволило показать на массовом материале, что характерный для наших дней рост национального самосознания сочетается у советских людей с развитием позитивных установок, касающихся межнационального общения (отношение к работе в национально-смешанных коллективах, к национально-смешанным бракам и т. п.). При этом обращено внимание на необходимость дифференцированного подхода к вопросу о влиянии этнической среды на межнациональные контакты. В частности, была откорректирована точка зрения об однозначном позитивном влиянии на эти контакты многонационального состава поселенческих и производственных коллективов. Как известно, «многонациональные трудовые и прежде всего рабочие коллективы — это именно та среда, где лучше всего воспитывается ин-

²⁸ См.: Население СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. М. Политиздат, 1980, с. 23—24.

тернационалистский дух, укрепляются братство и дружба народов СССР»²⁹. Вместе с тем в ходе этносоциологических исследований установлено, что многонациональный состав коллективов однозначно дает позитивный эффект в том случае, если в коллективе уже есть опыт благоприятных длительных контактов. Молодые же многонациональные коллективы и районы, а также города, где идет активный приток инонационального населения, требуют пристального внимания с точки зрения регулирования межнациональных отношений. Именно здесь более всего люди замечают специфику культуры и бытового поведения, сопоставляют занятия и образ жизни своей и других национальностей. Здесь требуется и большая разъяснительная работа, и чуткая кадровая политика, и особая забота об удовлетворении культурных запросов людей всех контактирующих национальностей³⁰.

Обращено также внимание на то, что дальнейшее преодоление сохраняющейся у части трудящихся национальной ограниченности станет успешным в том случае, если будут дифференцированы меры борьбы с ней. Источники национальной ограниченности в разных слоях населения различны. Узкий кругозор, недостаточные знания о прошлом и настоящем других народов питают предрассудки менее образованных кругов и людей старших возрастов. В этих случаях изживанию национальной узости существенно способствуют широкая просветительная деятельность и средства массовой информации.

Вместе с тем дают о себе знать и различия в уровне образования. В частности, показательно, что число лиц со средним и высшим образованием среди молодежи в Грузии почти в 2 раза превосходит численность аналогичной категории в Молдавии³¹. При этом следует иметь в виду, что наличие так сказать «избыточного» количества специалистов с высшим образованием, т. е. большего, чем число соответствующих рабочих мест, подчас создает конкурсную ситуацию, в свою очередь способную проецироваться на национальные отношения.

В этой связи особое значение приобретает исследование мнений, установок и действий, связанных с межнациональными контактами, у людей различных социально-профессиональных групп, в городских и сельских условиях, в регионах с разнообразным историческим и культурным прошлым, в различных социальных ситуациях. Такого рода исследование позволяет выявить социальные, исторические, этнодемографические и культурные обстоятельства, способствующие укреплению дружественного общения. Ведь, как подчеркнул Ю. В. Андропов, важно, чтобы естественный рост национального самосознания не превращался в национальную кичливость или зазнайство, не порождал «тенденции к обособленности, неуважительного отношения к другим нациям и народностям...». Притом, как отметил Ю. В. Андропов, было бы неправильно объяснять это только пережитками прошлого. Такого рода негативные явления «питают порой и наши собственные просчеты в работе. Здесь, — продолжил он, — нет мелочей. Здесь важно все — и отношение к языку, и к памятникам прошлого, и трактовка исторических событий, и то, как мы преобразуем села и города, воздействуем на условия труда и жизни людей»³².

Отсюда очевидна и значимость подготавливаемых этнографами материалов по национальной проблематике для практических организаций, как центральных, так и республиканских, и областных. Эти материалы касаются самых различных аспектов современных национальных процессов: от демографических до психологических. Одно из центральных мест в них отводится воспитательной работе: формированию и укреплению у широких масс трудящихся интернационалистского мировоззрения. Ведь патриотами и интернационалистами не рождаются. Эти свойства усваиваются в ходе социализации личности. Соответственно интернацио-

²⁹ Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР.

³⁰ См.: Дробизева Л. М. Указ. раб., с. 243.

³¹ См.: Там же, с. 168.

³² Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР.

налистское воспитание трудящихся остается важнейшим направлением идеологической работы.

Советские этнографы, разумеется, прекрасно сознают необходимость дальнейших исследований этносоциальных, этнокультурных, этнодемографических аспектов жизни народов нашей страны. В первую очередь это относится к изучению использования культурных традиций народов для решения тех социальных задач в развитии нашего общества, которые были выдвинуты XXVI съездом партии, преследующими пленумами и документами ЦК КПСС.

К. В. Чистов

ТРАДИЦИЯ И ВАРИАТИВНОСТЬ *

В последние годы этнографы Советского Союза дважды обсуждали общие проблемы теории традиции — в 1978 г. в Ереване на симпозиуме по этническим культурам¹ и в 1981 г. на страницах журнала «Советская этнография»². Кроме того, в СССР, как и в других странах, вся текущая исследовательская работа этнографов так или иначе связана с проблемой традиции, и это, разумеется, способствует накоплению практического опыта ее осознания.

Упомянутые дискуссии, если иметь в виду только вопросы, относящиеся к теме настоящей статьи, привели к выводам, которые вкратце можно было бы передать следующим образом. Привычное для этнографии деление человеческих обществ на «традиционные» и «нетрадиционные» принципиально неверно. Иллюзию нетрадиционности (= бестрадиционности?) создает убыстренный темп развития современного урбанизированного общества и новый механизм трансмиссии культуры, который резко понизил роль старшего поколения, семьи и других первичных социальных групп в передаче и сохранении традиций. Эту иллюзию поддерживают также не только решительное усовершенствование многих сторон быта (например, строительство теплоцентралей, использование холодильников, стиральных машин и т. д.), но даже некоторые художественные течения современности, намеренно демонстрирующие свой разрыв с традицией или деструкцию ее (негармоническая музыка, абстракционизм в живописи, антироман, театр абсурда и т. д.). Однако легко показать, что желая во чтобы то ни стало зарекомендовать себя «антикультурой», эти течения внутренне по-прежнему ориентируются на традицию, которую они столь решительно отвергли. Характерно, что, пережив бурный период деструкции, они, как правило, обращаются к более архаической традиции, чем отвергнутая (так называемый стиль «каунтри», все разновидности стиля «ретро», так называемое неофигуративное искусство и т. д.).

Если культуру понимать (в соответствии с теорией, развитой Э. С. Маркаряном) как определенный способ деятельности общества, его адаптационно-адаптирующий механизм³, то следует признать, что каждое человеческое общество для того, чтобы функционировать, должно иметь сложившуюся систему культуры. Если столь же обобщенно по-

* В основу статьи положен вводный доклад на симпозиуме «Постоянство и изменчивость в культурных системах в странах современной Европы» II конгресса Международного общества европейской этнологии и фольклора (Суздаль, 30 сентября — 6 октября 1982 г.).

¹ См. Методологические проблемы исследования этнических культур. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1978.

² Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции. — Сов. этнография, 1981, № 2, с. 78—96. Обсуждение статьи Э. С. Маркаряна: там же, № 2, с. 97—115; № 3, с. 45—78.

³ Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1969.

лти к понятию «традиция», можно было бы сказать, что термины «культура» и «традиция» в определенном теоретическом аспекте синонимичны или, может быть, точнее, почти синонимичны. Термин «культура» обозначает сам феномен, а «традиция» — механизм его формирования, трансмиссии и функционирования. Иными словами, традиция — это (система) связей настоящего с прошлым. При помощи этой сети совершается отбор, стереотипизация опыта и передача стереотипов, которые затем опять воспроизводятся. Произнося слова «культура» и «традиция», мы подразумеваем не одноразовые явления, побочные или случайные для истории, а те, что имеют значение для человечества или по крайней мере для определения социальной общности (от племени или ривичной локальной группы до нации), т. е. опыт, накапливающийся в виде системы стереотипов человеческой деятельности (активности) и результатов этой деятельности, представлений о тех и других и, наконец, особов их обозначения или символизации⁴. Так же, как культура в целом, традиция — это коллективная память (т. е. память не биологическая, а социальная, по определению Ю. М. Лотмана)⁵.

Таким образом, общества разного типа различаются не наличием или отсутствием традиций, а особым содержанием их, особыми способами трансмиссии и формами их функционирования. Традиция же предполагает устойчивость (длительность — континуитет) функционирования урм культуры и тем самым наличие факторов, которые ее стабилизируют, обеспечивают ее воспроизводство. Существование подобных стабилизаторов (стереотипов) связано с регулярной повторяемостью сходных ситуаций и сходных потребностей; они являются традиционными способами «решения» типовых ситуаций. В этом смысле разные типы общества различаются также набором типовых ситуаций и соответствующим набором разрешающих их стереотипов, характером этих стереотипов, тем их взаимосвязи, но не наличием или отсутствием их.

Общества различаются, кроме того, определенным типом соотношения стереотипизированных и нестереотипизированных форм человеческой деятельности, механизмом их взаимодействия, темпом и способами обновления стереотипов и каналами их распространения. Жесткая, охватывающая все сферы жизни система стереотипов, которая отличала общества в прошлом, не означала стагнации культуры, т. е. абсолютного отсутствия воспроизводившихся социальных институтов, вещей, обрядов, фольклорных текстов, мелодий и т. д.

В фольклористической текстологии считается, что абсолютное совпадение двух записей ставит одну из них под сомнение (перепечатка? фальсификация? копия?). Десятки женщин — участниц обряда или праздника, жительниц одного села — были одеты в одежду одного типа (кроя), расшитую однотипным орнаментом, однако ни один комплект одежды обычно не повторял абсолютно и буквально другой; они соотносились не как копии, а как варианты. То же можно было бы сказать и о женских расшитиях. Это была живая игра возможностей реализации одного и того же типа (стереотипа). Женщины в праздничной толпе воспринимались совсем не так, как иной раз выглядят участники современных этнографических ансамблей, одетые в одну сценическую униформу подобно членам одного полка или пожарным одной пожарной команды. Сходство и однотипность не были связаны с установкой на безликость, автоматическую взаимозаменяемость (вспомним у Б. Брехта: «Что тот солдат, что этот»). Они возникали на основе общего представления о том, как надлежит одеться в том или другом случае, каков должен быть сарафан или понева, как должна быть вышита рубашка и т. д., и допускали индивидуальные варианты, разумеется, в пределах довольно жестко обозначенной традиции. Проходя по улице села, мы встречались с десят-

⁴ Подробнее см. Чистов К. В. Традиция, «традиционные общества» и проблема формирования. — Сов. этнография, 1981, № 2, с. 105—107.

⁵ Лотман Ю. М. Лекции по типологии культуры. Тарту, 1970; Успенский Б. А., Лотман Ю. М. О семиотическом механизме культуры. — В кн.: Труды по знаковым системам. Тарту: Изд-во Тартуск. ун-та, 1971, в. V, с. 144—167.

ками, а иногда и сотнями однотипных построек, но легко ориентировались в этом селе, значительно легче, чем в каком-нибудь новом квартале современного города, постройки которого возведены индустриальным способом по одному проекту. Традиционные дома могли быть построены одним типом, но все же не копиями, а вариантами по отношению друг к другу.

Не следует думать, что варьирование текста сказки, деталей одежды или жилища было связано с несовершенством человеческой памяти, с неспособностью точно воспроизвести ту или иную вещь, как это делал по чертежу рабочий на современном заводе. Разумеется, эти факторы могли играть какую-то роль, но роль явно второстепенную. Ведь даже при изготовлении деталей современных машин, в условиях, когда момент сборки остается неизвестным, какой именно экземпляр той или иной детали должен будет сочетаться с экземпляром другой детали, существует инженерное понятие «допуска», т. е. возможного предела точности обработки, который иной раз измеряется десятками и даже сотнями долями миллиметра.

Стереотипы могли становиться стереотипами только благодаря определенному свойству (или качеству) — пластичности, т. е. способности адаптироваться (функционировать) в типовых, но все-таки изменяющихся ситуациях. Поэтому есть все основания говорить о варьировании самих стереотипов, а не только нестереотипизированных форм человеческой деятельности. На эту особенность традиции обычно мало обращается внимания, ибо этнографов (как и фольклористов) интересуют столько отдельные вещи, явления или тексты и их эмпирические особенности, сколько их типы, модели, инварианты. Этнографы и фольклористы обычно оперируют некими обобщениями, абстракциями, мысленно освобожденными от эмпирических частных свойств, в том числе и от такой частной черты, как варьирование. Выделяя инвариант, порой забывают о том, что он может существовать только за счет варьирования⁶.

Современная этнография отвергает привычные представления, согласно которым этнические традиции формировались как нечто единое уже в глубокой древности, а локальные традиции, известные по описаниям XIX в. или по более ранним документам, являются результатом позднейшего варьирования (т. е. в конечном счете результатом искажения, забвения подлинных традиций). В реальной истории народной культуры процесс развивался, видимо, преимущественно в обратном направлении. Этническая традиция, тем более до периода урбанизации, существовала как вариационное множество местных традиций, сближавшихся и вырабатывавших общие черты в ходе своего развития и в процессе этнокультурной консолидации той или иной этнической общности — племени, союза племен, народности, нации.

Столь же ошибочно связывать вариативность преимущественно архаическим обществом (невыработанность традиции) или, наоборот, поздним этапом развития культуры, который будто бы является периодом изживания, забвения, упадка этнических традиций. Подобные альтернативы вообще должны быть сняты. Вариативность и стабильность существовали всегда, хотя и выступали в разных формах и соотношениях. Вариативность есть способ и одновременно условие существования традиции. Без нее никакая традиция (т. е. относительная стабильность и длительность воспроизведения) не может существовать. Разумеется, как уже говорилось, в ходе истории менялся и набор стереотипов, и характер.

Мы не утверждаем, таким образом, что варьирование в определенной ограниченной зоне важнее, чем существенные изменения в народной культуре (инновации) или тем более перестройка всей системы традиционной-бытовой культуры. Однако очень важно осознать, что существование

⁶ См., например, *Левинтон Г. А.* К проблеме изучения повествовательного фольклора. — В кн.: *Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти В. Проппа (1895—1970).* М.: Наука, 1975, с. 303—319; *Иванов В. В.* Инвариант и трансформация в мифологических и фольклорных текстах. — Там же, с. 44—76.

менения происходили на фоне непрерывного синонимического варьирования, обратимых замен, которые таят в себе возможность расширения и варьирования, а при определенных условиях и существенных изменений.

Сочетание стабильности и вариативности не есть исключительная специфика традиционно-бытовой культуры и даже культуры вообще. Подобное сочетание составляет суть весьма широкого класса явлений, которым свойственна длительность (временная протяженность), реализующаяся вместе с тем в отдельных (дискретных), но преемственно связанных друг с другом актах, предметах, особях. Этот класс явлений охватывает все виды самовоспроизводящихся организмов или систем. Видовая стойчивость их (генетический гомеостаз) обеспечивается генетическим фактором (генотип), а мутации связаны с его реализацией в относительно стойчивых, но вместе с тем варьирующихся экологических ситуациях. Современная биология выделяет фенотипы, т. е. классифицирует особи одного вида по их внешним признакам. Они могут быть второстепенными (или даже третьестепенными) в масштабе общепроизводящей классификации, но могут оказаться достаточно важными для других целей, особенно когда речь идет об изучении не только самых общих закономерностей бытия, а форм и типов их реализации. Кстати, этнография — одна из наук именно такого рода. Ее интересуют не только общие закономерности развития этносов и их культуры, но и типология форм и способов реализации этих закономерностей⁷.

Подчеркивая весьма широкий характер сферы, в которой стабильность сочетается с вариативностью или, точнее, реализуется в ней, мы должны вместе с тем не упустить из виду и то обстоятельство, что в разных сферах и слоях культуры, на разных этапах ее развития механизм той реализации был, по-видимому, неодинаковым.

Мы далеки, разумеется, от мысли в краткой статье охватить эту проблему в целом, притом еще в ее историческом развитии. Мы сочли необходимым показать теоретическую важность проблемы и наметить отдельные вопросы, с нею связанные, особенно те, которые могли бы стать предметом дальнейшего обсуждения. Один из них — специфика сочетания стабильности и вариативности в разных сферах и исторических слоях культуры — уже упоминался. Назовем и некоторые другие. Это основные факторы, способствующие стабилизации традиции и формированию ее адаптационного механизма. Это и различные типы варьирования: вариативность, которая влечет за собой существенные изменения, имеющие характер исторических инноваций; так называемое «вибрирование», т. е. варьирование как чередование обратимых замен элементов с одинаковыми функциями; варьирование как чередование редукции и амплификации (свертывания и развертывания); варьирование и так называемое переодичивание; специфика варьирования явлений, имеющих открыто коммуникативный характер, и отсюда специфика варьирования восприятия и воспроизведения и т. д. И наконец, специфика стабильности и вариативности в традиционно-бытовой культуре в условиях современного урбанизированного общества; вариативность и изменчивость в современных условиях.

Вероятно, мы смогли бы выявить специфику соотношения стабильности и вариативности в различных сферах и слоях культуры, если бы предварительно рассмотрели хотя бы в общих чертах мало исследованный вопрос о характере существования (экзистенции) и характере материализации явлений, попадающих в поле зрения этнографа. Нам представляется это важным, так как именно с различными формами экзистенции связаны особые способы накопления и передачи информации, характерные для определенных сфер и слоев традиционно-бытовой культуры.

Традиционная бытовая культура — явление многофункциональное и многослойное; она демонстрирует нам разные способы материализации

⁷ Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории). М.: Наука, 1981 (гл. «Предмет этнографической науки и ее современное состояние»).

норм и представлений, лежащих в ее основе. В одних случаях мы встречаемся как с действиями, так и с материализованными результатами человеческих действий — домом, орудием труда, одеждой, пищей и т. в других — с самими этими действиями (например, обрядовыми), только с ними. Последние существуют лишь в момент их воспроизведения, а между актами воспроизведения — в сознании исполнителей и производятся только в действиях же — в невербальной или вербальной форме (обрядовые действия, стереотипы поведения, фольклорные песни, инструментальные или вокальные мелодии и т. д.). Природа стереотипов в столь разных формах культуры весьма различна, и, что не менее важно, само существование интересующих нас явлений оказывается непрерывным (или относительно непрерывным), то дискретным, находит в разных соотношениях с нестереотипизированными формами поведения (действий) или с его результатами.

Коснемся этого сложного вопроса в самом общем виде, пользуясь некоторыми примерами преимущественно из восточнославянской этнографии. Идеалы, нормы, шире — представления о жилище реализовались в жилом доме, который строил его будущий хозяин в зависимости от наличия материала, рабочей силы, вообще достатка. После того как дом был построен, он использовался семьей, которая его населяла. Традиция в этом случае поддерживалась, таким образом, не только преемственностью стереотипных представлений о том, какое должно быть жилище и как его надо строить, но и практикой функционального использования дома. Несомненную роль играл также визуальный опыт. Однажды построенное жилище служило людям довольно долго, его могли перестраивать, но почти никогда не отказывались от него, поэтому его воздействие на образ мышления первичной социальной группы было относительно длительным и непрерывным. Новые же дома строились той или иной семьей сравнительно редко.

Другие формы материальной культуры, например орудия труда, служили их создателям не столь длительное время, они воспроизводились чаще. Варьирование навыков функционального использования вещи при этом сопровождалось более интенсивным варьированием в процессе воспроизведения. Что касается традиционной одежды, то она относительно резко делилась на обыденную и праздничную или ритуальную, первая «служила» их создателям или владельцам значительно более короткий срок. Вместе с тем праздничная и обрядовая одежда была предметом престижного соперничества. Крестьянки, даже жившие в бедных домах, стремились во что бы то ни стало иметь хорошую праздничную одежду, которая нередко передавалась из поколения в поколение. Длительность функционирования или редкость воспроизведения сопровождалась еще более интенсивным варьированием (разумеется, в пределах традиционной нормы, типа и т. д.) в процессе создания вещи. Между будничной и праздничной одеждой было и еще одно различие. Будничная функционировала почти непрерывно, следовательно, непрерывно накапливался и визуальный опыт и формировались стереотипы, т. е. идеалы нормы и представления о границах минимального, максимального оптимального их осуществления.

Традиционная пища также дает весьма сложную картину. Одноразовая и заготовленная впрок, будничная, полевая (или, например, рыбацкой тоне) и праздничная отличались не только составом и способом приготовления, но и длительностью материального существования частотой воспроизведения, силой воздействия фактора престижности. В конечном счете своеобразным типом трансмиссии традиции или в аспекте интересующей нас темы — своеобразным механизмом варьирования, различной широтой диапазона варьирования, разным сочетанием набора стабилизаторов и факторов варибельности и, конечно, специфической природой стереотипов и их сочетанием с нестереотипизированными формами поведения.

С иными закономерностями встречаемся мы в сфере традиционных обрядов. Материализация, понимаемая значительно более условно, че

в случаях, обсуждавшихся выше, осуществлялась здесь в форме определенных действий, употребления ритуальных предметов (либо традиции «превращения» обычных предметов будничного крестьянского быта в ритуальные) и, наконец, произнесения (исполнения) каких-то традиционных текстов или текстов, приобретающих традиционные функции. Во временных промежутках между актами исполнения обряда этот синкретический комплекс (например, свадебный) не существовал; он каждый раз воспроизводился по определенным правилам в соответствии с определенными стереотипизированными представлениями и нормами.

Мы не будем касаться специфики варьирования разных жанров фольклора, так как уже имели случай обсуждать некоторые специфические фольклористические проблемы, с этим связанные, в специальной публикации⁸. Подчеркнем лишь, что в сфере фольклора очень важны отличия жанров, в которых доминирующую роль играет в одних случаях эстетическая, в других — неэстетическая (прикладная, обрядовая, информационная и т. д.) функция. Различны правила запоминания и воспроизведения, а отсюда и механизм варьирования текстов, функционирующих в составе обрядовых комплексов или исполняющихся свободно, в любое время, при любой бытовой ситуации (впрочем, надо учитывать не только противопоставление «обязательность/факультативность», но и «факультативность/запрет»). Первым из них свойственны сильные внетекстовые связи, стабилизирующие текст.

Выделяются тексты сакрального характера. Их варьирование связано обычно не столько с синонимическими или существенными заменами, сколько с механизмом свертывания или развертывания (редукции или амплификации) при обязательном сохранении некоего минимума, без которого не может осуществиться вербальная магия. И наоборот, известны жанры с нарочитой установкой на импровизацию, на создание текста в процессе его произнесения (ср. формулу Р. Джорджиса: «Рассказ — это процесс рассказывания»)⁹.

В сфере обрядов и фольклора необходимо выделить формы, для которых характерна подчеркнуто коммуникативная функция. При их анализе необходимо иметь в виду не только тип экзистенции текста и вариативность коммуникативных ситуаций, но и вариативность каждого из трех составных компонентов коммуникации: субъект коммуникации (экспедидент), вербальный или обрядовый «текст», играющий роль медиатора (посредника) коммуникации, воспринимающий (реципиент), который при следующем акте воспроизведения текста может превратиться в экспедидента.

Как уже говорилось, своеобразное соотношение варьирования и стабильности, варьирования и существенных изменений (новаций) складывается в эпоху урбанизации. У народов Европы процесс перехода от докапиталистического общества к современному урбанизированному совершался в различном темпе. Для нашей проблемы важно, что система традиционной культуры (даже сельского населения) превращалась при этом из закрытой в открытую, она больше не могла перерабатывать или приспосабливать новации к архаической традиции; она сама подвергается размыванию и деформации и в конце концов перестает существовать как система. У одних народов (англичане, немцы, чехи) этот процесс начинается еще в XVII—XVIII вв., у других (русские, поляки, венгры) — только в XIX или даже (болгары, сербы) во второй половине XIX в. Процесс этот имел у каждого народа свои особенности. Очень важно, каково было к началу урбанизации состояние архаической бытовой традиции, сложившейся в основном в средневековье на почве натурального хозяйства и ограниченного обмена. Большую роль играла также этнокультурная и этнополитическая ситуация, напряженность и ори-

⁸ Подробнее см. Чистов К. В. Вариативность как проблема теории фольклора. — В кн.: *Mezetnicke vst'ahy ve folklore karpatskej oblasti*. Bratislava, 1980, s. 21—34.

⁹ Georges R. From Folktale Research to Study of Narrating. — In: *Folk Narrative Research. Some Papers Presented at the VI Congress of the ISFNR*. Helsinki, 1976, p. 159—169.

ентированности этнического самосознания, наличие или отсутствие нарциссического желания сохранять или быстрее расстаться с традиционными стереотипами поведения. Процесс смены стереотипов приобрел невиданную прежде интенсивность с распространением технических средств массовой коммуникации, школьного образования и быстрым расширением индустриального производства, охватывавшего все новые и новые участки быта — жилище, одежду, пищу, средства транспорта и т. д. Некоторые элементы старой традиционной системы выживают, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, изменяя свои функции или входя в новую систему в качестве рудиментов, элементов фольклоризма, отступая на периферию (использование некоторых видов старой рабочей одежды и особых — экстремальных — обстоятельствах, использование старых орудий труда при обработке небольших, например приусадебных, участков земли, функционирование отдельных традиционных элементов свадебного обряда, которым придается игровой, а не ритуальный смысл, и т. д.).

Причины происходящих процессов многообразны. Мы не надеемся их исчерпать и назовем только некоторые:

а) изживание экономической и культурной замкнутости, которая была свойственна деревне докапиталистического периода;

б) отчуждение производимого продукта и в то же время потребление вещей и духовных ценностей, созданных за пределами первичной социальной группы;

в) смена системы ценностной ориентации, направленность ее в сторону города и по крайней мере центробежность ее;

г) смена контактного (face to face) типа трансмиссии культуры на контактным (школа, радио, телевидение, кино, пресса, книги и т. д.) и по крайней мере важнейшая роль последнего. Вовлечение даже наиболее замкнутых первичных социальных групп в коммуникативно-информационную сеть, значительно более широкую по своим масштабам;

д) массовое промышленное производство предметов материальной культуры, при котором в обращении оказывается большое количество вещей, соотносящихся друг с другом как буквальные копии (невариативные соотношения);

е) интенсивное развитие способов материальной фиксации явления духовной культуры (книги, нотация музыки, звукозапись и шире — фотозапись), ставящее процесс их воспроизводства в прямую зависимость от способов фиксации;

ж) развитие воспроизводящих приспособлений (кино, проигрыватели магнитофоны, видеокассеты и т. д.) и проникновение их в быт.

Действие названных факторов (по-видимому, и других, которые здесь не были названы и которые еще предстоит выявить) повлекло за собой перестройку системы формирования стереотипов: набор и способы их воспроизведения и соотношение стабильности и вариативности как в сфере стереотипизированных, так и нестереотипизированных форм человеческого поведения.

Мы уже говорили о том, что в эпоху урбанизации резко возрастает темп накопления и смены стереотипов почти во всех сферах человеческой деятельности. Это приводит к смене набора стереотипов и их содержания. Следует подчеркнуть при этом весьма существенные различия: как в наборе, так и в содержании стереотипов в двух различных социальных системах современного общества — социалистической и капиталистической.

Вместе с тем при сохранении гетерогенности набора стереотипов, которая всегда была свойственна человеческой культуре, заметно возрастает объем репертуара (набора) стереотипов и, что очень важно, уменьшается количество типовых ситуаций, предопределяющих обязательность или запретность употребления тех или иных стереотипов (например ситуации ритуальные, магические, символические и т. д., табуированные посты и т. д.). Все это ведет к тому, что возрастают возможности индивидуального или группового выбора стереотипов. Так, современные женщины могут относительно свободно решать, надевать им в определенные

ситуациях юбки мини, миди или макси, брюки, шорты или бикини и т. д. Разумеется, сохраняются типовые ситуации, которые накладывают определенные ограничения: в театре в бикини можно быть только на сцене. Однако количество подобных ограничений стало заметно меньше (в театр можно прийти не только в вечернем платье, но и в брюках и т. д.). В сфере одежды резко уменьшились половые и социальные различия, снят целый ряд функциональных ограничений (в театр можно прийти в одежде спортивного покрою; джинсы и комбинезон перестали быть исключительно рабочей одеждой и т. д.), но в большей мере сохраняются возрастные различия (одежда лиц пожилого возраста, детей и т. д.).

Расширение возможности выбора (селекции) и группировки стереотипов сопровождается резким снижением вариативности самих стереотипов или форм их реализации — они производятся в массовом порядке в большом количестве совершенно сходных друг с другом экземпляров. Даже в сфере духовной культуры распространяются различные способы материальной фиксации нематериализованных по своему характеру форм человеческой деятельности (кино, звукозаписывающие аппараты). Все это приводит к стабилизации (стагнации) стереотипов. Воспроизводятся уже не модели текстов, а одни и те же тексты. Этому способствуют не только фиксации текстов, но и способ их воспроизведения. Сравним восприятие письменного текста, который представляет собой кодирование сегмента естественного языка (читатель при этом совершает вторичный акт декодирования, прочтения текста), и не требующее декодирования прямое восприятие «текста» в кино, телевидении, при использовании магнитофона и т. д. «Декодирование» во втором случае происходит с помощью технических средств — киноаппарата, звукокассеты, экрана телевизора и т. д. Рядом с, казалось бы, весьма индивидуализированными формами художественного творчества возникает целое море так называемой «массовой культуры», степень стандартизации (стереотипизации) которой выше, чем это было в сфере традиционного фольклора и традиционного народного искусства. Я имею в виду вестерны, детективные и бульварные романы и фильмы, популярные шлягеры и т. д., буквально насыщенные стереотипами (штампами) самого различного типа и уровня. Длительное манипулирование читательским сознанием приводит к стереотипизации восприятия ничуть не меньше фольклорного, а если учесть полное отсутствие локального варьирования, столь характерного для архаической традиции, то придется признать, что она сильнее распространена по крайней мере вширь¹⁰.

Возникает и все более укрепляется ситуация, для которой характерно снижение интенсивности творческой деятельности на полюсе восприятия. Но, разумеется, оно не может прекратиться вовсе. Оно все же остается восприятием, т. е. процессом, требующим известной активности. При этом следует учитывать возросшую условность целого ряда театральных, музыкальных, литературных форм и особенно форм изобразительного искусства. Различия в степени интенсивности и глубины восприятия становятся все более индивидуальными, личностными. В этой сфере возможности выбора (селекции) значительно более ограничены, чем в сфере материальной культуры, и создается относительно более жесткая система информации (ср. возможность выбора книги при наличии библиотек, в фондах которых много тысяч и даже миллионов книг, и ограниченность выбора в сфере кино, телевидения и т. д.). Воспроизводящие аппараты индивидуального пользования несколько компенсируют эту жесткость. Вместе с тем характерно развитие других форм компенсации — резкий рост элементов импровизации (предельная форма вариативности) в современных танцах, в эстрадной музыке, в массовой гитарной песне и т. д.

¹⁰ См. содержательное исследование стереотипизированных форм современной «массовой культуры» — бульварной литературы, комиксов, кино и т. д. в сборнике финских исследователей «Folklore tänään. Toimittaneet H. Laukonen ja K. Mäkinen». Helsinki, 1974. Здесь же (с. 197—204) см. библиографию важнейших работ на эту тему.

Мы коснулись только некоторых принципиальных теоретических вопросов, связанных с обозначенной в заглавии проблемой. Мы убеждены в том, что вариативность (точнее, соотношение традиции, или стабильности, и вариативности) должна быть признана одним из важнейших свойств культуры вообще и традиционно-бытовой культуры в особенности. Она должна быть систематически изучена. Продемонстрировать методы, которые при этом могли бы быть использованы, и было целью настоящей статьи.

С. А. Арутюнов, Э. С. Маркарян, Ю. И. Мкртумян

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭТНОСА

На современном этапе развития этнографической науки возникает необходимость проведения таких исследований культуры этноса, которые могли бы дать возможность описать ее в виде ряда взаимосвязанных подсистем, каждая из которых выполняет специфические задачи адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды. Это предполагает установление значительно более тесных творческих связей этнографии с культурологией, призванной исследовать культуру теоретически как определенный целостный феномен. В свою очередь для культурологии очень важны опыт этнографии в изучении народов, особенно под углом зрения локального исторического разнообразия культуры человечества, а также основные принципы и система понятий, в которых кристаллизуется этот опыт. Взаимная заинтересованность данных областей ставит на повестку дня выработку особого типа интегративных исследований. Его можно назвать этнокультурологическими исследованиями¹.

В 1976 г. авторы настоящей статьи поставили перед собой задачу проведения подобного этнокультурологического исследования применительно к культуре жизнеобеспечения. Организационным центром исследования явился Отдел теории культуры Института философии и права АН Армянской ССР, все сотрудники которого приняли непосредственное и активное участие в его осуществлении. В исследовании на различных его этапах принимали участие также отдельные сотрудники Института этнографии АН СССР, Института археологии и этнографии АН Армянской ССР, студенты исторического факультета Ереванского госуниверситета. В качестве предмета изучения были взяты системы жизнеобеспечения как подсистемы культуры армянского села.

Естественно, что перед авторами с самого начала встала необходимость определения пространственных и временных рамок исследования. В пространственном отношении следовало ограничить исследование таким образом, чтобы материал был в достаточной степени репрезентативным и для Армении в целом, и для ее различных экологических зон. Временные же рамки должны были охватить период, выражающий качественно разные уровни социально-экономического и бытового развития.

Учитывая особенности природно-географических, социально-экономических и бытовых условий, авторы остановили свой выбор на историко-культурных районах Сюник, Ширак и Айрарат, значительно отличающихся друг от друга в указанных отношениях. Определить временные рамки было легче: полевым этнографическим исследованием путем анкетного интервьюирования можно было охватить все прошедшее столетие, а это как раз период, отмеченный крупнейшими сдвигами в поли-

¹ Markarjan E. S. Ethno-Culturology and Ethnographic Studies.— Problems of the European Ethnography and Folklore. Summaries. II Congress of the International Society for European Ethnology and Folklore. Moscow, 1982, p. 192—195.

тской, социальной и хозяйственной жизни армянского народа, как других народов Советского Союза.

Основные выводы проведенного исследования изложены в недавно вышедшей коллективной монографии². Она состоит из двух частей: теоретической, в которой дана общая характеристика культуры жизнеобеспечения, показаны место этнических культур в системе локального разнообразия человечества и современная методология изучения этого разнообразия, и фактологической части, где рассмотрены и обобщены материалы двух экспедиций (август-сентябрь 1976 г. и июль-август 1978 г.). Важно при этом отметить, что и в сборе полевых материалов, и в написании второй, собственно этнографической части коллективной монографии непосредственное участие приняли культурологи. И наоборот, члены авторского коллектива — этнографы активно участвовали в разработке теоретических проблем исследования, а также в их изложении.

Не претендуя на обобщение всех результатов проведенной работы, авторы статьи ставят перед собой цель охарактеризовать исходные задачи этнокультурологического исследования и некоторые основные его выводы.

Тот круг явлений, который в указанном исследовании понимается под *культурой жизнеобеспечения* (далее — КЖ), охватывает главным образом поселения, жилища, пищу и одежду. Можно назвать немало исследований первостепенного значения, в которых этнографы исследуют эти основные компоненты КЖ как независимые комплексы, не ставя, однако, специально задачу выявления существующих системных связей между ними³. В осуществленном же нами исследовании было решено сделать компоненты КЖ не только предметом систематического сравнительного регионального и зонального анализа, но и попытаться изучить эти компоненты в их единстве. Охват всех компонентов КЖ не представился возможным. За рамками нашего исследования остались одежда и ряд периферийных компонентов КЖ, таких, как утварь, меблировка и т. д.

Для каждого из взятых для исследования компонентов КЖ была разработана серия карт-анкет, где была заранее предусмотрена фиксация основных объектов потребления (виды домашних и диких животных, сельскохозяйственные культуры, компоненты поселений, детали жилища) — по одной оси, и возможных видов их оформления и использования — по другой. Разумеется, оба компонентных списка могли расширяться в ходе исследования. В карте-анкете фиксировалось отсутствие или наличие данного компонента и формы его использования, притом с учетом степени распространенности. Дополнительные сведения, не вписывающиеся в рамки формализованной анкеты, записывались особую. Формализованная часть играла в исследовании весьма важную роль, так как сопоставление по любой ячейке анкеты формализованных «портретов» поселений, отобранных по принципу историко-культурного района, ландшафтной зоны или времени возникновения позволяло сразу же выявить уровень сходства или различия по данному признаку (например, распространенность сырьевого кирпича для кладки стен или приготовление запасов путем упаривания фруктовых соков).

Следует отметить, что выработка программы исследования и составление достаточно хорошо работающих анкет потребовали весьма значительных усилий всего авторского коллектива. Перед ним стояла прежде всего задача теоретически обосновать выделение КЖ в общей системе культуры. Эта задача не так проста, как может показаться на первый

² Культура жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурологического исследования на материалах армянской сельской культуры). Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1983.

³ См., например; *Блоквист Е. Э.* Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов (поселения, жилища и хозяйственные строения). — В кн.: Восточнославянский сборник. М.: Изд-во АН СССР, 1956/Тр. Ин-та этнографии АН СССР (далее ТИЭ), т. XXXI; Типы сельского жилища в странах Западной Европы. М.: Наука, 1968; *Этнография питания народов стран Зарубежной Азии.* М.: Наука, 1981; *Белицер В. Н.* Народная одежда удмуртов (материалы к этногенезу). — ТИЭ. М.: Изд-во АН СССР, 1961, т. X; *Волкова Н. Г., Джавахишвили Г. Н.* Бытовая культура Грузии XIX—XX веков. Традиции и инновации. М.: Наука, 1982.

взгляд, особенно при эмпирически-интуитивном подходе. На теоретическом уровне она не может быть решена без разработки соответствующего общего принципа, благодаря которому КЖ можно абстрагировать в общем ряду других подсистем культуры. Этот принцип должен быть функциональным, т. е. исходить из выделения некоторых генеральных функций, выполняемых культурой как способом человеческой деятельности. При этом группировка функций и абстрагирование соответствующих элементов культуры — их носителей могут быть более дробными или обобщенными в зависимости от ставящихся познавательных задач.

В соответствии с целями исследования мы сочли необходимым абстрагировать четыре функциональные подсистемы культуры, способные целостно выразить основные звенья осуществления циклов деятельности различных исторических общностей людей. К ним относятся *регулятивная подсистема*, выполняющая прежде всего функции стимуляции, мотивации, программирования, контроля и координации деятельности; *освещающе-исполнительная подсистема*, благодаря которой люди обеспечиваются средствами реализации своих многообразных программ деятельности; *подсистема средств физического жизнеобеспечения*, которая позволяет людям поддерживать свое физическое существование и охранять их от вредных воздействий среды⁴; наконец, *подсистема надбиологического социокультурного воспроизводства*, осуществляемого путем аккумуляции и социальной организации общественно значимого опыта в стереотипы культурной традиции.

Процесс экологической адаптации общества к природной среде происходит путем ее соответствующего социально организованного территориального освоения, которое выражается в строительстве жилищ и целых поселений, в организации производства необходимых для повседневной жизни пищевых продуктов, утвари, одежды и пр. Все эти элементы культуры и могут быть объединены в общем понятии «культура жизнеобеспечения».

Этнографы в соответствии с классификацией культуры на материальную и духовную обычно относят составляющие КЖ к первой. В целом такое отнесение, несомненно, правомерно, однако, во-первых, материальная культура этим не исчерпывается, хотя в ряде исследований ее характеристика и ограничивается описанием компонентов КЖ⁵. Во-вторых, относясь в целом к материальной культуре, многие, если не все, компоненты КЖ имеют определенное выражение или отражение и в сфере духовной культуры. И наконец, не вполне корректно обычно даваемое или подразумеваемое обоснование такой классификации, согласно которому материальная культура охватывает материально воплощенные предметы культуры, а духовная — систему знаний, представлений и нравственных норм.

Нам представляется, что в основу деления культуры на материальную и духовную должно быть положено различие двух функций, которые призвана выполнять культура соответственно направленность одних ее элементов на биофизическую сферу (в том числе и органы самого человека), а других, на духовный мир людей, на сознание и психику в целом.

С этой точки зрения к материальной культуре следует отнести и систему средств воздействия на биофизическую сферу (орудия труда) и систему средств физического обеспечения человеческой деятельности, т. е. то, что в своей совокупности было названо культурой жизнеобеспечения⁶. Что касается духовной культуры, то ее основными ком-

⁴ Именно данная подсистема дает основание для выделения культуры жизнеобеспечения. Более подробно об этом см.: Культура жизнеобеспечения и этнос, ч. I, гл. § 1.

⁵ См., например: Народы Европейской части СССР, I (серия Народы мира. Этнографические очерки). М.: Наука, 1964, с. 817—851.

⁶ В связи с рассмотрением данной подсистемы важно отметить, что все без исключения подсистемы культуры в конечном счете направлены (каждая по-своему) на обеспечение и поддержание общественной жизни людей, человеческой деятельности. На обеспечение общественной жизни направлены и стимуляционно-мотивирующие, и прог-

нтами выступают системы средств регуляции человеческой деятельности (соционормативная и гуманитарная культуры), в том числе и системы средств производства и аккумуляции знаний (когнитивная культура)⁷.

Для целей дальнейшего исследования необходимо подчеркнуть, что рассмотренный выше принцип выделения материальной и духовной культуры базируется на выявлении доминантных функций этих подсистем культуры. Данное обстоятельство очень важно в силу многофункциональности большинства элементов культуры и образуемых ими комплексов. В этой многофункциональности легко убедиться на примере КЖ и отдельных ее составляющих.

Хотя исходными и доминантными для последних являются функции освоения природно-экологического пространства, защиты и физического поддержания человеческих коллективов, в процессе своего реального функционирования они выполняют и социорегулятивные функции. Надо иметь в виду, что элементы КЖ, помимо удовлетворения потребности людей в чисто физическом обеспечении жизни, призваны удовлетворять и иные, как бы надстраивающиеся над ними социальные потребности. Очень важное место среди них занимают престижно-символические, коммуникативные и эстетические потребности.

Сказанное ни в коей мере не умаляет значение предложенного принципа вычленения КЖ из общей системы культуры. Следует помнить, что любая классификация в той или иной мере условна и ведет к огрублению действительности. Однако без подобного огрубления вообще невозможно научный анализ объектов исследования. Удовлетворение материальных и духовных потребностей представляет собой интегральный процесс, вычленение компонентов которого производится лишь путем логической изолирующей абстракции. Это хорошо видно на примере выделенных комплексов КЖ. Хотя доминантными для них являются функции защиты и физического поддержания человеческих коллективов, но в процессе своего реального функционирования и развития эти комплексы выполняют и социорегулятивные (стимулирующие, программирующие, организующие, контролирующие) функции. Поэтому недопустимо отмеченные комплексы КЖ, как и явления других подсистем культуры, связывать с отдельно взятыми индивидами и выводить их непосредственно из витальных потребностей, не опосредствуя их потребностями существования социального организма. Культура есть социальное явление, и условием правильного понимания ее соответствующих элементов должно быть их рассмотрение сквозь призму социального организма.

Естественно, что между отдельными комплексами КЖ нет непроходимых граней, как нет их между КЖ и другими подразделениями культуры. Наоборот, в обоих случаях имеются более или менее равновеликие области взаимопроникновения. Например, очаг (тонир, бухар) является деталью жилища и связан с его функционированием (отопление и др.), но он же служит для приготовления пищи, выпечки хлеба и тем самым неразрывно связан с комплексом питания.

Хотя система КЖ функционирует прежде всего в сфере потребления, однако она включает и определенные моменты производства и распределения. Относясь в целом к области материальной культуры, КЖ, как уже было сказано, в своей конкретной форме отражает и выражает разнообразные аспекты социальной жизни и духовной культуры: соционормативные, престижные, эстетические, ритуально-культовые и т. д. Именно поэтому КЖ является одним из тех звеньев, с которого очень удобно начать исследование культуры этноса с тем, чтобы в дальнейшем распространить его на другие однопорядковые системы культуры и на весь феномен культуры в целом.

мирующие, и исполнительные, и воспроизводящие звенья культуры. Особая роль «культуры жизнеобеспечения» состоит именно в физическом обеспечении жизнедеятельности людей.

⁷ Более подробно об этом см.: Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1969, с. 86; его же. Теория культуры и современная наука. М.: Мысль, 1983, гл. 2, § 1.

В связи с задачей выделения КЖ в качестве специфического предмета научного анализа нами проведена дифференциация между данной подсистемой культуры и культурой первичного производства. В основе существования любой общности людей лежит производство материальных благ, но эти блага, чтобы обеспечить воспроизводство жизнедеятельности своих создателей, должны приобрести приспособленную к определенным условиям потребления форму, т. е. должны быть переведены из культуры первичного производства в культуру жизнеобеспечения. Именно там, где блага начинают приобретать форму, непосредственно направленную на удовлетворение витальных потребностей людей, как раз и следует проводить порой довольно условную грань между этими двумя подсистемами культуры. Но во многих ситуациях различия вполне очевидны. Так, например, способ производства зерна еще не относится к КЖ, так же как не относится к ней способ рубки леса. Эти процессы остаются всецело в рамках культуры первичного производства. Однако обрушивание крупы, помол муки и выпечка хлеба, равно как заготовка балок и столбов для строительства дома, входят в КЖ, и т. д.

Таким образом, адаптированная к непосредственным целям нашего исследования схема культуры включает в себя четыре компонента: *культуру первичного производства, культуру жизнеобеспечения, соционормативную культуру и познавательную или гуманитарную культуру*⁸. Эта рабочая концептуальная схема, будучи результатом довольно длительных коллективных поисков, несомненно, еще потребует дальнейшего совершенствования, но ее использование и в настоящем виде оказалось методологически полезным для целей нашего исследования.

* * *

Сравнительно-типологический метод является одним из наиболее важных научных методов изучения этнических культур. Последние представляют собой сложное образование, и их изучение требует, помимо типологизации присущих им общих черт, также и типологизации их локальной специфики на различных таксономических уровнях. В связи с этим важное значение приобретает разработка исходных принципов типологического обобщения при сравнительном изучении этнических культур и их соответствующих вариантов. В качестве таковых могут выступать «общий» и «локальный» исторические типы культуры. Выделение общего исторического типа обусловлено существованием исторических закономерностей формирования, функционирования и развития социокультурных систем, а также сочетанием их с закономерностями другого порядка, например ландшафтно-экологическими. Примерами указанных разновидностей общего исторического типа могут служить понятия «общественно-экономическая формация» и «хозяйственно-культурный тип». Выделение же локального исторического типа должно производиться путем конкретизации проявления общих закономерностей в определенных пространственно-временных рамках. Именно эта понятийная схема была положена в основу методологической основы сравнительно-типологического изучения КЖ в проведенном нами исследовании. Задачи конкретного этнографического анализа потребовали конкретизации идеи различения общих и локальных исторических типов. Хотя эта идея была предложена еще в середине 60-х годов⁹ и принята многими специалистами, в своем первоначальном виде она не была в достаточной степени связана с исследовательской практикой, так как была выработана непосредственно в процессе критического анализа философско-исторической концепции эквивалентности культур, выделявшей локально исторические системы культуры в рамках истории человечества в целом.

Проведенное же нами исследование было ограничено рамками одного этноса. Поэтому необходимо было адаптировать сформулированную ра-

⁸ Более подробно об этом см.: Мкртумян Ю. И. Основные компоненты культуры этноса. — В кн.: Методологические проблемы исследования этнических культур. Материалы симпозиума. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1978.

⁹ Маркарян Э. С. Очерки теории культуры, с. 113—114.

концептуальную схему к подобному уровню анализа. Это стало возможным после более четкой формулировки идеи относительности общих локальных исторических типов культуры в зависимости от стоящих знавательных задач и задаваемого общего поля исследования¹⁰.

Одна из проблем, которая встала перед авторским коллективом, состояла в нахождении основных элементарных единиц анализа. Поскольку ставилась вполне определенная познавательная задача (сравнительный анализ функционирования основных составляющих КЖ в армянском селе, включая и их символические аспекты), для проведения подобного анализа надо было выделить такие единицы, которые отвечали бы требованиям вполне определенных системных категорий.

Для пищи подобная единица анализа была определена через понятие трапезы¹¹, благодаря которому достигается требуемая комбинация элементов пищи в структурно-функциональные единицы исследования, соответствующие реальным жизненным ситуациям (обыденным, ритуальным) процесса потребления пищи. Именно трапезы, а не отдельные составляющие пищи выступают в качестве действительного эквивалента таким единицам исследования, как поселения, жилища и определенные комплексы одежды. Отметим в связи с этим, что пища, а также одежда, в отличие от поселений и жилищ, представляют собой значительно более гибкие и гетерогенные системы, составляющие которых находятся в переносном состоянии и комбинируются в качестве реальных единиц предписываемого традициями потребления пищи в соответствующих традициях и ритуалах или ношения одежды как целостного костюма-комплекса определенными половозрастными группами в определенных бытовых и обрядовых ситуациях¹².

Хотя в любом комплексе КЖ мы можем найти знаково-символические функции, они не всюду проявлены одинаково четко. В поселенческом комплексе, например, знаковость, престижность, символичность, как правило, могут быть связаны лишь с его отдельными элементами или выступать как его дополнительная, эксплицитно не выраженная функция, в то время как в жилищном комплексе они проявлены и в архитектонике, и в декоре, и в отдельных деталях построек. Пожалуй, наиболее четко эти свойства выражаются в комплексе питания, где знаковость может быть присуща и исходным продуктам для приготовления блюд, и способам их приготовления, и особенностям их внешнего оформления, и способам потребления.

Один из аспектов знаковости, выраженный в комплексах КЖ, проходит по оси «профанное — сакральное», с обширной долей более или менее нейтральных компонентов в срединной части этой оси. С этой осью связан целый ряд других бинарных оппозиций, которые могут выступать по отношению к ней либо как независимые, ортогональные, либо как коррелированные, вплоть до параллелизма и даже полного слияния. Таковы оппозиции «домашнее — дикое», «женское — мужское», «печальное — радостное», «темное — светлое», «вареное — жареное» и т. д.¹³

Другой аспект, чаще всего не коррелирующий с первым, заключается в оппозиции по оси «престижное — непрестижное», с более или менее разработанной шкалой иерархии престижности по этой оси. Наличие указанных осей «профанное — сакральное» и «престижное — непрестижное» создает предпосылки для конструирования разветвленной типологии различных комплексов и компонентов КЖ в плане их семиотического мышления.

Конфигурация всех рассмотренных параметров зависит главным образом от уровня социально-экономического развития этноса и от кон-

¹⁰ Маркарян Э. С. Исходные предпосылки исследования этнических культур. — В кн.: Методологические проблемы исследования этнических культур, с. 13—15; его же. Теория культуры и современная наука, гл. 4, § 2, 3.

¹¹ Арутюнов С. А., Мкртумян Ю. И. Проблема классификации элементов культуры (на примере армянской системы питания). — Сов. этнография, 1981, № 4, с. 14.

¹² Более подробно об основании выделения элементарных единиц проведенного исследования см.: Культура жизнеобеспечения и этнос, ч. I, гл. 1, § 1.

¹³ Этнография питания народов стран Зарубежной Азии, с. 246—247.

кратных исторических условий его формирования и существования. Кроме этих факторов, в формировании КЖ, пожалуй, даже в большей степени, чем в формировании культуры первичного производства, говоря уже о двух остальных подсистемах культуры, существенную роль играет природно-экологический фактор, который необходимо всесторонне учитывать, не допуская, однако, его абсолютизации. Поэтому в приведенном исследовании, объектом которого явились жилищно-поселенческий комплекс и комплекс питания в армянской сельской культуре, перед исследователями встала необходимость учета действия экологических факторов в формировании локальной вариативности КЖ в рамках единой этнической культуры.

Конечная цель происходящего в наши дни пересмотра традиционных, устоявшихся, оправдавших себя в прошлом, но в известной мере исчерпавших себя методик этнографического исследования, цель поисковых формулировок, новых форм постановки познавательных задач по-видимому, состоит в том, чтобы создать базу для типологического обобщения и классификационного анализа разнородных и многоплановых культурных явлений. При этом они должны выступать не как механические совокупности отдельных формальных признаков, а как иерархия различных типологических систем, связи внутри которых можно было бы проследить на любом таксономическом уровне. Эта задача принципиально стоит перед любой крупномасштабной этнографической работой, тем более перед работой этнокультурологического характера.

Предпринятая в данном исследовании попытка создания концептуальной схемы выделения подсистем культуры и взаимосвязи их составных комплексов в конечном счете преследует именно эти цели. В идеале планомерное и широкое проведение подобных исследований различных этнических культур может иметь своим результатом такую многоуровневую интеграцию отдельных явлений в комплексах культуры, которая позволила бы осуществлять типологическое сопоставление и выявление исторических соотношений между любыми целостными культурными совокупностями и их органическими составными частями, определить закономерностей динамики их развития, формирования и выделения из них изоморфных и гетероморфных, инвариантных и вариантных категорий.

Разумеется, исследование, предпринятое нами, т. е. ограниченное рамками одной этнической культуры и рассматривающее в ней даже целостную подсистему КЖ, а лишь два ее существеннейших комплекса в лучшем случае может быть лишь одним шагом на долгом пути к решению подобной задачи. Однако некоторые предварительные выводы можно сделать и основываясь на результатах проводившегося нами исследования.

Мы уже отмечали, что престижные, ритуально-символические и племенные знаковые функции наиболее эксплицитно выражены в комплексе питания, несколько менее в жилище и еще менее в поселенческом комплексе. Можно сказать, что такое же соотношение наблюдается и в степени выраженности в этих комплексах этнически специфических черт в тенденции к их устойчивому сохранению. То и другое наименее выражено в комплексе поселения.

На ряде примеров из других культур (в частности, японской)¹⁴ можно показать, что при распределении культурных явлений и деталей отдельных комплексов по оси «интимное — общественное» сохранность органическая вписанность этнически специфических черт нарастает со стороны интимности или «эзотеричности» элементов культуры и падает в направлении их «экзотеричности».

Комплекс питания, по-видимому, должен рассматриваться как один из комплексов КЖ, имеющий самую большую интимную нагрузку, и питание за трапезой принадлежит к числу наиболее тесных видов чел-

¹⁴ Арутюнов С. А. Статика и динамика неевропейской бытовой культуры. — В Основных проблемы африканистики. М.: Наука, 1973.

ского общения, а общение в поселении, т. е. на улице или на площади — к числу наименее интимных, а следовательно, наиболее проницаемых межэтнически, почему и среда его имеет тенденцию к этнически и символически нейтральному оформлению.

При анализе любого комплекса в рамках КЖ можно выделить соотношения по этнокультурным регионам, обобщенно определяемые по оси «центрально-периферийное», соотношения по ландшафтно-климатическим зонам, выражаемые в нашем случае осью «долинное — горное», охальные соотношения типа «новое — старое» и имущественно-социальные соотношения типа «более зажиточное — менее зажиточное». Переходы в подобных континуумах происходят постепенно, но в одних случаях эта постепенность ровная, плавная, в других случаях в ней заметны моменты скачкообразных изменений. Так, например, эпохальные изменения в жилище происходят более резко и скачкообразно, нежели в пище; зональные различия в структуре жилищного комплекса выражены резче и явственнее, чем в поселенческом комплексе, и т. д.

Любопытно, что все названные оси соотношений (бинарных оппозиций) на практике выступают не вполне независимо друг от друга, а явно коррелируются между собой. На характеристику региона в целом существенно влияет преобладающая в нем ландшафтная зона. Долинная зона не менее в любом случае выступает в роли эталона, в направлении которого постепенно эволюционируют комплексы остальных двух зон. В случайно комплексах Айратского региона еще в дореволюционный период были присущи некоторые зачатки сдвигов в сторону урбанизации, которые в периферийных регионах и в особенности в их горных зонах начали появляться лишь много позже.

Прогрессивное развитие культуры этноса в целом характеризуется процессом все большей унификации. Объясняется это тем, что вариативность сосредоточена в наибольшей степени в правых членах указанных бинарных оппозиций, от которых развитие идет в сторону левых, причем последние выступают в качестве референтных вех для первых. Так, в введенных нами оппозициях «долинное — горное», «центрально-периферийное», «новое — старое», «зажиточное — бедное» совершенно четко можно проследить, что типы жилищ и поселений гораздо многообразнее в горной зоне, нежели в равнинной: типы бедняцких жилищ были весьма разнообразны, тогда как жилища зажиточных семей строились более или менее по одному, считавшемуся наиболее престижным в данный момент плану, и этот план был особенно характерен именно для равнинной зоны центрального района; новые, современные формы жилища весьма унифицированы в отличие от разнообразных старых, традиционных форм. Развитие идет постепенно от этих старых форм к новым, причем закономерно сопровождается вытеснением периферийных форм центральными, все большей степенью проявления в горных районах форм, ранее свойственных только равнинным.

Некоторая нивелировка этнически специфических черт КЖ в ходе этой эволюции сопровождается не снижением, а, напротив, скорее повышением знаковой нагрузки на отдельные элементы культуры по мере социально-экономического прогресса. Весьма различавшиеся ранее по типам и социальным уровням меню трапез унифицируются, но ассортимент престижных и праздничных блюд при этом возрастает, нюансы знаковых функций становятся все более многозначными. Особенно это заметно на напитках, среди которых ранее выражено знаковым был только один (вино), а ныне знаковые функции обретают и разные типы пива, и коньяк, и даже безалкогольные напитки. Доля затрат на алкоголь, на эстетическое оформление жилища, которая в старину была очень невелика, ныне достигает одной трети всей суммы затрат на сооружение жилища и даже более. Рост роли престижной означенности происходит параллельно с постепенным ослаблением, изживанием значимости оппозиции мирского и сакрального, что, разумеется, связано с общим падением роли культовых моментов в жизни общества.

Отдельные комплексы КЖ выступают как четко оформленные системы, где изменение в одном компоненте так или иначе сказывается на всех остальных. В частности, отчетливо видны параллелизм и взаимодополнительность животных и незерновых растительных продуктов. Так, например, в способах и в терминологии приготовления и использования овощи выступают в более тесной связи с мясом и как субститут его, фрукты более явно коррелируются с молочными продуктами, в частности сухофруктовые продукты выступают как заменители молочных в роли субстрата жидких блюд. В долинной системе питания, в сравнении с горной, естественно, удельный вес мясо-молочных компонентов снижен, а фруктово-овощных повышен. В целом в системе питания ярко выражен сбалансированный полиморфизм разных параллельных форм обеспечения: ячмень и просо как дополнительные зерновые наряду с пшеницей, пресные лепешки наряду с заквасным хлебом и т.д. При этом в относительно благоприятных ситуациях ведущая форма питания более распространена, а остальные сосуществуют с ней как значительные дополнения, отчасти ритуального характера, отчасти даже в роли детской забавы. Однако в кризисных, экстремальных ситуациях эти дополнительные формы становятся основной пищей, а ведущая форма функционирует уже скорее как празднично-престижная.

Так, например, при обеспеченности пшеничной мукой и необходимости для тонирного хлебопечения кислячим топливом заквасной пшеничной тонирный хлеб является основным пищевым продуктом, тогда как пресные лепешки, выпекаемые на раскаленных камнях, ячменный хлеб, пресные лепешки, выпекаемые на противне, могут изготавливаться либо в связи с некоторыми ритуалами, либо, чаще, просто для разнообразия или в качестве лакомства для детей (в горячем виде такие лепешки обладают определенными специфическими вкусовыми достоинствами). Однако в ситуации недостаточной обеспеченности эти виды хлеба могут стать основным пищевым продуктом, а настоящий пшеничный лаваш будет выпекаться лишь в особо праздничных случаях. То же можно сказать о «котапах» — своего рода пирогах с начинкой из лебеды и других дикорастущих трав, о замене дикорастущими травами мясного компонента в кашах и супах и т. д.

Проведенное исследование КЖ, имея экспериментальный характер, не преследовало цели выявления всех существенных системных связей между ее выделенными компонентами. Но оно с достаточной очевидностью показало перспективность этнокультурологического подхода к решению этой, по-видимому, наиболее важной задачи изучения КЖ, и других подсистем культуры. Отметим, что есть случаи, когда изменения в жилище и пище выступают взаимосвязанно, например, прекращение содержания молочного скота и переход на покупные молочные продукты, сопровождающиеся ликвидацией хлеба при доме; или же исчезновение тонира и переход с лавашных форм хлеба на каравайные. Однако создается впечатление, что больше выражена не столько взаимосвязанность отдельных комплексов жизнеобеспечения, сколько их параллельная зависимость от факторов других подсистем культуры — производственной, соционормативной и пр.

В КЖ, как, по-видимому, в культуре в целом, можно наблюдать формы социокультурной адаптивной эволюции, которые за неимением других терминов были названы терминами, заимствованными из теории биологической адаптивной эволюции: культурными идиоадаптациями, ароморфозами¹⁵. Под идиоадаптацией следует понимать такое видоизменение организма (в данном случае этносоциального организма), которое не сопровождается общими структурными прогрессивными изменениями; так, при доминировании среди традиционных жилищ домов типа «глхатун», со ступенчато-пирамидальными перекрытиями, в ряде регионов нашли широкое распространение дома типа «габовтун», со свчататыми каменными перекрытиями, а также пещерные жилища; не об-

¹⁵ Маркарян Э. С. О средствах оптимизации научно-интегративных процессов. Вопросы философии, 1980, № 11, с. 119, 120.

ая существенными конструктивными и комфортными преимуществами перед глхатуном, эти дома представляли собой типичный пример культурной идиоадаптации к среде, относительно бедной строительным лесом, зато богатой диким камнем и выходами мягких пород, весьма удобных для такого строительства. Примером идиоадаптации можно считать распространение в ряде мест, особенно предгорной и горной зоны, компактно-слитных форм поселений при общем преобладании ветвистых и кучевых. Различные формы использования дикорастущих растений, субституция кислых фруктовых продуктов для приготовления блюд вместо кисломолочных, использование различных видов мяса жира для приготовления запасов каурмы можно привести в качестве культурных идиоадаптивных изменений в системе питания.

Напротив, ароморфоз предполагает приспособительную адаптацию, связанную со структурными прогрессивными изменениями, с повышением общего уровня активности данного организма. В этом смысле обогащение рациона населения горных и засушливых районов овощными и фруктовыми компонентами в результате усиления межрайонных экономических связей, развития оросительной сети, интродукции новых засухо-холодоустойчивых сортов и культур представляет собой именно ароморфический тип изменения, так же как и распространение двухэтажных, многокамерных типов жилых зданий.

В прошлом, когда не было условий для прогрессивного социально-экономического развития армянского народа на своей коренной этнической территории, либо когда такой прогресс был весьма медленным и относительным, преобладали разные формы идиоадаптации и культурной дивергенции в приспособлении к разным условиям общения.

Эпоха социалистического строительства, приведшая к коренным преобразованиям в жизни армянского народа, отмечена преобладанием именно ароморфических форм эволюции. В эту эпоху влияние социальных условий на специфику комплексов жизнеобеспечения становится неравномерно более сильным, чем влияние природных условий. Соответственно региональные и зональные различия в них имеют тенденцию к сглаживанию, а вся система КЖ современного армянского села, постоянно обогащаясь и усложняясь, проявляет в то же время тенденцию к унификации в рамках этноса в целом.

В заключение можно с определенностью утверждать, что этнокультурологический подход имеет большие перспективы. Его достоинство состоит в том, что он дает возможность органически связывать широкие культурологические обобщения с эмпирическими исследованиями этнокультурных форм. А это позволяет преодолеть односторонне специализированное их изучение и способствует интеграции этнографического, а также иных видов знания, предметом непосредственного изучения которых выступают этносы и их культуры. Но следует иметь в виду, что прогресс этнокультурологических исследований находится в прямой зависимости от разработки узловых проблем самой культурологической теории, и прежде всего ее способности выразить культуру как целостную, реально функционирующую и развивающуюся систему через показ взаимодействия присущих ей основных подсистем ¹⁶.

¹⁶ О состоянии разработки данной проблемы, а также о соотношении этнокультурологического и этносоциологического типов исследований см.: Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука, гл. 2, § 1, гл. 4, § 1, гл. 5, § 2, 3.

ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

ЗА 60 лет

Грузинская этнографическая наука по праву занимает почетное место в академическом кавказоведении, 250-летний путь которого ознаменован немалыми научными достижениями¹. Однако еще до создания грузинской этнографии как научной дисциплины в грузинских летописях² и исторических сочинениях³ можно найти немало сведений о быте и культуре грузинского народа. Вторая половина XVIII—начало XIX в. период возникновения и расцвета академического кавказоведения — был важным этапом в развитии грузинской этнографии. С середины XIX в. не только Петербург и Москва, но и многие города Кавказа, прежде всего Тбилиси, становятся центрами кавказоведения. В 1850—1860-х годах в Тбилиси были созданы Кавказское общество сельского хозяйства, Кавказский отдел Русского географического общества, Кавказский музей⁴, Кавказская археографическая комиссия и другие научные учреждения, целенаправленная работа которых по этнографическому изучению Грузии и всего Кавказа отразилась в многочисленных изданиях и сыграла большую роль в развитии грузинской этнографической науки. В 1860-х годах с усилением в Грузии национально-освободительного движения большой размах приобрела деятельность многих грузинских просветителей — «шестидесятников» во главе с И. Чавчавадзе⁵. Значительно возрос интерес к изучению культуры и быта родного народа, активизировалась публикация этнографических материалов. В дальнейшей этнографической работе в Грузии руководило Грузинское историческое и этнографическое общество, возглавлявшееся известным историком Э. С. Такаишвили.

В становлении грузинской советской этнографической науки огромное значение имела деятельность выдающегося грузинского историка И. А. Джавахишвили (1876—1940), начавшаяся еще до революции. Его фундаментальные труды, посвященные хозяйству, социальным отношениям, материальной и духовной культуре грузинского народа, во многом послужили основой для изучения этих проблем новыми поколениями грузинских этнографов⁶.

Центром научных изысканий с первых лет Советской власти стал Отдел этнографии Государственного музея Грузии, где были собраны разрозненные по музеям Тбилиси предметы быта. Обогащение фондов музея, которые затем постоянно пополнялись, сделало возможным организацию тематических и региональных экспозиций. В частности, были подготовлены под руководством В. В. Бардавелидзе и Г. С. Читая этнографические выставки, характеризовавшие быт и культуру горцев Сванети и Хевсурети.

¹ Лавров Л. И. К 250-летию академического кавказоведения в России. — Кавказский этнографический сборник. М., 1976, т. VI.

² Мровели Леонти. История грузинских царей и грузинских племен. — Картлис цховреба (История Грузии). Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1955, т. I (на груз. яз.).

³ Багратиони Вахушти. История Грузии. — Картлис цховреба. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1973, т. IV (на груз. яз.); ср. его же. История Царства Грузинского. Тбилиси: Мецниереба, 1976 (пер. на русск. яз., предисловие, словари и указатели Накашвили Н. Т.).

⁴ Жордания Г. Г. История возникновения Кавказского музея. Тбилиси: Изд-во ИГССР, 1951.

⁵ Итонишвили В. Дж. Илья Чавчавадзе и этнография Грузии. Тбилиси: Изд-во ИГССР, 1963.

⁶ Джавахишвили И. А. Экономическая история Грузии. Тбилиси: Картули ципи, 1930, кн. I. 1934, кн. II; его же. История грузинского права. Тбилиси: Изд-во Тбилисского университета, 1928, кн. I, II (в. I), 1929, в. II; его же. История грузинского народа. Тбилиси: Изд-во АН УССР, 1928, кн. 1; его же. Введение в историю грузинского народа. Тбилиси, 1950, т. I; его же. Материалы по истории вещественной культуры грузинского народа. Тбилиси: Изд-во АН УССР, 1946, т. I; его же. Материалы к истории материальной культуры грузинского народа. В. III (Одежда, ткани и рукоделие), в. IV (Военное облачение и военное дело). Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1962; в. II (Утварь, мебель и посуда). Тбилиси: Мецниереба, 1965 (все на груз. яз.), и др.

Важнейшей задачей грузинской этнографической науки уже в первые годы Советской власти стала научная фиксация этнографических материалов, осуществлявшаяся благодаря систематическим экспедиционным работам в различных районах Грузии и тщательному изучению литературы. Особое внимание уделялось исследованию хозяйства и хозяйственного быта, материальной и духовной культуры, социальных отношений. Результаты научных изысканий отразились в работах Г. С. Читая, И. Макалатия, В. В. Бардавелидзе⁷.

Большое место в работе этнографов в довоенные годы уделялось этнографическому изучению горцев Грузии. В 1930-х — начале 1940-х годов были опубликованы многочисленные очерки С. И. Макалатия, посвященные Мтиулету, Горной Раче, Пшави, Тушети, Хеви, Хевсурети, Месхет-Джавахеи, Самегрело и ущельям Картли, в которых автор знакомит читателя с географическими особенностями края, историческим прошлым, семейным и религиозным бытом, материальной культурой, обычаями, праздниками и обрядами населения этих регионов⁸, а также работы Е. Габлиани⁹, Г. Тедорадзе¹⁰, А. Камараули¹¹ и др.

Дальнейшее развитие этнографических исследований во многом зависело от создания новых научных учреждений, подготовки квалифицированных кадров и организации научной работы. Все три фактора играли существенную роль в становлении грузинской советской этнографии. В 1932 г. был основан Грузинский филиал АН СССР, преобразованный в 1941 г. в Академию наук Грузинской ССР. Важным исследовательским центром грузинской этнографии стал созданный в 1936 г. на базе одного из подразделений Института языка, истории и материальной культуры Отдел этнографии. Последующее расширение деятельности этого отдела связано с Институтом истории им. Ив. Джавахишвили АН Грузинской ССР (создан в 1946 г., с 1964 — Институт истории, археологии и этнографии АН Грузинской ССР). В 1961 г. в Институте был образован Сектор этнографии, объединивший отделы антропологии, этнографии Грузии и этнографии народов Кавказа, а в 1981 г. на основе Отдела этнографии Грузии было сформировано три отдела: 1) материальной культуры и хозяйственного быта; 2) социальных отношений и 3) духовной культуры. Отдел этнографии народов Кавказа развернул работу в Закавказье и на Северном Кавказе, уделив особое внимание изучению грузино-кавказских культурно-исторических взаимоотношений. Плодотворную научно-исследовательскую и музейно-экспозиционную деятельность продолжают вести Отдел этнографии Государственного музея Грузии им. акад. С. Н. Джанашиа и соответствующие отделы научно-исследовательских институтов в Абхазии (институт создан в 1931 г.), Аджарии (в 1958 г.) и в Южной Осетии (в 1938 г.). В популяризации этнографических знаний большая заслуга принадлежит историко-этнографическим и краеведческим музеям Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Метия, Ахалцихе, Гегечкори, Казбеги, Душети и др. Координацию этно-

⁷ Читая Г. С. Крестьянский дом в Квабляни. — Мимомхилвели. Тбилиси, 1926, т. I (на груз. яз.); *его же*. Этнографическая поездка в Агбулагский район. — Изв. Музея Грузии, Тбилиси, 1928, т. IV (на груз. яз.); *его же*. Рачинское пахотное орудие. — Вестник Ин-та языка, истории и материальной культуры (далее — ИЯИМК). Тбилиси, 1937, т. I (на груз. яз.); *его же*. Ксанское пахотное орудие. — Там же, 1940, т. V—VI (на груз. яз.); Макалатия С. И. Культ фаллоса в Грузии. — Мимомхилвели. Тбилиси, 1926, т. I (на груз. яз.); *его же*. Культ божества Митри в Грузии. — Изв. Музея Грузии. Тбилиси, 1927, т. III (на груз. яз.); Бардавелидзе В. В. О культе деревьев в Грузии. — Там же; *его же*. Ритуал, связанный с деторождением среди грузин-горцев. — Там же, 1928, т. IV (на груз. яз.); *его же*. Опыт социологического изучения хевсурских верований. Тбилиси, 1933; Бардавелидзе В. В., Читая Г. С. Грузинский народный орнамент. Г. I. Хевсурский. Тбилиси: Изд-во Груз. фил. АН СССР, 1939 (на груз., русск., франц. яз.), и др.

⁸ См. работы Макалатия С. И., изданные в Тбилиси на груз. яз.: Мтиулет, 1930; Горная Рача, 1930; Тушети, 1933; Пшави, 1934; Хеви, 1934; Месхет-Джавахеи, 1939; Хевсурети, 1940; История и этнография Мегрелии, 1941, и др.

⁹ Габлиани Е. Сванети в прошлом и настоящем. Тбилиси, 1925 (на груз. яз.).

¹⁰ Тедорадзе Г. Пять лет в Пшав-Хевсурети. Тбилиси, 1930, кн. I; 1939, кн. II (на груз. яз.).

¹¹ Камараули А. Я. Хевсурия. Тбилиси, 1929.

графических исследований в республиканском масштабе осуществлялась созданная в 1977 г. Этнографическая комиссия при Президиуме Академии Наук Грузинской ССР. Надо сказать, что координации в области этнографического способствует регулярное проведение в республике научных сессий, которых участвуют этнографы и антропологи.

Первоначально подготовкой кадров этнографов руководил Отдел этнографии Государственного музея Грузии, а в дальнейшем — Отдел аспирантуры Института языка, истории и материальной культуры и кафедра этнографии Тбилисского государственного университета (создана в 1940 г.), готовившая специалистов по этнографии Грузии и Кавказа в целом. Если в первые годы Советской власти в республике насчитывалось лишь несколько специалистов, то теперь здесь имеют ученые степени 14 докторов наук и 48 кандидатов наук.

Создание научных центров и наличие профессиональных кадров позволили расширить экспедиционную, научно-исследовательскую и научно-экспозиционную деятельность. Практиковавшиеся прежде небольшие по числу участников экспедиции и индивидуальные поездки в различные историко-этнографические области Грузии уступили место крупным комплексным экспедициям. Особенно широкий размах полевого исследования приобрели в послевоенный период. Экспедиции работали в горных районах, и на равнине, и в предгорьях. Исследования велись не только в республике, но и за ее пределами. Помимо этнографов в составе экспедиций были архитекторы, художники, топографы, фотографы. Общие усилия представителей различных областей знания сделали реальным применение комплексно-интенсивного, по определению Г. С. Читая, метода¹² при сборе этнографических материалов в долгие срочные экспедиции. Назовем некоторые из экспедиций, чья деятельность была весьма плодотворной: 1) в Картли (1946—1947 гг., руководитель Г. С. Читая); 2) в Колхети (Западная Грузия, 1958—1960 гг., руководитель Г. С. Читая); 3) в горные районы Восточной Грузии (1962—1968 гг., руководитель В. В. Бардавелидзе); 4) в Чечено-Ингушетию (1962—1965 гг., руководитель А. И. Робакидзе); 5) в Осетию (1966—1969 гг., руководители А. И. Робакидзе, Т. А. Чиковани, В. Д. Иванишвили); 6) экспедиции Отдела этнографии Государственного музея Грузии им. С. Н. Джанашиа в различные районы республики (Хев Мтиулет-Гудамакари, Тушети, Ксанское ущелье, Месхет-Джавакети, Сванети, Имерети, Самегрело).

Особое значение среди собранных этнографами полевых материалов имеют коллекции предметов дореволюционного периода, обогатившие этнографические фонды Государственного музея Грузии. Взамен организованных в 1930-е годы первых региональных и тематических экспозиций было решено создать единую этнографическую экспозицию. Она была открыта в Государственном музее Грузии в 1954 г. и получила высокую оценку как в республиканской, так и во всесоюзной прессе. Тематическая экспозиция — «Старый и новый быт и культура грузинского народа» — была близка широким массам трудящихся и вызвала у них большой интерес¹³.

Анализ собранных в различных районах Грузии и Кавказа полевых материалов, а также тщательное изучение письменных источников и литературы сделали возможной планомерную разработку грузинскими этнографами ряда важнейших этнографических проблем.

Хозяйство и хозяйственный быт — одна из актуальных проблем грузинской этнографии, в разработке которой достигнуты определенные успехи. Грузинскими этнографами исследованы в своей республике и на Кавказе в целом системы полеводства, сельскохозяйственные орудия, эндемные сорта пшеницы, формы организации труда в полеводстве, хозяйственные постройки, а также особенности социаль-

¹² Читая Г. С. Принципы и метод полевой этнографической работы. — Сов. этнография (далее — СЭ), 1957, № 4.

¹³ Читая Г. С. Этнографическая выставка Грузии. — СЭ, 1956, № 2.

шений, обычаев и обрядов, праздников и ритуалов, связанных с земледельческим бытом грузин и некоторых других народов Кавказа¹⁴. Известно, что Грузия издавна является высокоразвитой земледельческой областью, которой присуща вертикальная зональность, т. е. закономерная смена природных условий, происходящая с изменением высоты в горах. Вследствие длительного и плодотворного научного поиска выявлены обусловленные вертикальной зональностью особенности ведения земледелия (обработка почвы, земледельческие культуры, сельскохозяйственные орудия, средства повышения урожайности, в том числе основанные на эмпирических знаниях) в районах, расположенных в горах, предгорьях и на равнине. Итоги проведенных Г. С. Читая исследований систем земледелия и пахотных орудий представляют значительный вклад в агроэтнографию и признаны основополагающими в этой отрасли географической науки.

Грузинскими этнографами тщательно изучены орошаемое земледелие и террасная система, различные способы орошения, выработанные в соответствии с особенностями, агротехнические народные знания и навыки, поныне имеющие огромное значение в сельском хозяйстве¹⁵. Важное место в этнографических исследованиях отведено вопросам виноградарства и виноделия¹⁶. В различных районах Грузии изучены сорта винограда, традиции их выращивания, типы винохранилищ (маи), формы организации труда, а также связанные с виноградарством и виноделением народные праздники и религиозные представления.

В ряде этнографических публикаций рассматриваются шелководство, плодоводство, огородничество, способы пивоварения¹⁷. Большое внимание уделено изучению истории охоты и пчеловодства в Грузии¹⁸.

Специальные монографии посвящены скотоводству. В капитальном труде В. М. Шамиладзе на основе анализа грузино-кавказского этнографического материала уточнено содержание понятия «кочевое скотоводство», что имеет большое значение для выявления сути «альпийского скотоводства»¹⁹. И в труде В. М. Шамиладзе, и в работах других авторов исследован комплекс вопросов, связанных со скотоводством: породы животных, продукты животноводства, пищевые ресурсы и хозяйственные нужды, пути реализации продуктов животноводства, организация труда и др.²⁰

¹⁴ Читая Г. С. Земледельческие системы и пахотные орудия Грузии.— Вопросы этнографии Кавказа. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1949; Джалабадзе Г. В. К истории земледельческих орудий Восточной Грузии. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1960 (на груз. яз.); его же. Земледелие в Пшави и Хевсурети. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1963 (на груз. яз.); его же. Полеводческая культура Грузии: Автореф. дис. на соискание уч. ст. д-ра наук. Тбилиси: Ин-т истории, археологии и этнографии АН ГССР (далее — ИЭ), 1972; Брегадзе Н. А. Горное земледелие в Западной Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1969; Чиджавадзе Н. Ш. Из истории земледельческого быта в Аджарии. Тбилиси: Мецниереба, 1971 (на груз. яз.); Бериашвили Л. К. Земледелие в Месхети. Тбилиси: Мецниереба, 1973 (на груз. яз.); Рухадзе Дж. А. Народная агрокультура в Западной Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1976 (на груз. яз.); Кантария М. В. Из истории хозяйственного быта Кабарды. Тбилиси: Мецниереба, 1982 (на груз. яз.) и др.

¹⁵ Гедешидзе М. К. Орошаемое земледелие в Грузии. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1961 (на груз. яз.); Чиджавадзе Н. Ш. Террасное земледелие в Грузии. Батуми: Саб-бат Аджара, 1976 (на груз. яз.).

¹⁶ Нанобашвили И. Дж. Древняя культура лозы в Кизики. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1960 (на груз. яз.); Сонгулашвили Дж. М. К истории виноградарства и виноделия в Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1974 (на груз. яз.); Приудзе Л. А. Виноградарство и виноделие в Грузии (Рача). Тбилиси: Мецниереба, 1974 (на груз. яз.).

¹⁷ Абесадзе Н. Н. Шелководство в Грузии. Тбилиси, 1957 (на груз. яз.); Сонгулашвили Дж. М. Огородничество в окрестностях Тбилиси. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1959 (на груз. яз.); Павлиашвили Д. С. Плодоводство Восточной Грузии. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1962 (на груз. яз.); Лекиашвили А. С. Из истории хозяйственного быта в Грузии: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: Тбилисск. гос. ун-т, 1963 (на груз. яз.).

¹⁸ Робакидзе А. И. Пережитки коллективной охоты у рачинцев. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1941 (на груз. яз.); его же. К истории пчеловодства. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1960 (на груз. яз.).

¹⁹ Шамиладзе В. М. Хозяйственно-культурные и социально-экономические проблемы скотоводства Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1979.

²⁰ Топурия Н. С. Тушинский сыр.— Материалы по этнографии Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1972, т. XVI—XVII (на груз. яз.); Гамкрелидзе Б. В. Скотоводство в гор-

Материальная культура также является одной из основных проблем, находящихся в центре внимания грузинских этнографов. В примере различных районов Грузии и Кавказа ими изучены типы жилищ, построек и формы поселений, системы перекрытия зданий, определены функции помещений (бытовая, хозяйственная, социальная, культовая). Кроме того, разработаны, с учетом вертикальной зональности и сложения социально-экономических условий, типологические принципы классификации жилых построек и форм поселений горной, предгорной и равнинной зон. Итоги исследования выявили высокую строительную культуру, разнообразие архитектурных форм, сложившиеся в древности социальные и культовые функции жилых построек и поселений²¹.

На основе анализа грузино-кавказских и древневосточных (индийских, иранских) материалов, музейных коллекций, а также письменных источников достигнуты значительные успехи в изучении таких традиционных компонентов материальной культуры, как транспорт, водные мельницы, мебель, одежда, украшения, оружие²².

Специальные монографии посвящены народной металлургии, кузнечному делу, приемам обработки изделий из камня, дерева, кости, шерсти, шелка, льна²³. Исследованы и вопросы питания грузин-горцев²⁴, изучены маслоседелые орудия²⁵.

ной Ингушетии: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1969 (на груз. яз.); *еао же*. Система скотоводства в горной Осетии.—Кавказский этнографический сборник (далее — КЭС). Тбилиси: Мецниереба, 1980, т. V, ч. 3; *Макалатия М.* Скотоводство в горной части Восточной Грузии: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1975 (на груз. яз.); *Цагарейшвили Т. Ш.* Скотоводство в Западной Грузии: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1975 (на груз. яз.); *Квициани И. Б.* Скотоводство в Сванети. Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: Тбилисс. гос. ун-т, 1976 (на груз. яз.), и др.

²¹ *Читая Г. С.* Тип поселения в Мтиулет. — Материалы по этнографии Грузии. Тбилиси: Изд-во АН СССР, 1953, т. VI (на груз. яз.); *Харадзе Р. Л., Робакидзе А.* Сванское село в прошлом. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1964 (на груз. яз.); *Илиашвили А.* Мтиульское село в прошлом. Тбилиси: Мецниереба, 1965 (на груз. яз.); *Робакидзе А.* Жилища и поселения горных ингушей. — КЭС. Тбилиси: Мецниереба, 1968, т. II; *Робакидзе А. И., Гегечкори Г. Г.* Формы жилища и структура поселения горной Грузии. — КЭС. Тбилиси: Мецниереба, 1975, т. V, ч. I; *Чартолиани М. И.* Из истории материальной культуры грузинского народа. Тбилиси: Изд-во АН СССР, 1961 (на груз. яз.); *Чиковани Т. А.* Из истории народного жилища Закавказья. Тбилиси: Мецниереба, 1964 (на груз. яз.); *Кахиани К. Е.* Крестьянская усадьба в Имерети. Тбилиси: Мецниереба, 1964 (на груз. яз.); *Итонишвили В. Дж.* Жилые постройки в Хеви в прошлом и настоящем. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1967 (на груз. яз.); *Гегечкори Г. Г.* Горные жилища и комплексы Чечено-Ингушетии: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1970 (на груз. яз.); *Калдани А. М.* Жилые комплексы Сванети: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1974 (на груз. яз.), и др.

²² *Гегешидзе М. К.* Грузинский народный транспорт. Тбилиси: Изд-во АН СССР, 1956 (на груз. яз.); *Бедукидзе С. Я.* Водяные мельницы Арагского ущелья. Тбилиси: Изд-во АН СССР, 1960 (на груз. яз.); *Чолокашвили К. К.* К истории оружейного производства в Грузии: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1967 (на груз. яз.); *Бедукидзе Л. А.* Народная мебель в горных районах Восточной Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1973 (на груз. яз.); *Безарашвили Ц. И.* Женская одежда в горных районах Восточной Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1974 (на груз. яз.); *Санидзе И. Н.* Аджарский женский костюм: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1974 (на груз. яз.) и т. д.

²³ *Рехвиашвили Н. Б.* Народная металлургия Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1964 (на груз. яз.); *Бочоршвили Л. И.* Грузинская керамика. Тбилиси: Изд-во АН СССР, 1949 (на груз. яз.); *Гасиашвили Г. С.* Народное деревообделочное ремесло в Восточной Грузии. Тбилиси: Изд-во АН СССР, 1962 (на груз. яз.); *Квирквелия Г. Г.* Из истории материальной культуры Ирана. Тбилиси: Мецниереба, 1968 (на груз. яз.); *Квирквелия Г. Г.* Шрошская керамика. Тбилиси: Мецниереба, 1980 (на груз. яз.); *Зандишвили М. З.* Грузинская народная керамика. Тбилиси: Мецниереба, 1982 (на груз. яз.); *Раулашвили Ц. Г.* Народные способы вязания и плетения в Кахети: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1973 (на груз. яз.); *Тодуа Р. Д.* Вопросы народной технологии огарочного производства Западной Грузии. — Материалы по этнографии Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1981, т. XXI (на груз. яз.), и др.

²⁴ *Джигия Н. Л.* Культура питания грузинских горцев: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1977 (на груз. яз.).

²⁵ *Молодики Л. Н.* Из истории материальной культуры грузинского народа (на основе маслоседелых орудий). Тбилиси: Изд-во АН СССР, 1963 (на груз. яз.).

Разработке этнографических проблем, как и вообще историко-этнографическому изучению Грузии, в значительной степени способствовали этнографические исследования, в которых участвовали и этнографы²⁶. Итоги научных изысканий по проблемам материальной культуры и повседневного быта найдут свое отражение в Историко-этнографическом атласе Грузии — фундаментальном обобщающем труде, работа над которым ведется более 20 лет. Отдельные выпуски атласа будут посвящены земледелию, скотоводству, поселениям, жилищу, хозяйственным промыслам, одежде, транспорту. Часть работ по тематике атласа уже опубликована (в частности, в журнале «Мацне» — «Вестник»), а в 1981 г. вышел из печати сборник, целиком основанный на материалах атласа²⁷.

Социальные отношения — проблема, разработка которой позволяла привлечение и критическое осмысления полевых этнографических сведений, исторических источников и литературы не только по Грузии, но и по Кавказу в целом.

Систематически исследовались семья и семейный быт, система родства, патронимия, формы брака, территориальная община, система народного управления, обычное право.

При изучении вопросов родственных отношений особое внимание уделялось категориям кровного и искусственного родства, генеалогиям. По мнению ученых, существующие в грузино-кавказской действительности родственные объединения суть патронимии, возникшие с распадом большой семьи²⁸.

В грузинской советской этнографии были заложены основы изучения исторического обычного права. Много внимания в трудах этнографов уделяется характеристике систем народного управления²⁹, что имеет немаловажное значение для исследования истории грузинского права.

В различных регионах Грузии и Кавказа изучались брачные нормы, свадебные обычаи и обряды, анализировались сложные взаимоотношения в семье, выявлялись различные пережитки, связанные со свадебным ритуалом³⁰.

Большая работа проведена грузинскими этнографами по исследованию старой и новой форм семьи, выявлению их характерных особенностей. Изучение неразделенных семей (поколенный состав, численность, система управления, организация труда и форма владения имуществом) позволяет утверждать, что эти семьи (семейные общины) бытовали

²⁶ Итонишвили В. Дж. Топонимика Хеви. Тбилиси: Мечниереба, 1971* (на груз. яз.); Робакидзе М. К. Сельскохозяйственная топонимика Картли. — Тр. Тбилисс. гос. ун-та, 1971, т. 37; Топишвили Р. Топонимы как источник для изучения миграции горцев Восточной Грузии. — Мацне (сер. истории, археологии, этнографии и истории искусства), 1971, № 2 (на груз. яз.).

²⁷ Историко-этнографический атлас Грузии (материалы). Тбилиси: Мечниереба, 1981 (на груз. яз.).

²⁸ Харадзе Р. Л. Хевсурское «дзир» и «гвари». — Мимомхилвели, 1949, т. I (на груз. яз.); Робакидзе А. И. Патронимия у народов Кавказа. М.: Наука, 1973 [Доклад IX Международному конгрессу антропологических и этнографических наук]; Джавадзе Н. В. Типологическая характеристика осетинской системы родства. — КЭС. Тбилиси: Мечниереба, 1979, т. V, ч. 2.

²⁹ Харадзе Р. Л. Хевсурское «рджули» (обычное право). — Анналы. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1947, т. I (на груз. яз.); *см. же*. Система народного управления в Сванетии. — Материалы по этнографии Грузии. Тбилиси, 1953, т. VI (на груз. яз.); Чикова Г. Д. Осетинский ныхас. — КЭС. Тбилиси: Мечниереба, 1979, т. V, ч. 2.

³⁰ Харадзе Р. Л. Пережитки большой семьи у сванов. Тбилиси: Изд-во Груз. фил. АН ГССР, 1939 (на груз. яз.); Чкония И. В. Брачный институт в Мтиулет. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1955 (на груз. яз.); Итонишвили В. Дж. Из истории семейных отношений грузин-горцев. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1960 (на груз. яз.); Бека М. А. Старые и новые семейные традиции в Аджарии. Батуми: Сабчота Аджара, 1974 (на груз. яз.); Мачабели Н. К. Брачный институт в Картли. Тбилиси: Мечниереба, 1978 (на груз. яз.); Ивелишвили Т. В. Формы брака и брачные обряды в Самцхе-Джавахети. — На соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1980 (на груз. яз.); Гоцишвили Г. Ш. Брачный институт ферейданских грузин. Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1981 (на груз. яз.); Меликишвили Л. Ш. Некоторые στοιχεία осетинского свадебного ритуала. — КЭС. Тбилиси: Мечниереба, 1979, т. V, ч. 2.

вплоть до конца XIX в.³¹ Правда, некоторые ученые не согласились с этим выводом³².

Тщательно изучалась грузинскими этнографами и структура территориальной общины, интерес к которой отмечается уже во второй половине XIX в. (Н. Хизанашвили, Ал. Хаханашвили). Особое внимание было уделено общественному строю горцев Восточной Грузии. Ранее в грузинской этнографии имела место тенденция архаизации общественного строя горцев. В итоге проведенных исследований сформулированы две точки зрения. Одни ученые считают, что горцы Восточной Грузии в прошлом находились на стадии разложения первобытнообщинного строя и становления раннеклассового (раннерабовладельческого) общества³³. Другие утверждают, что возникшая к этому времени вследствие разложения первобытнообщинного строя социальная дифференциация в горах Восточной Грузии и Кавказа соответствует раннефеодальному строю и горскому феодализму³⁴. Позднее эти выводы были учтены, и взамен наименования горских обществ «раннерабовладельческими» или «раннефеодальными» было предложено ввести в научный оборот дефиницию: «раннеклассовые общества типа общинной демократии»³⁵.

Духовной культуре грузинского народа также посвящены многочисленные работы грузинских этнографов. Большое внимание уделено в частности, народному орнаменту, который рассматривается как этнографический источник. Так, изучение орнамента способствовало опровержению ошибочных взглядов об этнической принадлежности хевсуров. Значительный вклад был внесен в исследование природы астраханских божеств и связанных с ними представлений³⁷. Опубликован календарь сванских народных праздников³⁸ и очерк, отражающий религиозные представления иорских пшавов³⁹. На основе сванских материалов изучено грузинское обрядовое графическое искусство. В нем выделено два различных стиля (реалистический и абстрактный). Вывод о магическом содержании абстрактной живописи имеет важное значение для понимания генезиса символических геометрических изображений в первобытном искусстве⁴⁰.

Систематически изучались древнейшие религиозные верования, представления грузин, народные празднества и ритуалы, связанные с общественным и хозяйственным бытом, народная медицина⁴¹.

³¹ Харадзе Р. Л. Грузинская семейная община. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1961, т. I; 1961, т. II; Итонишвили В. Дж. Семейный быт горцев Центрального Кавказа. Тбилиси: Мецниереба, 1969, т. I (на груз. яз.); Пашаева Л. Б. Семья и семейный быт пашских урюмов: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1972, и др.

³² Чкония И. В. О природе большой семьи. Тбилиси, 1964 [Доклад на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук].

³³ Бардавелидзе В. В. Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое искусство грузинских племен. Тбилиси: Мецниереба, 1957.

³⁴ Ачабадзе З. В., Робакидзе А. И. К вопросу о природе кавказского горского феодализма.— Иберийско-кавказское языкознание. Тбилиси: Мецниереба, 1973, т. I (на груз. яз.).

³⁵ Меликишвили Г. А. К характеристике социально-экономического строя грузинских горцев.— Изв. АН ГССР (сер. истории, археологии, этнографии и истории искусства). Тбилиси, 1979, № 1 (на груз. яз.).

³⁶ Бардавелидзе В. В., Читая Г. С. Указ. раб.

³⁷ Бардавелидзе В. В. Из истории древнейших верований грузин (Божество Бар-Барбар). Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1941 (на груз. яз.).

³⁸ Бардавелидзе В. В. Календарь сванских народных праздников. I.— Новое науч. цикл. Тбилиси: Изд-во Груз. фил. АН СССР, 1939 (на груз. яз.).

³⁹ Бардавелидзе В. В. У иорских пшавов.— Изв. ИЯИМК. Тбилиси: Изд-во ИА ГССР, 1941, т. II (на груз. яз.).

⁴⁰ Бардавелидзе В. В. Образцы грузинского (сванского) обрядового графического искусства. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1953 (на груз. яз.).

⁴¹ Очаури Т. А. Из истории древнейших верований грузин. Тбилиси: Изд-во ИА ГССР, 1954 (на груз. яз.); *ее же*. Мифологические предания у горцев Восточной Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1967 (на груз. яз.); Сохадзе А. Из истории древнейших верований грузин и борьба с их пережитками. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1964 (на груз. яз.); Рухадзе Дж. А. Грузинский народный праздник. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1966 (на груз. яз.); Топурия Н. С. Религиозные обряды, связанные с виноградарством и виноделием в Кахети.— Материалы по этнографии Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1981, т. 21 (на груз. яз.); Сургуладзе И. К. Арханческие элементы в грузинских народных праздниках.— Там же; Канделаки М. Б. Вопросы социально-религиозного

Народные виды спорта и игры издавна занимают особое место в быту грузинского народа. Они справедливо рассматриваются в монографических работах как важный компонент в системе воспитания детей⁴².

Музыкальный фольклор — проблема, ставшая традиционной для грузинской этнографии. Немалая заслуга в этом акад. И. А. Джавахишвили, который своим фундаментальным исследованием по истории грузинской музыки⁴³ предопределил все последующее развитие музыкальной этнографии в республике. Музыкальным фольклором занимаются такие ученые, как Д. И. Аракишвили, Г. З. Чхиквадзе, Т. С. Мамадзе, а сегодня их эстафету приняли представители молодого поколения — М. И. Шилакадзе, Н. М. Майсурадзе, С. Г. Чантуришвили.

Следует также отметить работы, в которых затронуты практически все основные проблемы этнографии, — это монографические описания хозяйства, быта и культуры жителей одного села (или ущелья)⁴⁴.

В итоговой статье, посвященной работе грузинских этнографов за 50 лет, необходимо выделить и важнейшую актуальную проблему — исследование современности, которой в грузинской этнографии уделяется большое внимание. Этнографы Грузии были одними из инициаторов изучения быта и культуры рабочих и интеллигенции (исследования, проведенные в городах Чиатура, Ткибули, Кутаиси, Тбилиси)⁴⁵. Специальные работы посвящены анализу особенностей современного семейного и общественного быта трудящихся колхозов и совхозов республики⁴⁶.

С задачами изучения нового быта и культуры, равно как и традиционной тематики, органически связана деятельность, направленная на борьбу с вредными обычаями и обрядами. Научный центр по проблемам социальных и культурных традиций при Академии наук Грузинской ССР ежегодно публикует серию очерков под рубрикой «Традиция и современность»⁴⁷. Этой теме посвящены и специальные работы⁴⁸, и методическое пособие⁴⁹.

структуры горцев Грузии. — Изв. АН ГССР (серия истории, археологии, этнографии и истории искусства), 1981, № 3 (на груз. яз.); *Георгадзе Д. Г.* Культ мертвых в горной Восточной Грузии: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1977 (на груз. яз.); *Миндадзе Н. Р.* Народная медицина горцев Восточной Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1981 (на груз. яз.); *Эриашвили Ж. Г.* Древнейшие социально-религиозные институты в горных районах Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1982 (на груз. яз.), и др.

⁴² *Робакидзе А. И.* «Цхенбурти» (Опыт восстановления грузинской конно-спортивной игры). — Вопросы этнографии Кавказа. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1952; *Гогоберидзе Н. С.* Народные способы воспитания в горных областях Восточной Грузии: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1975 (на груз. яз.); *Элашвили В. И.* Традиции грузинской народной физической культуры и современность. Тбилиси: Мецниереба, 1973.

⁴³ *Джавахишвили И. А.* Основные вопросы истории грузинской музыки. Тбилиси, 1938 (на груз. яз.).

⁴⁴ *Эдили З. Е.* Саингило. Тбилиси, 1947 (на груз. яз.); *Маргошвили Л. Ю.* Кисти Панкиси: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1969 (на груз. яз.); *Гоголадзе В. С.* Село Авневи в прошлом и настоящем: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1970 (на груз. яз.).

⁴⁵ *Робакидзе А. И.* Некоторые стороны быта рабочих Чиатурской марганцевой промышленности. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1953; *Джавахишвили Г. Н.* Быт и культура шахтеров Ткибули. Тбилиси, 1971 (на груз. яз.); *его же.* Быт и культура горняков Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1980 и т. д.

⁴⁶ *Рухадзе Дж. А., Лекиашвили А. С., Чкония И. В.* Село Акура. Тбилиси: Мецниереба, 1964 (на груз. яз.); *Каландаришвили Л. Н.* Некоторые вопросы быта и культуры колхозников Кинтришского ущелья: Дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Тбилиси: ИИАЭ, 1974 (на груз. яз.), и др.

⁴⁷ *Чиковани В. М.* Борьба против вредных традиций (по материалам грузинской периодики второй половины XIX в.). Тбилиси: Мецниереба, 1979 (на груз. яз.); *Пруидзе Л. А.* Быт и традиций. Тбилиси: Мецниереба, 1981 (на груз. яз.), и др.

⁴⁸ См., например, *Гугутишвили М.* Новые традиции в Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1976 (на груз. яз.).

⁴⁹ *Апакидзе А., Очиаури Т., Сохадзе Л., Пруидзе Л., Итонишвили В.* Методическое пособие для факультетов традиции и быта народных университетов культуры. Тбилиси: Ганатлеба, 1978 (на груз. яз.).

Этнографические работы грузинских этнографов публикуются во многих периодических изданиях. Назовем некоторые из них: «Мимомх вели» (1926, 1949—1953 гг.); «Труды Музея Грузии», т. I—VI (1926—1933); «Вестник Государственного музея Грузии» (с 1922 г.); «Труды Тбилисского государственного университета» (с 1936 г.); «Вестник ИАИМК», т. 1—14 (1937—1944 гг.); «Вестник АН Грузинской ССР» (с 1940 г.); «Труды Института истории им. И. А. Джавахишвили» (с 1935 г.); «Анналы» (с 1947 г.); «Материалы по этнографии Грузии» (с 1958 г., издан 21 том); «Кавказский этнографический сборник» (с 1964 г., издано 5 томов, последний — в трех выпусках); «Известия Абхазского института языка, литературы и истории АН ГССР», «Труды Батумского научно-исследовательского института АН ГССР», «Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского института АН ГССР», «Дзеглис мегобари» и т. д. Этнографические статьи и заметки печатаются также в республиканских газетах и журналах («Мнатоби», «Цикари», «Гантиади», «Сабчота хеловнеба», «Скола да цховреба», «Коништи», «Литературили сакартвело»). Этнографии посвящены специальные статьи в Грузинской советской энциклопедии. Труды грузинских этнографов публикуются во многих союзных и зарубежных периодических изданиях.

Этнографическая работа особенно активизировалась после принятия ЦК Компартии Грузии постановления «О мерах усиления борьбы против вредных традиций и обычаев»⁵⁰. Это постановление придает определенную направленность изучению форм социальных отношений и духовной культуры. В постановлении указано, что научные учреждения соответствующего профиля должны «комплексно, на научной основе изучать генезис и факторы устойчивости древнейших традиций грузинского народа»⁵¹. В успешном решении этой задачи большая роль отводится этнографической науке, поскольку традиции, обычаи и обряды являются основным предметом этнографии. Постановление равное значение придает исследованию как генезиса древних традиций, так и факторов устойчивости и трансформации в современном быту, а также поиску путей становления новых традиций. В свете постановления были выделены первоочередные темы, подлежащие серьезной разработке. К ним относятся как древние формы социальных отношений, духовной культуры, так и особенности нового быта. Была усилена работа по изучению генезиса и истории развития религиозных верований, праздников, погребальных обрядов и др. Вновь уточняются содержания понятий «пержитки» и «традиции». Расширение сферы исследований взаимоотношений народов Грузии и Кавказа в целом обусловило дальнейшее углубление изучения таких вопросов, как формы брака, свадебные обычаи и обряды, формы семьи и семейный быт, обычное право, традиции гостеприимства, культура застолья, формы совместного труда, взаимопомощь, родственные и соседские связи.

Развитию грузинской этнографии в немалой степени способствуют как широкие творческие связи ученых внутри республики, так и их сотрудничество с этнографами Москвы и Ленинграда. Так, в республике в последние годы успешно разрабатываются проблемы грузино-абхазских и грузино-осетинских культурных связей. Примером плодотворного сотрудничества грузинских ученых и этнографов Москвы и Ленинграда может служить издание второго тома труда «Народы Кавказа» (М.: Наука, 1962). В настоящее время идет интенсивная работа по подготовке капитального обобщающего труда — «Кавказского историко-этнографического атласа», в которой активное участие принимают и грузинские этнографы. Практикуются и другие формы научного сотрудничества: разработка различных проблем этнографического кавказоведения в виде монографий⁵², статей, докладов. Одной из форм творческого общения

⁵⁰ Газ. «Заря Востока», 25 ноября 1975 г.

⁵¹ Там же.

⁵² Волкова Н. Г., Джавахишвили Г. Н. Бытовая культура Грузии XIX—XX веков: традиции и инновации. М.: Наука, 1982.

ляется участие грузинских этнографов во всесоюзных этнографических сессиях, международных симпозиумах и международных конгрессах этнолого-исторических и этнографических наук.

60 лет для развития науки — сравнительно небольшой срок. Однако прошедшие десятилетия сделано немало. Появились многочисленные центры этнографов, в Тбилисском государственном университете создана кафедра этнографии, организованы новые этнографические музеи, в том числе Музей народного зодчества и быта Грузии и Музей дружбы народов. Достаточно высок профессиональный уровень исследований грузинских этнографов, успешно разрабатывающих многие проблемы современной этнографической науки.

В перспективном плане работ предусмотрена подготовка и издание новых трудов, как учебник по этнографии Грузии, многотомные «Очерки по этнографии Грузии». Планируется обработка и публикация полевого этнографических сведений и ряда письменных источников, а также подготовка очерков этнографии г. Тбилиси для трехтомного издания о столице республики и др.

Постановление ЦК КПСС «О 60 годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик»⁵³, положения и выводы, содержащиеся в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова на пленарном заседании, посвященном 60-летию Союза ССР⁵⁴, ориентируют советских ученых на дальнейшую активизацию исследовательской работы. Поэтому этнографам страны, в том числе этнографам Грузии, необходимо определить наиболее крупные, общественно значимые проблемы, углубленная разработка которых будет способствовать решению грандиозных задач коммунистического строительства в нашей стране.

⁵³ Правда, 21 февраля 1982 г.

⁵⁴ Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР. — Правда, 22 декабря 1982 г.

Н. Г. Волкова

АРАБЫ НА КАВКАЗЕ

В 1976 г. во время экспедиционных работ в Азербайджане мне неоднократно приходилось слышать от старожилы рассказы об арабах (араблы), местных жителях, в недавнем прошлом кочевниках¹. Арабы на Кавказе в XX в.? Откровенно говоря, этому трудно было поверить, и все казалось вымыслом, фантазией, с чем иногда сталкивается этнограф в своей полевой практике. Тем более, что такого рода факты противоречили довольно распространенному в кавказоведении взгляду на отсутствие арабского населения на Кавказе после XIII в., когда закончился процесс его ассимиляции. «Как известно, на Кавказе, — писал А. Г. Туманский, — арабского населения нет и живая арабская культура раздается ни в одном из населенных мест Кавказа»². Такая же точка зрения высказывалась и В. В. Бартольдом. «О том, как и когда арабское население было вытеснено тюркскими пришельцами, — указывал он, — мы не имеем никаких сведений. Этот процесс, очевидно, связан с постепенной тюркизацией Азербайджана и остальных северо-западных провинций Персии со времени сельджукской династии...»³. Только Н. Генко отрицал столь раннюю ассимиляцию арабов на Кавказе, фиксируя в Дагестане ясные воспоминания о живой арабской речи,

¹ Полевые записи автора 1976 г., л. 83, 104, 105 (Архив Ин-та этнографии АН УССР).

² Туманский А. Г. Арабский язык и кавказоведение. Публичная лекция на Тифлиских высших курсах по кавказоведению, читанная 6 ноября 1910 г. Тифлис, 1911, с. 28.

³ Бартольд В. В. Дербент. — Соч. Т. III. М.: Наука, 1965, с. 421.

звучавшей в XIX в. в Дарваге, в горном селе к западу от Дербенда. Но это мнение не получило признания в кавказоведческой литературе. Между тем рассказы наших азербайджанских информаторов об арабах оказались не столь далеки от действительности. Они нашли убедительное подкрепление в свидетельствах некоторых письменных источников с которыми пришлось мне работать в дальнейшем, подтвердив тем самым правоту А. Н. Генко.

Впервые арабы появились на Кавказе в 40-е годы VII в. Захватив Двин, они в 653/4 г. взяли города Берда'а и Бейлакан в Арране⁵ и Ленджер в Хазарии. В 692/3 г. начался поход арабов в Кавказскую Албанию⁶, а через некоторое время они заняли ал-Баб (Дербенд), который, однако, не смогли удержать. В дальнейшем ал-Баб неоднократно захватывался арабами, каждый раз становясь важным опорным пунктом в их борьбе с хазарами. Отсюда арабские отряды направлялись в различные районы Кавказа, в том числе в горный Дагестан, и доходили до низовьев Волги⁷.

В период длительных военных действий арабов на Кавказе в некоторых районах края размещались арабские гарнизоны и строились военные укрепления. По свидетельству арабского автора IX в. ал-Балазури (Балазори, Баладзори), при халифе Хашиме (724—743 гг.) полководец Масламой (брат халифа) был захвачен хазарский город ал-Баб, жители которого бежали. Заняв город, Маслама поселил в нем 24 тыс. сирийских воинов⁸. Об этом же эпизоде сообщает другой арабский автор ат-Табари (X в.). Арабский полководец Маслама, пишет он, захватив ал-Баб, разделил его на четыре части. В каждой из них были поселены выходцы из разных областей халифата: из Дамаска, Куфы (город в Ираке), Джезирах (т. е. Джазир — Верхняя Месопотамия), из Гемзы⁹. «Части сии, — пишет ат-Табари, — до сих пор (т. е. в X в. — Н.) еще сохранили прежние свои названия»¹⁰. О поселении в ал-Бабе 24 тыс. арабов из Мосула, Дамаска, Хомса, Тадмора, Алеппо (Халеб), Джары пишет также Абу Хамид ал-Гарнати, посетивший Дербенд в промежутке между 1130—1150 гг.¹¹

Сведения ал-Балазури, ат-Табари и ал-Гарнати с некоторыми отклонениями повторяет дагестанская историческая хроника «Дербенд-наме», создание которой А. Казембек и В. В. Бартольд относили к концу XV—XVII в.¹² Маслама, пишет автор хроники Мухаммад Аваби Акташи, разделил Дербенд на семь кварталов, в которых обосновались арабы — переселенцы из Хамаса (т. е. Хомса), Джазайра, Филистия (Палестина), Димишка (Дамаска), Мосула и Кайзара. Для хазар, живших в ал-Бабе, был отведен особый квартал Хазар¹³. Несколько полнее эти же факты

⁴ Генко А. Н. Арабский язык и кавказоведение. — Тр. Ин-та востоковедения. XXXVI. М. — Л., 1941, с. 85.

⁵ Часть современного Азербайджана между Курой и Араксом.

⁶ Территория к северу от р. Куры, включавшая земли Северного Азербайджана и Южного Дагестана. Некоторые исследователи относят к Албании районы Дагестана к северу от Дербенда.

⁷ Артамонов М. И. История хазар. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962, с. 202. Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда X—XI веков. М.: Изд-во восточной литературы, 1963, с. 39.

⁸ Из сочинения Баладзори. Книга завоевания стран/Текст и перевод с арабского Жузе П. К. Баку, 1927, с. 27. В. Ф. Минорский, переводя эту часть труда ал-Балазури, пишет о 24 тыс. сирийских воинов, поселившихся в ал-Бабе, четыре квартала которых назывались Дамаск, Химс, Куфа и ал-Джазира (Минорский В. Ф. Указ. соч., с. 39).

⁹ Так в переводе Б. А. Дорна. Вероятнее всего, Гемзерн — это Хомс — город в Ираке.

¹⁰ Дорн Б. А. Известия о хазарах восточного историка Табари. — Журнал Министерства народного просвещения. Август месяц. СПб., 1844, с. 85.

¹¹ Минорский В. Ф. Указ. раб., с. 124. Видимо, в трудах ал-Балазури, ат-Табари и ал-Гарнати речь идет об одном и том же событии.

¹² [Kazem-Beg A.]. Derbend-Nameh. Mémoire de l'Académie impériale des sciences. T. VI. SPb., 1861, p. 571, 579; Бартольд В. В. К вопросу о происхождении Дербенда. — Соч. Т. VIII. М.: Наука, 1973, с. 474.

¹³ Тарихи Дербенд-наме/Под ред. Алиханова-Аварского М. Тифлис, 1898, с. 79.

злагаются в новом переводе Дербенд-наме¹⁴. В 733 г. Маслама с 24 тыс. юннов из Джазиры Шама (т. е. Сирии) пришел в Дербенд, завоевал Дагестан и поселил в нем много народу. «После этого пришел Аму Мусли-м сын Абд ар-Рахмана¹⁵... Затем он благоустроил город Дербент, изделил его на семь махалла (кварталов): Артун¹⁶ и построил для жителей его мечеть, называемую мечеть Артун; Филистин и построил для них мечеть, называемую Филистин; Димишк и построил для них мечеть, называемую Димишк (Дамаск); Хумс и построил для них мечеть, называемую Хумс; Кайсар и построил для них мечеть, называемую Мосул»¹⁷.

Арабские источники упоминают также другие области расселения арабов в пределах Восточного Кавказа. Несколько тысяч их были поселены недалеко от Дербенда в специально возведенных укреплениях Камах, Мухаммадийа и Баб-Вак. Об этом факте сообщает ал-Йакуби. Халиф Джафар ал-Мансур (754—775), узнав о поражении арабов в Хазари, собрал множество воинов в разных областях, присоединил к ним разбросанных и строителей (так в тексте перевода источника. — Н. В.) и направил всех против хазар. В Хазарии по приказу халифа в 20 км от Дербенда были построены укрепления Камах, ал-Мухаммадийа, Баб-Вак¹⁸ и некоторые другие, в которых поселились арабские воины¹⁹. В конце VIII в. остатки названных укреплений еще сохранились в Северной Табасарани около селений Камах, Гамейди и Дарваг, занимая горный проход на пути из Ширвана и Южного Дагестана в его северные районы²⁰.

Сведения о заселении арабами этих мест мы находим и в «Дербенд-наме». Так, Дарваг, разрушенный во время похода полководца ал-Джарраха в Хазарию в 721/2 г., в 763/4 г. был восстановлен арабами, укреплен и в нем поселились выходцы из Дамаска²¹. Аналогичные факты сообщаются и в других списках «Дербенд-наме». Например, халифом Абу Джафаром ал-Мансуром на Кавказ было послано 7 тыс. чел. из Дамаска, Джазиры и Мосула, 40 тыс. из других округов халифата, 10 тыс. из Хорасана и 12 тыс. из Сирии, которые возвели укрепленные города Хамиди, Дзилъ (ср. название селений в Северной Табасарани Зиль, Хамейди) и Магре (ср. название дагестанского с. Мегри). В Хамиди обосновались выходцы из Хемса (Хомс), в Дарваге — из Дамаска, в Ерси — из Ардуна. В этих же укреплениях поселялись воины — выходцы из Мосула. Арабский гарнизон располагался также в Магре²².

Этот же эпизод Ю. Клапрот переводит следующим образом: «Говорят, что Табасаран был населен колониями разных национальностей из Ирака, Азербайджана, Аравии, Хамса, Дамаска, Джебзира, Мосула и Палестины»²³. Как видим, в качестве исходных районов миграций арабов в Дагестан в «Дербенд-наме» указаны страны, области и города с преимущественным арабским населением. Исключение в данном случае составляют Азербайджан и Хорасан (область в Иране). Об арабских переселенцах в Дагестане между Хайдаком (Кайтагом) и ал-Бабом упоминает также ал-Масуди. Это мусульмане арабы, которые не говорят ни

¹⁴ Саидов М.-С., Шихсаидов А. Р. Дербенд-наме (к вопросу об изучении). — Восточные источники по истории Дагестана. Махачкала, 1980, с. 36—37.

¹⁵ Вероятнее всего, и здесь речь идет о полководце Масламе. Известно, что текст Дербенд-наме благодаря многочисленным вставкам переводчиков, дополнениям переписчиков подвергся немалым изменениям. Искажены были, в частности, некоторые имена. Так, например, Маслама ибн Абд ал-Малик стал Абу-Муслимом (см. Минорский В. Ф. Указ. раб., с. 22).

¹⁶ В других списках Дербенд-наме «для племена (таифа) Ардун» (см. примеч. переводчиков М.-С. Саидова и А. Р. Шихсандова).

¹⁷ Саидов М.-С., Шихсаидов А. Р. Указ. раб., с. 36—37.

¹⁸ А. Н. Генко сопоставляет Баб-Вак и ал-Мухаммадийа с названиями сел в Северной Табасарани Дарваг и Хамейди (через промежуточную форму Хумайдийа). См. Генко А. Н. Указ. раб., с. 85, 87.

¹⁹ История. Из сочинения Якуби/Текст и перевод с арабского Жузе П. К. Баку, 1927, с. 9.

²⁰ Симонович Ф. Ф. Описание Табасарина. — 1796 г. — В кн.: История, география и этнография Дагестана. XVIII—XIX вв. М.: Изд-во восточн. лит., 1957, с. 197.

²¹ [Kazem-Beg A.]. Указ. раб., с. 571, 579.

²² Тарихи Дербенд-наме/Под ред. Алиханова-Аварского М., с. 118.

²³ Там же, с. 113.

на каком языке, кроме арабского. «Они живут в лесах, зарослях, долинах и вдоль больших рек, в селениях, в которых они поселились в то время, когда эти места были завоеваны теми, кто устремился сюда из арабских пустынь». Далее ал-Масуди добавляет, что арабы, живущие в границе с царством Хайдак, защищены от него зарослями и реками; (них до ал-Баба один фарсах (около 6 км) «и жители ал-Баба приходят им на помощь»²⁴. Возможно, именно этих поселенцев имеют в виду арабские источники, когда пишут, что во времена халифа Абу Джафара ал-Мансура правитель ал-Баба Язид ибн-Усайд ас-Сулами (763 г.) послал на окраинах крепости и вокруг нее 7 тыс. мусульман с семьями в Сирии, Месопотамии и Мосульского округа. Кроме того, Язид приказал построить «крепости в Рукеле, Кала-Суваре, в Митаги, в Мугатыре, Мараге и в Бильгади... так что у них и теперь известны остатки крепостей»²⁵.

Одно из наиболее интересных сообщений об арабских поселениях в Дагестане содержится в «Истории Маййафарикина». Автор этого труда Ибн ал-Азрак в 1153 г. поступил на службу к грузинскому царю Дмтрию и, находясь в царской свите, в течение нескольких лет посетил различные области Кавказа. В 1154 г. Ибн ал-Азрак недалеко от Дербенда встретил арабов, живших в двух горных селениях на расстоянии 10 фарсахов (около 60 км) от города. На его вопрос, откуда они появились в этих местах, арабы рассказали, что их предки происходили из племен Умайя, Кинда и др., переселились сюда около 500 лет тому назад, «но мы все [теперь] перемешались»²⁶.

Таким образом, помимо Дербенда в Дагестане существовало еще несколько значительных центров поселения арабов, располагавшихся на различных расстояниях к северу и к югу от города. Это Хамейди, Даваг, Камах, Зиль, Ерсин, Рукель, Митаги, Мугатырь, Марага, Бильгади.

Кроме Дагестана, арабские историки называют и другие районы Восточного Закавказья, где встречалось арабское население. Это город Берда'а — резиденция большинства арабских наместников в Закавказье, а также некоторые другие области в Азербайджане. Так, наместником халифа Язидом ибн-Усайдом ас-Сулами в Ширване были построены города Большой и Малый Арджиль, в которых он поселил выходцев из Палестины²⁷. Арабский полководец Мерван (730-е годы) расселил арабов в Мараге (Азербайджан), о которой Алкадари пишет как об одном из центров оседания арабских воинов²⁸. Сведения о поселениях в Азербайджане выходцев из Басры приводит в своем труде ал-Якуби. У него же мы находим еще одно интересное сообщение. В правление халифа Харуна ар-Рашида (786—809 гг.) в Закавказье были переселены рабниты²⁹, составившие в то время в восточных районах края основную долю арабского населения³¹. В Азербайджан направлялся и другой поток арабских переселенцев. «Когда арабы, — пишет ал-Балазури, — заняли Азербайджан, то многие племена из... Басры и Куфы, и Сирии устремились туда, причем каждое из них захватило то, что могло захватить, некоторые же приобрели за деньги земли у местных жителей. Кроме того, им были уступлены для охраны деревни, жители которых, тем же образом, сделались батраками, работавшими на них»³².

Сведения о переселении арабов на Кавказ в период арабских завоеваний встречаются также в исторических трудах XIX в. Ю. Гагемейстер основываясь на более ранних источниках, приводит некоторые факты

²⁴ Минорский В. Ф. Указ. раб., с. 203.

²⁵ [Казет-Бег А.]. Указ. раб., с. 492, 577; Алкадари Г. Асари Дагестан. — Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа. В. 46. Махач-Кала, 1929, с. 1.

²⁶ Минорский В. Ф. Указ. раб., с. 223.

²⁷ Из сочинения Баладзори..., с. 20; Бартольд В. В. Соч. Т. III. М.: Наука, 1963, с. 372.

²⁸ Из сочинения Баладзори..., с. 27; Алкадари Г. Указ. раб., с. 33.

²⁹ История. Из сочинения Якуби, с. 8.

³⁰ Рабниты — арабское племя рабийа.

³¹ История. Из сочинения Якуби, с. 9, 10.

³² Из сочинения Баладзори..., с. 27.

такого рода. «В 755 г.,— пишет он,— 7000 семейств из Сирии и Аравии переведено было в крепости, построенные против хазар, на всем пути от устьев Терека» в направлении к Кубе и Шемахе³³. Подобные сведения сообщает также Н. Зейдлиц. «По свидетельству местных жителей (Азербайджана.— Н. В.),— отмечает он,— население всех этих кочевьев и деревень (с названием *араб.*— Н. В.) происходит от аравитян, завоевавших Закавказский край в VII столетии по Р. Х.»³⁴.

Приведенные сведения в какой-то мере раскрывают картину появления арабского населения в пределах Восточного Кавказа. С ослаблением на Кавказе влияния Арабского халифата его военные гарнизоны были отозваны. Но часть арабов осталась. Это подтверждается, в частности, сведениями ал-Масуди (X в.) об арабах — жителях прибрежного и предгорного Дагестана и Ибн ал-Азрака (XII в.) об арабских селлах в 60 км от Дербенда. Предки этих арабов, как отмечают оба автора, обосновались здесь еще в эпоху арабских завоеваний.

Некоторые материалы об азербайджанских арабах содержат труды экономического обследования Закавказья, проведенного в 1880-х годах. «Арабы,— отмечает один из участников обследования Н. А. Абелов,— состоят из немногочисленного остатка тех аравитян, которые с мечом в руках распространили повсюду ислам; их часто смешивают с татарами (азербайджанцами.— Н. В.), но на их арабское происхождение указывает как сохранившийся, хотя и довольно плохо, арабский язык, равно свойственное жителям пустыни занятие, а именно верблюдоводство»³⁵.

Однако арабское население Восточного Кавказа составилось не только из переселенцев эпохи арабских завоеваний. Часть его — это группы арабов, мигрировавших в районы Закавказья в позднем средневековье. Об этом упоминает, в частности, Гербер. «Аравитяне,— пишет он,— живущие ныне в сих областях (на территории Ширвана.— Н. В.), происходят от тех, которые прежде всего со скотом своим пришли в Персию³⁶ и там остались»³⁷. В начале XIX в. около 800 фамилий — потомков этих переселенцев — кочевали в Муганской степи³⁸.

В последней четверти XIX в. население двух сел в Азербайджане (в Нухинском уезде Елисаветпольской губ.) — Джунут-2 и Бахкала — считалось сейидами³⁹, по преданию выходцами из арабского племени хурейшитов⁴⁰. Предки этих арабов, рассказывалось в предании, пришли в край несколько сот лет тому назад и получили от местных ханов в пользование ряд селений, жители которых обязаны были платить им подать — десятую часть всех производившихся продуктов⁴¹.

В первой четверти XIX в. с введением в крае законов Российской империи сейиды были отнесены в разряд государственных крестьян, хотя они долгое время считались привилегированным сословием — маафами⁴².

³³ Гагемейстер Ю. А. Новые очерки Закавказья.— Журнал Министерства внутренних дел. Кн. XX. Спб., 1847; с. 184.

³⁴ Зейдлиц Н. Этнографический очерк Бакинской губернии.— Кавказский календарь на 1871 год. Тифлис, 1870, с. 66.

³⁵ Абелов Н. А. Экономический быт государственных крестьян Геокчайского и Шемахинского уездов, Бакинской губернии.— Материалы для экономического быта государственных крестьян Закавказского края (далее — Материалы). Т. VI. Тифлис, 1887, с. 13.

³⁶ В Иране арабы поселились главным образом в VII—IX вв.

³⁷ Известие о находящихся на западной стороне Каспийского моря между Астраханью и рекою Куром народах и землях и о их состоянии в 1728 году.— Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. Т. 17, октябрь. Спб., 1760, с. 307.

³⁸ Klaproth J. Geographisch-historische Beschreibung des östlichen Kaukasus. Weimar, 1814, S. 179, 180.

³⁹ Сейиды вели свое происхождение от «поколения Мухаммеда» и глубоко почитались в народе.

⁴⁰ Конечно, в такого рода материалах нельзя не учитывать возможности составления фиктивных генеалогий, особенно в привилегированных сословиях.

⁴¹ Арасханианц А. Н. Экономический быт государственных крестьян Нухинского уезда, Елисаветпольской губернии.— Материалы. т. VI, с. 83.

⁴² Маафы в Азербайджане при ханском правлении были освобождены от всяких податей и повинностей. Право на маафство приобреталось особыми заслугами, по ходатайству беков или покупалось у самого хана. В данной связи уместно напомнить одно

Сведения о более поздних миграциях арабов на Кавказ содержатся также в исторических преданиях — источнике, несомненно требующем достаточно осторожного использования сообщаемых им фактов и несения их с письменными свидетельствами. Одно из таких преданий приводит А.-К. Бакиханов. Предки Шейх-Моллы Юсифа Мюшкюрского рассказывается в предании, арабы по происхождению, в VII в. х. (т. е. XIV в.) переселились в Карабах. Через некоторое время они ушли в область Мюшкюр в Кубинской провинции Азербайджана, где в XIX потомки этой фамилии жили в с. Шейхляр. Жители этого села считали себя сейидами⁴³. Приведенное историческое предание, свидетельствующее о переселении арабов в некоторые области Кавказа (в данном случае в Карабах) в позднем средневековье, интересно еще и тем, что указывает на передвижение групп кавказских арабов в пределах самого Кавказа (например, из Карабаха в Мюшкюр).

Об арабах в Карабахе сообщают и другие источники. В письме главнокомандующего на Кавказе графа Гудовича, направленном 12 октября 1807 г. Мустафе-хану, владельцу Талышии, упоминаются 60 семей арабов принадлежавшие, как отмечается в письме, самому хану⁴⁴. Из другого документа — письма предшественника Гудовича князя Цицианова тоже Мустафе-хану от 10 января 1806 г. — выясняется происхождение талышской группы арабы (*арапли*). Согласно договоренности кавказской администрации с ханом, последний должен был возвратить всех ушедших в его владение «природных карабахцев». «Природными же я считаю, — писал Цицианов, — всех тех, кои только не ширванцы и жили в Карабаге долго, а потому и народы, называемые кингири и арапли, жившие в Карабаге 80 лет и потом ушедшие во владение ваше, суть без сомнения природные карабагские...»⁴⁵.

Приведенные сведения позволяют предположить, что арабы появились в Карабахе примерно в первой четверти XVIII в. Откуда они пришли — из других районов Кавказа, Ирана или даже более отдаленных стран, неизвестно. Но для нас в данном случае не столь важно выяснение исходных областей миграций арабов, сколько сам факт позднего по времени их переселения. Это многое дает для понимания особенностей этнического развития арабского населения Кавказа, на чем остановлюсь далее.

Таковы некоторые вехи этнической истории кавказских арабов. Судя по нашим источникам, с первого своего появления на Кавказе они поселились компактно и жили довольно изолированно от местного населения. Браки заключались, по всей вероятности, только внутри своей группы. Для понимания особенностей этнического развития арабов Кавказа многое дают сведения упомянутого хрониста Ибн ал-Азрака, описавшего свою встречу с арабами — жителями горных селений Дагестана. «Я увидел человека, — пишет он, — проходившего мимо места, где я стоял, и он говорил по-арабски. Я был удивлен и сказал ему: «Откуда ты молодой человек? Я еще никого не видел в этой стране, говорящего по-арабски». Он ответил: «Я из того селения» — и указал на селение на скале среди гор. Я спросил: «А откуда эта арабская речь?» Он сказал: «И я, и все другие в нашем селении — *арабы*, и мы говорим *по-арабски* (курсив мой. — Н. В.)»⁴⁶. Ибн ал-Азрак беседовал с местными арабами и на следующий день, расспрашивая об их жизни в этой стране. Один из его собеседников, Мухаммад ибн-Амран, сказал: «Это место и стало н

из приведенных выше свидетельств. «Арабы — выходцы... из Басры, Куфы и Сирии, пишет ал-Балазури, — переселившиеся в Азербайджан, приобретали там земельные участки». Кроме того, им давались для охраны селения, жители которых, как отмечал Балазури далее, «таким образом сделались батраками, работавшими на них (*арабов*, Н. В.)» — Из сочинения Баладзори..., с. 27.

⁴³ Бакиханов А.-К. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926, с. 172; Обзорение Российских владений за Кавказом. СПб., 1836, ч. IV, с. 118.

⁴⁴ Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (далее — АКАК). Т. III. Тифлис, 1869, с. 309.

⁴⁵ Там же, т. II, 1868, с. 681.

⁴⁶ Минорский В. Ф. Указ. раб., с. 223.

ей родной». Я спросил: «А как же вы бы не забыли арабского языка?» и ответил: «Мы передаем его друг другу...; каждая женщина обращаясь к своему ребенку по-арабски, и ребенок растет, говоря по-арабски»⁴⁷. Следовательно, в XII в., т. е. спустя 500 лет после переселения на Кавказ, дагестанские арабы сохраняли четкое этническое самосознание и я, и все другие в нашем селении — арабы», а также арабский язык, употреблявшийся ими в повседневном бытовом общении.

Сохранению этих важнейших этнических признаков способствовал ряд обстоятельств, и прежде всего уже упоминавшаяся нами обособленность арабского населения. Это уменьшало вероятность межэтнических контактов кавказских арабов, а следовательно, каких-либо внешних воздействий на их бытовую культуру. Однонациональные браки играли еще более значительную роль в сохранении и воспроизводстве этнических традиций, так как общеизвестна роль женщины-матери в межпоколенной передаче этнической информации, в частности родного языка. В связи с этим еще раз напомним слова Ибн ал-Азрака: «Каждая женщина, — пишет он, — обращается к своему ребенку по-арабски». Без сомнения, на Кавказ переселялись не только мужчины-воины, но и женщины. Вряд ли арабский язык сохранился бы даже во втором поколении, если бы женщины арабы брали жен из местной, кавказской среды, для которых этот язык не был родным. В последующие эпохи немалое значение в неслучайной стабилизации этнических признаков кавказских арабов приобрел и другой фактор — поздние по времени арабские переселения на Кавказ из сопредельных областей. Несомненно, что новые переселенцы были носителями полнокровной арабской этнической традиции, которая, можно думать, и способствовала сохранению этнических особенностей некоторых групп кавказских арабов.

И все же отмеченная выше изоляция арабов на Кавказе была, конечно, относительной. Их жизнь фактически бок о бок с кавказскими народами неизбежно вела к установлению между ними разнообразных контактов, которые постепенно приводили к этнической ассимиляции их местным населением. Об этом говорят, в частности, свидетельства некоторых довольно ранних источников, как бы странно они ни казались в первый взгляд. Например, арабский географ XIII в. Ибн Саид считал, что население горной области Серир (Авария в Дагестане) произошло от смешения арабов с турками⁴⁸. По свидетельству Я. Рейнеггса (XVIII в.), хайдаки (кайтаги), жившие к северу от Дербенда, говорили на староарабском языке, смешанном с ногайско-татарским»⁴⁹. В связи с этим утверждением Рейнеггса стоит напомнить, что ал-Масуди помещал группы арабов рядом с кайтагами.

Мы не располагаем пока известиями о кавказских арабах после XII в. Упоминания о них вновь появляются в исторической литературе лишь XVIII в., когда императорской Санкт-Петербургской академией наук начинается систематическое научное изучение кавказских народов.

Как свидетельствуют источники XVIII — первой половины XIX в., в пределах Восточного Кавказа имелось много сел и кочевий, население которых считалось арабским не только по происхождению. В какой-то мере оно и в этот период сохраняло традиционный этнический облик, т. е. родной язык и некоторые культурные особенности. Группы таких арабов жили преимущественно в Азербайджане и Дагестане. В Азербайджане — в основном в Муганской степи (здесь находились их главные кочевья), а также в Ширванском уезде (большое кочевье Арабляр). Селения были в Кубинском (Араб к северу от р. Вельвели и Араб в междуречье Гильчин и Атачай; оба села располагались недалеко от Каспийского побережья) и Шекинском (Араб-Уджахи) уездах. В Дагестане недалеко от Дербенда находилось с. Арабляр⁵⁰. Это же селе-

⁴⁷ Там же, с. 223—224.

⁴⁸ Генко А. Н. Указ. раб., с. 85.

⁴⁹ *Reineggs I. Allgemeine historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus.* I. Gotha und SPb., 1796, S. 160.

⁵⁰ Гербер И.-Г. Указ. раб., с. 117; Бакиханов А.-К. Указ. раб., с. 172; Гагемейер Ю. А. Указ. раб., с. 184.

ние в 50 верстах к югу от Дербенда, на левом берегу Рубас, упоминает Клапрот. Жители этого села, подчеркивает он, происходят от живших некогда здесь арабов. Кроме с. Арабляр, по свидетельству Клапрота, Дагестане и Ширване имелось еще несколько населенных пунктов, где жили арабы, предки которых, как считалось, обосновались здесь во времена арабских халифов. К началу XIX в. эти арабы «перемешались с татарами (азербайджанцами. — Н. В.), но сохранили свое имя»⁵¹.

Поселения, жители которых по происхождению считались арабами, были известны и в других частях Закавказья. В официальных документах за 1802 г. в Грузии в Борчалло называлось с. Араплу (его жители тому времени считались «татарами»). Другое селение — Арапли (10 хозяйств, 63 душ об. п.) было около г. Гянджи. Еще одно село Араб (22 хозяйства, 104 душ об. п.) находилось в Лорийском уезде Тифлисской губ.⁵² Алкадари в своем историческом сочинении называет ряд арабских сел: в окрестностях Дербенда — Арабляр, где, по рассказам стариков, в давние времена жили арабы, а также несколько селений Арабляр в Азербайджане — в Кубинском, Шемахинском и Нухинском уездах. К арабским селам Алкадари относит также с. Дарваг в Северном Табасарани. Жители этого села, пишет он, до начала последнего столетия употребляли своеобразный язык, «который затем был заброшен и забыт»⁵³.

Значительный список арабских сел и кочевий приведен Н. Зейдцем в его труде «Этнографический очерк Бакинской губернии», составленном по данным камерального описания губернии 1859—1864 гг. Этим кочевые общества: *Араб-Бала-оглан*, часть которого жила в Бакинском уезде, а основная масса — в Джевадском; *Араб-Ушаги*, *Араб-Абду Керим*, *Араб-Мамед-Агалу*, *Араб-Кердаш-Беглу*, *Араб-Бабир-ханлу* (в Джевадском у.), *Араб-Джаберлу* и *Араб-Шахверди*, кочевавшие в Геокчайском и Шемахинском уездах; *Араб-Мехти-бека*, *Араб-Сарван*, *Араб-Ханэдан* в Геокчайском у.; *Араб-Кадым* — в Шемахинском; с. *Араб* — в Ленкоранском у.; селения *Араб-Бабали* (*Араб-Хадж*), *Араб-Кеймураз*, *Араб-Гамья* и *Араб-Али-Мамед* в Кубинском у. Во всем по камеральному описанию в Бакинской губ. в названных кочевьях селах насчитывалось 1680 хозяйств и кибиток с 9,9 тыс. душ об. п.⁵⁴.

Наиболее полные сведения о населенных пунктах и кочевьях, жители которых по происхождению считались арабами⁵⁵, содержат посемейные списки населения Закавказского края 1886 г. (см. таблицу)⁵⁶.

Как мы видим, за период с 1864 по 1886 г., т. е. за 22 года, численность арабов Азербайджана возросла до 13,5 тыс. чел. Конечно, называя эту цифру, следует учитывать, что местные арабы к тому времени этнически уже почти растворились в местной этнической среде. И в таком случае многое (о чем уже говорилось выше) указывало на их арабское происхождение. В этой связи не лишним будет обратить внимание на такой факт. Все названия перечисленных в таблице селений и кочевий содержат этноним *араб*, который, как правило, составляет первую часть топонима. Вторая же, думается, является в большинстве случаев именем родоначальника или старейшего данной группы. Из материала таблицы выясняется еще один немаловажный факт: местоположение арабских селений и кочевий, занимавших в основном центральную, преимущественно степную часть Азербайджана.

Источники сообщают довольно скудные сведения о быте кавказских арабов. Из средневековых арабских хроник видно, что арабы оседали специально построенных укрепленных поселений. В Дагестане, например, такие поселения имелись в прибрежной полосе и в горах. По свидетельству ал-Масуди, арабы жили в долинах и камышах, т. е., видимо

⁵¹ Klaproth J. Указ. раб., с. 180.

⁵² АКАК, т. I, 1866, с. 463; т. II, 1868, с. 83, 596.

⁵³ Алкадари Г. Указ. раб., с. 33.

⁵⁴ Зейдлиц Н. Указ. раб., с. 51, 52.

⁵⁵ Записаны «татарами», т. е. азербайджанцами.

⁵⁶ Составлено по материалам: «Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года». Тифлис, 1893.

Губерния	Уезд	Селение	Число жителей об. п.
Бакинская	Джевадский	Араб-Абдул-Керим 1-й	713
		Араб-Абдул-Керим 2-й	837
		(кочевники)	
		Араб-Кардаш-Беклы	1425
		Араб-Шахверды	588
		Араб-Бабир-ханлы	465
		Араб-Бала-оглан	2349
		Араб-Мамед-агалы	1267
		Араб-Ушаги	407
		Арабли (кочевники)	152
	Кубинский	Араб-Али-Мамед	222
		Араб-Бабашлы	42
		Араб-Гамья	470
		Араб-Кеймураз	378
	Шемахинский	Араб-Хаджи	42
		Араб-Кадым	—
		Араб-Сарван	203
		Араб-Ханадан	598
		Араб-Мехти-бека	562
Елизаветпольская	Арешский	Араб-Гюловша	337
		Араб-Джабирлы	655
		Араб-Кюкель	348
		Араб-Шеки 2-е	66
	Геокчайский	Араб-Шахверды	232
	Нухинский	Араб-Шеки	307
	Джеванширский	Араб 1-е	313
		Араб 2-е	30

Итого: 13 009

прибрежье. В XII в. часть дагестанских арабов обитала в горах, где они, как пишет Ибн ал-Азрак, поселились еще в VII в., занималась земледелием, обрабатывая принадлежавший им земельный участок в 25 фарсах. Эта группа арабов поддерживала постоянные торговые связи с Дербендом⁵⁷. Азербайджанские арабы (часть их более поздние переселенцы) в XVIII в. разделялись на кочевников и оседлых. Первые кочевали главным образом в Муганской степи и Кабристане — центральной, наиболее пустынной части Азербайджана. В Муганскую степь на зиму свой скот отгоняли и оседлые арабы. Их летние пастбища находились к юго-западу от зимних в сторону Талышии⁵⁸. За пользование пастбищами арабы платили подать в казну или местным владельцам, если пастбища находились в частной собственности. По Герберу, главным занятием местных арабов было скотоводство и коневодство. Гербер не называет верблюдоводство, однако о нем как о традиционной отрасли хозяйства этой группы кавказских арабов пишут даже источники конца XIX — начала XX в.⁵⁹

В 1880-х годах значительная часть азербайджанских арабов вела оседлый образ жизни. Намного ранее процесс оседания произошел у дагестанских арабов. Во всяком случае, ал-Масуди и Ибн ал-Азрак пишут о них как об оседлых земледельцах. Можно, конечно, предположить и другое: в Дагестан переселялись преимущественно арабы-земледельцы.

Главное место в хозяйстве азербайджанских арабов в XIX в. занимало отгонное скотоводство. Так, общество Араб-Шеки Нухинского уезда зиму проводило недалеко от Куры, а на лето перекочевывало в местность близ с. Падар (здесь они были известны под именем гариплинцев) в том же уезде⁶⁰. Скот перегоняли сезонно: отгон на зимние паст-

⁵⁷ Минорский В. Ф. Указ. раб. с. 225.

⁵⁸ Гербер И.-Г. Указ. раб., с. 118.

⁵⁹ Арасханианц А. Н. Указ. раб., с. 8.

⁶⁰ Там же.

бища начинался с конца сентября. Первыми шли кочевники, и лишь в октябре по окончании уборки урожая отгон скота начинали оседлые шества. На зимних пастбищах находились до середины или конца августа, когда скот вновь перегоняли на летние пастбища⁶¹.

Большинство арабских сел и кочевий занималось верблюдоводством, используя верблюдов не только для перекочевок, но и для извоза. В 1880-х годах эта отрасль хозяйства была ведущей в нескольких чевьях. Например, арабские общества Кабристана имели более 1300 верблюдов. Верблюжья шерсть шла на изготовление различных домашних изделий, мясо — в пищу. Однако в основном верблюдов использовали как средство передвижения. Вьючный извоз на верблюдах (*чарвадство*) был распространен главным образом среди арабов Шемахинского и Геокчайского уездов в обществах Араб-Джабирлы, Араб-Шахведы, Араб-Шамлы и Араб-Кадым. Жители этих обществ на верблюдах перевозили грузы из Бакинской губернии в глубь Закавказья и обратно. С открытием Закавказской железной дороги этот промысел значительно сократился. Кроме того, в пределах Азербайджана арабы на верблюдах развозили соль и нефть. Геокчайские арабы закупали эти товары на Уджаринской станции Закавказской железной дороги, кабристанцы — в Бакинской губернии. Извозная торговля нефтью (позднее керосином) и солью была распространена среди азербайджанских арабов и в первой трети XX в. Как и ранее, целые караваны верблюдов двигались от села к селу, где арабы продавали нефть и соль и закупали у местного населения орехи, рис, фрукты. В послевоенные годы этот промысел совсем исчез⁶².

Кроме названных отраслей хозяйства жители некоторых арабских сел Азербайджана (например, Араб-Шахведы) занимались коневодством, имевшим здесь торговое значение. В ряде сел было развито полеводство, а также чалтыководство (рисоводство). В частности жители с. Араб-Шамлы имели чалтычные участки у р. Пирсагат; в некоторых селах были небольшие виноградники. Распространение получили также некоторые ремесла. В Араб-Джабирлы, например, это было выжигание угля. Полученный уголь продавали в города и центры медно-железолитейного производства Азербайджана. Во всех арабских обществах делали различные шерстяные изделия: паласы, ковры (лучшие изготавливались в арабском с. Араб-Кадым), грубые домашние суки, войлоки для палаток, которые ставили на пастбищах (их делали из худших сортов шерсти). Часть этих изделий продавалась⁶³.

Жилищем кочевых арабов служили кибитки, которые во время перекочевки перевозили на быках и верблюдах. Внутри кибитки выстилали коврами, снаружи обкладывали плетеным камышом и накрывали войлоком. Каждое кочевое общество объединяло несколько сот кибиток одной фамилии. Из своей среды общество избирало юзбаши, которому принадлежала вся власть в фамилии. Фамилия делилась на несколько групп, носивших имена своих родоначальников или кого-либо из старейших членов группы. Каждая из этих групп объединяла несколько ближайших родственных семей, сообща владевших пастбищами⁶⁴.

Мы не имеем никаких материалов для характеристики семейно-быта и духовной культуры кавказских арабов. Известна лишь их религиозная принадлежность — мусульмане-сунниты. У авторов конца XVIII — первой половины XIX в. встречаются краткие зарисовки внешности и черт характера кавказских арабов. Они смуглы, небольшого роста, «тихие и добро оруженные, только оружие употребляют больше для своей обороны, нежели для вреда других»⁶⁵.

⁶¹ Абелов Н. А. Указ. раб., с. 234.

⁶² Абелов Н. А. Указ. раб., с. 52, 107, 188; Полевые записи автора 1976 г., л. 89, 105.

⁶³ Абелов Н. А. Указ. раб., с. 172, 186.

⁶⁴ Гербер И.-Г. Указ. раб., с. 118, 306; Обзорение Российских владений за Кавказом. Ч. 3, 1836, с. 80.

⁶⁵ Гербер И.-Г. Указ. раб., с. 118.

Материалы XVIII—XIX вв. позволяют представить языковую ситуацию, сложившуюся в этот период у кавказских арабов. По Герберу, в Азербайджане арабы говорили на азербайджанском языке, содержащем множество арабских слов («смешанным турецким, татарским и персидским») ⁶⁶. Гагемейстер писал, что жители некоторых сел Азербайджана объясняются между собой на испорченном арабском языке ⁶⁷. В приведенных свидетельствах, думаю, нет противоречий. Гербер, вероятно, имел в виду язык внешнего общения арабов, которым был, конечно, азербайджанский. В начале XIX в., по свидетельству современников, жители Ширвана знали «татарский язык». Гагемейстер же, говоря об арабском языке, указывал, видимо, на их бытовой язык, язык внутрисемейного общения. К середине XIX в., по сведениям Бакиханова, жители части арабских сел Азербайджана утратили родной язык. Лишь у одной группы арабов, живших в Ширванском уезде, «семейным языком был арабский, но они знали и азербайджанский». Подобная языковая ситуация отмечается Бакихановым и в дагестанском с. Дарваг, где арабский язык лишь к началу XIX в. вышел из употребления, но некоторые старики знали его еще в 1840-х годах ⁶⁸.

Сохранению арабами родного языка (хотя и значительно изменившегося) в некоторых селах и кочевьях Нухинского и Шемахинского уездов способствовала, как отмечали бытописатели того времени, их этническая изоляция. Они не заключали браков с азербайджанцами, причем не только с шиитами, но даже с суннитами, т. е. со своими единоверцами. Такое положение не мешало им, однако, знать азербайджанский язык, который был для них языком общения с окружающим населением.

Процесс деэтнизации кавказских арабов в основном завершился к концу XIX в. К этому времени почти все они ассимилировались кавказским населением, утратили родной язык и сохранили лишь память о своем происхождении. В разных районах Кавказа этот процесс протекал с различной интенсивностью. В Дагестане этническая ассимиляция арабов, как более давних мигрантов, произошла, видимо, еще ранее, чем в Азербайджане, и к середине XIX в. арабский язык здесь был утрачен, исключением, может быть, Дарвага. Связь дагестанских арабов с персидским, где в XI—XII вв. арабское влияние сменилось тюркским, привело к тому, что арабское население многих близлежащих сел (Зиль, Джи, Мугатырь и др.) перешло на азербайджанский язык. В Азербайджане, как мы видели, и в XIX в. были группы арабов, не утратившие некоторых этнических черт, прежде всего арабского языка, на котором они общались в быту.

Так, неправдоподобные на первый взгляд факты, сообщенные информантами, дают толчок к этнографическому поиску, раскрывающему еще одну страницу этнической истории народов и их этнокультурных связей.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Гагемейстер Ю. А. Указ. раб., с. 184.

⁶⁸ Бакиханов А.-К. Указ. раб., с. 172.

В. Г. Стельмах

ПОЛИТИКА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИНДЕЙЦЕВ США

В 30-е ГОДЫ XIX ВЕКА

В июне 1979 г. апелляционный суд штата Южная Дакота вынес повелевающее многих американцев решение о выплате правительством США компенсации в размере 105 млн. долл. индейскому племени оглала-сиу за пользование землей в округе Блэк Хиллз резервации Пайн Ридж. Однако это решение, столь нетрадиционное для Америки, имело под

собой твердую юридическую базу. Право индейцев на владение данной территорией было зафиксировано в договоре о переселении, который правительство заключило с ними в 1877 г. Договор этот имеет силу по сей день.

Но не менее удивительна была и реакция племени на такое, казалось бы, благоприятное для них решение суда. Устами своего вождя Илаи Вэрлвинд Хорса и активиста Движения американских индейцев Рассела Минза оно отказалось от компенсации. По мнению оглала-во-первых, само переселение в резервацию было не чем иным, как насилием над ними. Во-вторых, 105-миллионная компенсация, составляющая проценты за 102 года аренды земель Блэк-Хиллз, явно недостаточна. Поскольку оглала-сиу не имели адекватного представления о рыночной стоимости земли, плата за эту территорию была установлена в сумме 17,5 млн. долл., тогда как реальная ее стоимость, с учетом интенсивной добычи золота там в 80-х годах XIX в., была несоизмеримо выше. Поэтому индейцы не соглашались с предложенной компенсацией и «объясняют, — как заявил Р. Минз, — усилия, чтобы полностью восстановить права на свою землю»¹.

Таким образом, договор о переселении, заключенный между индейским племенем и правительством США свыше 100 лет назад, хотя и разует в определенном смысле правовую основу земельных исков индейцев в наши дни, по-прежнему остается документом, фиксирующим равноправие коренного населения. Это побуждает нас обратить пристальное внимание на политику переселения индейцев, начатую в 30-е годы XIX в. Особый интерес в данной связи вызывает ее начальный этап, продолжавшийся около 10 лет, в течение которого правящие круги США «очистили» от аборигенов все юго-восточные территории страны, переселив их на земли, лежащие западнее р. Миссисипи.

Политика переселения индейцев США в западные районы давно интересует американских ученых². Однако внимание их обычно фокусировалось на правовой стороне переселения — оформлении его посредством договора с соответствующим индейским племенем. При этом игнорировался тот факт, что на деле переселение было замаскированным захватом земель коренного населения, и агрессивный характер политики правительства США затушевывался.

Советские ученые, осветив ряд принципиально важных проблем истории коренного населения США, часто обращались к вопросам, или иначе связанным с политической переселенческой³. Вместе с тем данная сюжет не был предметом специального исследования. Цель настоящей статьи — показать, как в планах переселения индейских племен проявился захватнический характер политики американских правящих кругов.

* * *

30-е годы прошлого столетия были отмечены активизацией политики правительства США в отношении индейцев, направленной на захват земель, принадлежавших коренному населению. Причины этого следовало искать в особенностях социально-экономического развития США в этот период.

Тенденция к территориальному росту имманентно присуща самой природе капитализма. Ввиду того, что на Американском континенте существовали особо благоприятные условия для развития капитализма,

¹ New York Times, 18.IX.1979, p. 22.

² Harmon W. 60 Years of Indian Affairs. 1789—1850. Chapel Hill, 1941; Cotterell Southern Indians. Norman (Okla), 1954; Prucha F. American Indian Policy in the Fort five Years. 1750—1834. Cambridge (Mass.), 1962; Washburn W. The Indian in America. N. Y., 1975.

³ См., например, Аверкиева Ю. П. Рабство у индейцев Северной Америки. М., Изд-во АН СССР, 1941; *ее же*. Индейское кочевое общество 17—18 вв. М.: Наука, 1977; *ее же*. Индейцы Северной Америки. Переход от бесклассового общества к классовому. М.: Наука, 1974; Североамериканские индейцы/Ред. Аверкиева Ю. П. М.: Прогресс, 1978.

и, эта тенденция получила в США больший размах. Как указывал И. Ленин, «капитализм не может существовать и развиваться без постоянного расширения сферы своего господства, без колонизации новых земель, без втягивания некапиталистических стран в водоворот мирового хозяйства»⁴.

Территориальное расширение США было связано с развитием не только свободного предпринимательства, но и в особенности плантационного рабства. Как писал К. Маркс, распространение рабства на новые территории является жизненным условием его существования⁵. Различным социальным группам белого населения — фермерам, промышленной буржуазии, плантаторам — были необходимы, хотя и для разных целей, новые территории. Именно это направляло взоры федерального правительства на юго-западные земли, которые были для него «свободными», так как на них проживали лишь индейские племена. Это нашло отражение в ежегодных посланиях конгрессу президента Э. Джексона (1829—1837). В послании 1830 г. президент заявлял, что «сейчас, когда волна цивилизации неудержимо катится на запад, ...необходимо перенести в руки большого цивилизованного народа огромные территории на западе, занятые горстью дикарей-охотников». В послании 1833 г. президент подчеркивал, что «индейцы не могут жить окруженные поселениями белых»⁶. Подобную точку зрения высказывали и другие официальные лица: министр обороны Кэсс, члены палаты представителей Каннинг и Уайт, уполномоченный по делам индейцев Херинг⁷. Таким образом, правительство Э. Джексона откровенно стремилось разрешить аграрный вопрос всецело за счет коренных американцев.

В 30-е годы федеральное правительство централизует исполнительные органы индейской политики. Вместо функционировавшего с 1824 г. в качестве придатка к военному министерству Бюро по делам индейцев, которое осуществляло связь с коренным населением через назначаемые и периодические комиссии, в 1834 г. был создан Департамент по делам индейцев в рамках Министерства внутренних дел. Его компетенция определялась четко: «Регулирование торговли и отношений с индейцами, исполнение договоров с индейцами, контроль за их исполнением»; периодические комиссии Бюро заменялись постоянно действовавшими Индейскими агентствами с обширным штатом агентов и их помощников, которые находились на территории каждого племени. Возглавлял департамент уполномоченный по делам индейцев⁸. В этом же году конгресс принял закон о регулировании отношений и торговли с индейскими племенами, согласно которому отношения с индейцами «становились прерогативой федерального правительства», выдававшего для торговли и установления любых иных контактов с индейцами специальные лицензии (ст. 2—3). Закон также запрещал под угрозой штрафов селиться без разрешения департамента на индейских землях (ст. 4), продавать индейцам спиртные напитки (ст. 20—21), вести торговые дела без лицензии (ст. 6—9)⁹. Все это, как справедливо отметил известный правовед Л. Коэн, означало «возведение отношений с индейцами в ранг государственной политики»¹⁰ и свидетельствовало о тенденции к усилению федерального контроля над племенами.

Основным методом экспансии США в индейские земли в 30-е годы XIX в. стало переселение их жителей в неосвоенные западные районы страны, которые были еще недоступны белому населению. Относительно необходимости переселения у правящих кругов разногласий не было,

⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 595.

⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 15, с. 318.

⁶ A Compilation of the Messages and Papers of Presidents 1789—1897/Ed. Richard L. Washington, 1896 (далее: Messages and Papers), v. 2, p. 523; v. 3, p. 33.

⁷ Congressional Globe. 24 Congress. 1 Session. Appendix, p. 3, 13—14, 420; 2 Session. Appendix, p. 304.

⁸ Documents of U. S. Indian Policy. Lincoln (Nebraska), 1975, p. 68—70 (далее: Documents).

⁹ Ibid., p. 64—68.

¹⁰ Cohen F. Handbook of Federal Indian Law. Washington, 1941, p. 37.

однако вопрос, как проводить его, неожиданно породил в конгрессе США дискуссию, затрагивавшую проблему трактовки американской конституции.

Как известно, в основе отношений федерального правительства индейских племен лежало конституционное положение о том, что юридический статус индейцев уподоблялся статусу иностранной державы независимой от правительства США (раздел 1, гл. 8, § 3)¹¹. Признание суверенитета неизбежно влекло за собой и признание прав индейцев на землю. Однако это положение конституции трактовалось правящими кругами весьма своеобразно. В решении Верховного суда в 1830 г. судья Д. Маршалл официально объявил о том, что независимость индейцев следует понимать более узко, ибо они «независимы не как иностранные державы, а как народы, находящиеся под патронажем США в силу своей дикости и невежества»¹². Таким образом, статус индейцев и позиция правящих кругов США по отношению к ним были весьма двойственны, именно это породило жаркие споры о том, как переселять их на запад.

Наиболее рьяные сторонники захвата индейских земель, ссылаясь на решение Верховного суда, считали, что индейцев следует выдворить с их территорий силой. «Поскольку они не являются иностранными народами в конституционном смысле..., — заявил представитель Джордж Хейс, — вести с ними какие-либо переговоры бессмысленно»¹³.

Но была и более умеренная точка зрения, четко сформулированная предшественником Джексона на посту президента, Д. К. Адамсом (1825–1829), трактовавшим конституцию буквально. В послании 1828 г. конгрессу он писал: «В основу наших отношений с индейцами положим принцип, согласно которому они подобно иностранным державам считаются суверенными собственниками своих территорий. Однако вместе с тем они — грубая, невежественная часть человечества, и наш долг привить им привычки и обычаи цивилизации». Основываясь на этом президент следующим образом характеризовал политику по отношению к индейцам: «...мы покупаем у них землю, поскольку они собственники, мы заключаем с ними договоры, поскольку они независимы, мы учим их религии и грамоте, поскольку они дикари»¹⁴. В начале 30-х годов конгрессе такую точку зрения защищали члены палаты представителей Уайт и Каннинг, а также министр обороны Кэсс¹⁵.

Именно с учетом таких противоречивых мнений и следует рассматривать предложенную Э. Джексонем программу переселения индейцев. Джексон лицемерно утверждал, что уход индейцев с обжитой земли на запад, несомненно, в их же интересах, так как «многочисленные племена, попав под юрисдикцию штатов и территорий..., неизбежно сталкиваются с альтернативой — либо подчиниться их законам, что само по себе трудно из-за незнания языка и отсутствия цивилизованных привычек, либо переселиться западнее и жить по своим законам». В послании 1830 г. президент вновь подчеркивал, что «последствия скорейшего переселения индейцев будут иметь важное значение и для федерального правительства, и для штатов, и для них самих, ибо это положит конец бесконечным столкновениям индейцев с местными властями и, наконец, даст им возможность жить приемлемым для них образом»¹⁶.

Для выполнения этой программы он рекомендовал заключение договоров о переселении с различными племенами. «...Мы не имеем права предписывать им законы и вмешиваться в их жизнь, — писал он, — мы не имеем подобных прав в отношении иностранной державы»¹⁷. Это признание на словах прав индейцев имело для правительства немалые выгоды, ибо, заключив договор о переселении, оно получало «законное»

¹¹ Текст конституции дается по изданию: *Addresses and Messages of Presidents of the U. S. from Washington to Tyler*. N. Y., 1843, p. 11.

¹² Documents, p. 58—60.

¹³ *Congressional Globe*. 24 Congress. 1 Session. Appendix, p. 477—480.

¹⁴ *Messages and Papers*, v. 2, p. 415, 416.

¹⁵ *Congressional Globe*. 24 Congress. 1 Session. Appendix, p. 3, 14, 420.

¹⁶ *Messages and Papers*, v. 2, p. 459, 523.

¹⁷ *Ibid.*, p. 519.

вание выдворять непокорных силой. В послании 1836 г. президент подчеркивал, что «федеральное правительство обретает моральное право действовать на выполнение принятых обязательств»¹⁸. Надо отметить, что эта мысль президента нашла должную интерпретацию в конгрессе США. Конгрессмены Бентон, Терни, Эверетт и другие по достоинству оценили возможность использовать договоры о переселении как удобный предлог для нажима на индейское население: «Если индейцы проявят при переселении неуступчивость, — говорили они, — все имеющиеся договоры будут брошены на защиту наших интересов»¹⁹. Планы Джексона встретили понимание и в кругу военных. Так, например, командующий военным постом на границе Джорджии и индейских территорий полковник Э. Кэнби откровенно заявлял: «Между политикой переселения и уничтожением индейцев в принципе нет никакой разницы... Однако, ставляя в стороне все соображения гуманности, уничтожения таких южных народов — дело нелегкое. Правильная, рекомендованная нашим опытом и соображениями выгоды политика — переселение их подальше от поселений белых»²⁰. В итоге правительственная программа выразилась в принятии конгрессом в мае 1830 г. закона о переселении. Согласно закону, президент получил неограниченное право производить индейцами обмен любых территорий, не входивших в состав штатов (ст. 1), для чего он мог заключать с ними соответствующие договоры о переселении (ст. 2)²¹.

Провозглашая политику переселения, федеральное правительство вместе с тем не предполагало отказываться и от открытого применения военной силы против индейцев. По данным американского историка У. Хармона, лишь 45% договоров о переселении было заключено по формальному согласию индейцев. Армия зачастую использовалась в качестве «веского» аргумента, побуждавшего их заключать договор. Именно так был подписан договор с племенем чироков в 1835 г. в Нью-Ичоне²². Окончательный договор о переселении семинолов в свою очередь был заключен после кровопролитной войны 1835—1842 гг., стоившей правительству 30 млн. долл. и унесшей жизни 1,5 тыс. солдат²³. И только трудность ведения боевых действий, которые, по словам участника этой войны И. Грегга, «превращались в изнурительную борьбу с ожесточенным сопротивлением индейцев»²⁴, обусловила стремление правящих кругов использовать для переселения индейских народов относительно мирные средства. Очень метко эту позицию правительства описал член палаты представителей Эверетт, призывавший к тому, чтобы «военная сила применялась крайне осторожно, ибо индейцы могут оказать отчаянное сопротивление»²⁵.

Итак, стремясь разрешить аграрный вопрос за счет индейцев с наименьшей затратой сил и средств, правительство США в 30-е годы XIX в. пошло по пути заключения с ними договоров, камуфлировавших захватнический характер федеральной политики.

«Уступка» индейцами обширных земель с последующим переселением на запад — основа всех договоров, каким бы образом это ни было сформулировано. Наиболее часто встречается такая формулировка: «Означенные племена, стремясь к установлению мира и дружбы между собой и США, ... передают все свои права на территории, описанные следующим образом (идет описание угодий. — В. С.)» (сэк и фокс, 1830, преамбула; меномины, 1830, ст. 1; сенеки, 1831, ст. 1; оттава, 1831 и 1835,

¹⁸ Ibid., v. 3, p. 172.

¹⁹ Congressional Globe. 24 Congress. 1 Session. Appendix, p. 542; 25 Congress. 2 Session. Appendix, p. 354—376.

²⁰ The War of the Rebellion. A Compilation of the Official Records of the Union and Confederate Armies. Washington, 1880—1901, ser. I, v. 4, p. 76—77.

²¹ Documents, p. 52—53.

²² Harmon W. Op. cit., p. 323; Washburn W. Op. cit., p. 166.

²³ Historical Statistics of the U. S. Statistical Abstract Supplement. Washington, 1960, p. 209.

²⁴ Gregg I. Diary and Letters. Norman, 1944, p. 90.

²⁵ Congressional Globe. 24 Congress. 1 Session. Appendix, p. 545.

ст. 1; поттоватомы, 1832, ст. 1; вайандоты, 1836, ст. 1; шауны, 1836, ст. 1)²⁶. И уж поистине верхом лицемерия выглядели преамбулы к договорам с племенами тетон-сиу и айова: «Мы, вожди, старейшины и воины, понимая, что расширение штата к реке Миссури будет иметь положительное значение и для белых, и для краснокожих, так как между ними пройдет естественная граница, уступаем США в знак глубокой дружбы означенные территории и заявляем, что мы удовлетворены этим территориальным обменом» (тетон-сиу, 1836; айова, 1836).

Итак, индейцы брали на себя обязательство переселиться. Договоры указывали и сроки исполнения. В большинстве случаев от индейцев требовалось «незамедлительное выполнение условий после ратификации» (меномины, 1831, ст. 2; сенеки, 1831, ст. 2; чокто, 1830, ст. 21 и т. п.). Иногда время переселения было четко установлено: 2 года (чироки, 1835, ст. 16; поттоватомы, 1836, ст. 14), 1 год (оттава, 1831, ст. 3; кэддо, 1835, ст. 2). Естественно, переселение с обжитых угодий на неосвоенные территории, да еще в сжатые сроки, само по себе наносило ущерб коренным американцам. Но есть все основания полагать, что, несмотря на заверения президента Джексона, будто бы «предоставляемые для поселения западные территории... по климатическим условиям и плодородию идентичны уступленным»²⁷, качество новых земель оставляло желать лучшего. Косвенно свидетельствует об этом договор 1835 г. чироками, где говорится: «Поскольку чироки выражают опасение, что они получают взамен не подходящие для земледелия территории..., правительство США соглашается дополнительно предоставить племенам земли между западной границей штата Миссури и угодьями осейджей» (ст. 2).

Впрочем, события показали, что правительство США не намеревалось соблюдать оговоренные сроки переселения. Не дожидаясь ухода индейцев, местные власти распространили на территории, подлежащие «уступке», федеральные законы и, поскольку индейцы не являлись американскими гражданами и не могли требовать защиты своих прав в суде, силой изгоняли их из их жилищ²⁸.

Какое количество земель получали индейцы взамен оставленных? Приводимые ниже данные (см. таблицу) относительно некоторых индейских племен свидетельствуют, что переселение было не чем иным, как лишением коренных жителей существенной части их земельной базы.

Из таблицы видно, что в результате переселения индейцы недополучили около 61,75 млн. акров угодий. Общая статистика выглядит еще более удручающей. У. Хармон установил, что США за первые 50 лет своего существования (1789—1840 гг.) захватили свыше 442,8 млн. акров индейских территорий, отдав взамен всего 53,7 млн. акров²⁹.

Как отмечалось ранее, специфической чертой политики федерального правительства в отношении коренного населения было формальное признание за ним независимости и права собственности на занимаемые земли. Из этого вытекала необходимость выплаты компенсации за остающуюся индейцами землю и собственность.

Прежде всего, из чего складывалась компенсация? Она состояла из следующих денежных выплат: а) непосредственно за земельные угодья с вычетом стоимости новых территорий; б) за отдельные виды недвижимости — кузницы, дома старейшин и т. п.; в) за транспортные издержки; г) материальной помощи со стороны правительства США для устройства на новом месте — создания особых фондов переселения: сиротских, школьных, сельскохозяйственных и др. Компенсация, предусматриваемая пунктом «а», составляла так называемый общий фонд племен, который федеральное правительство как гарант согласно договорам помещало в банк или вкладывало в акции. 5% этого капитала выплачивалось

²⁶ Статьи договоров здесь и далее цитируются по изданию: *Indian Affairs. Law and Treaties*/Ed. Kappler Ch. V. 2—Treaties. Washington, 1901, p. 306—522.

²⁷ *Messages and Papers*, v. 3, p. 171.

²⁸ *Congressional Globe*. 23 Congress. 2 Session, p. 195.

²⁹ *Harmon W. Op. cit.*, p. 319.

соответствующему племени раз в год и назывались ежегодными платежами. Компенсация, предусматриваемая пунктом «б», как правило, выплачивалась единовременно; что касается фондов переселения, то они в зависимости от размеров создавались после заключения договора, либо правительство оговаривало себе 5—10-летнюю рассрочку договоров: сэк, фокс, 1830, ст. 4—15; чокто, 1830, ст. 5—22; кэддо, 1831, ст. 3—17; сенеки, 1831, ст. 6—15; чироки, 1835, ст. 4, 5, 7—18 и др.). В отдельных случаях допускалась компенсация товарами: определенное количество зерна, лошадей, лекарств, табака и т. п. (айова, 1830, ст. 3; янктоны, 1836, ст. 3; чиппева, 1837, ст. 4).

Каковы же были общие размеры компенсации? Ответить на этот вопрос крайне сложно, ибо договоры переселения наряду с наличием фиксированных выплат, например оплаты транспорта, не всегда содержат конкретные цифры. Кроме того, расчеты затрудняются различиями в способах исчисления общей фонда, составлявшего львиную долю компенсации, который либо создавался из средств, полученных от продажи оставленных угодий аукциона наподобие обществен-

ных земель (большинство договоров), либо выплачивался единовременно (чироки, 1835, ст. 8; стокбридж, 1839, ст. 1; крики, 1834, ст. 3). Рассмотрим первый случай.

Законом 1820 г. минимальная рыночная цена земли при продаже ее молотка была установлена в размере 1,25 долл. за акр³⁰. Поскольку индейцы, как правило, этого не знали, цена-минимум фиксировалась значительно ниже рыночной: 1 долл. за акр (вайандоты, 1832, ст. 2; поттоватомы, 1836, ст. 2; стокбридж, 1839, ст. 1), 70 центов за акр шауны, 1831, ст. 8; оттава, 1831, ст. 8), хотя в договорах с ними утверждалось, что «оставленные владения пускаются в продажу с аукциона согласно правилам торговли общественными землями». В тех же случаях, когда минимум цены устанавливался равным рыночному, правительство США использовало различные способы для уменьшения размера компенсации. Так, по договору с чиппева 1837 г. продажный минимум устанавливался в размере 1,25 долл., однако племя в отличие от других должно было само выделить из суммы, полученной от продажи, сиротский и школьный фонды, а также оплатить медикаменты и табак (ст. 3—5). В договоре с чикасо 1834 г. был использован другой способ. Распродажа оставленных владений начиналась сразу после ратификации, причем в первый год цена за акр устанавливалась в 1,25 долл., во второй — 1 долл., в третий — 50 центов, а в четвертый и далее — уже 25 центов (ст. 11). Иными словами, задержки правительство сроки аукциона на несколько лет (а оно имело такую возможность, ибо племя передавало ему все права на оставленные земли), цена на них моментально уменьшалась в разы! Произвол, сопутствовавший аукционной продаже, стал настолько распространенным, что даже конгрессмен Эверетт вынужден был констатировать, что она превратилась в «поток злоупотреблений и нечестных сделок»³¹.

Большую сложность представляет расчет во втором случае (единовременная выплата). В частности, племя чироков по договору 1835 г.,

Земельные потери некоторых индейских племен в 1830—1840 гг.*

Племя	Земли (млн. акров)	
	«уступленные» индейцами	полученные взамен
Кэддо	1,0	0,04
Чироки	11,0	8,0
Чиппева	19,2	0,01
Поттоватомы	10,6	5,0
Чокто и чикасо	20,6	19,3
Крики	24,7	15,2
Кикапу	5,3	2,8
Осейджи	6,8	0,04
Оттава	0,08	0,03
Сенеки	0,07	0,01
Виннебаги	10,3	2,0
Вайандоты	4,8	0,27
Итого	114,45	52,70

* Harmon W. Op. cit., p. 335.

³⁰ Documents of American History/Ed. Comager H. N. Y., 1935, v. 1, p. 222.

³¹ Congressional Globe. 24 Congress. 2 Session. Appendix, p. 308.

получило 5,4 млн. долл. В эту сумму вошли: 5,0 млн. долл. общего фонда, выплаченного в отличие от других договоров одновременно (ст. 8) и 0,4 млн. долл. дополнительных фондов, компенсации недвижимостей и т. п. (ст. 9, 11—16). Если же мы соотнесем эту цифру с количеством земли, изъятым у племени при переселении (10,2 млн. акров; см. таблицу), то получается, что компенсацию правительство выплатило из расчета примерно 50 центов за акр! Крики, по договору 1834 г. получившие 2,9 млн. долл. за 9,5 млн. акров угодий (ст. 6—10), «уступили» свои территории вообще за смехотворную цену — 30 центов за акр³². В итоге мы видим, что продажа индейских земель шла по явно заниженной цене. Подсчитано, что если бы правительство платило за изъятые территории хотя бы по рыночному минимуму, то оно должно было бы выплатить к 1840 г. коренным жителям астрономическую сумму в 553,5 млн. долл. тогда как оно обязалось выплатить лишь 31,5 млн. долл.³³ Все это красноречиво свидетельствует о неэквивалентной компенсации.

Наконец, вдобавок к этой чрезвычайно выгодной «покупке», правительство, как упоминалось выше, часто оговаривало себе рассрочку выплаты денежной компенсации до 10 лет. И, более того, лицемерно декларируя принцип равного партнерства, оно ввело в договоры статьи о том, что именно «правительство является гарантом их выполнения» поставив под контроль использование индейцами собственных денег, которые хранились в банках США. В ряде договоров есть положения, согласно которым «совет племени по указанию президента США обязан представлять отчет о приложении своих фондов... и если они расходовались неправильно, президент обладает полномочиями устранить злоупотребления и предписывать правильное использование этих денежных средств» (чироки, 1835, ст. 10; чикасо, 1832, ст. 11). Однако даже незначительная компенсация, как правило, становилась предметом жарких дискуссий в стенах конгресса, многие члены которого считали, что она явно завышена и что предоставление индейцам новых земель и денежные выплаты слишком обременительны для федерального правительства³⁴.

Итак, переселение, проводимое в 30-е годы XIX в., отразило тенденцию правящих кругов США разрешить аграрный вопрос путем вытеснения коренного населения. Наряду с этим политика эта имела еще одну важную сторону, не афишируемую в официальных документах, — стремление к полному уничтожению независимости индейских народов и подчинению их федеральному контролю. Анализ этого аспекта политики переселения весьма затруднен, так как в документах в силу известных причин никогда не говорилось об этом прямо. Более того, на первый взгляд в них, наоборот, декларировалось соблюдение правительством США суверенитета различных племен. Дебаты в конгрессе пестрят высказываниями типа: «Индейцы должны жить по своим законам, которые являются гарантией их процветания; они — полные хозяева своих территорий; законы США никогда не будут навязаны им силой»³⁵. «Правительство США гарантирует полноту власти советов племени и вождей над членами соответствующего племени и их имуществом... и подтверждает неизбежность границ индейских земель, которые никогда не будут включены в штат или территорию», — вторят им договоры (чокта, 1830, ст. 4; чироки, 1835, ст. 20; шауны, 1831, ст. 11; оттава, 1831, ст. 9). Однако эти декларации опровергались другими формулировками и положениями договоров о переселении. Прежде всего следует отметить, что, заявляя о праве индейцев на самоуправление, федеральное правительство и не предполагало его вне юридической системы США. Закон о племенах, по его мнению, «должны были соответствовать конституции

³² Был даже случай, когда компенсация исчислялась из расчета 5 центов за акр (Мейер У. Коренные американцы. М.: Прогресс, 1975, с. 34).

³³ Harmon W. Op. cit., p. 320.

³⁴ Congressional Globe. 24 Congress. 1 Session. Appendix, p. 488, 608; 2 Session. Appendix, p. 306; 25 Congress. 2 Session. Appendix, p. 272—274.

³⁵ Congressional Globe. 23 Congress. 1 Session, p. 82—83; 25 Congress. 2 Session. Appendix, p. 269—274.

ША, а также законам, издаваемым конгрессом относительно регулирования отношений и торговли с индейскими племенами» (чироки, 1835, т. 40). Из этого принципа вытекал ряд других положений. В частности, производство внутри племени шло по его законам лишь в тех случаях, когда и истец и ответчик были индейцами. Но если один из них был белым, суд должен был проходить в соответствующих федеральных учреждениях на английском языке на основании законов США. Причем чиновники Департамента по делам индейцев имели право принудительного привода индейца в федеральный суд в случае его неявки и отказа подчиниться федеральному законодательству (чокто, 1830, ст. 6; чикасо, 1832, ст. 13). Даже когда явное правонарушение в индейских землях совершалось белыми американцами, они могли быть судимы исключительно по федеральным законам (чикасо, 1832, ст. 13; чироки, 1835, ст. 12, 17). Таким образом, юридическая власть племени распространялась только на его членов, тогда как белое население полностью изымалось из сферы ее влияния, как бы получая право экстерриториальности на землях, принадлежавших индейцам согласно договорам.

Аналогично трактовалось и право коренных жителей на владение землей. Индейцы в глазах администрации США обладали не правом собственности, а правом условного владения отводимыми по договорам участками³⁶. Эту тенденцию отражают статьи 4—6 договора 1832 г. с чокто, которые указывали, что если у племени появлялись какие-либо планы относительно продажи или обмена своих территорий, то совет племени не имел права решать подобные вопросы самостоятельно, а должен был обращаться в Индейское агентство с ходатайством о назначении особой комиссии в рамках данного агентства. На практике это означало серьезное ограничение права племени распоряжаться своими земельными владениями.

Не менее характерно желание правительства США поставить под контроль межплеменные отношения, навязав индейцам принудительный арбитраж в случае возникновения конфликтной ситуации между какими-либо племенами. Так, например, конгрессмен Сэвьер от штата Арканзас прямо указывал на то, что в интересах правительства вмешиваться в отношения между племенами³⁷. Причем оно нередко само разлагало рознь между отдельными народами и внутри их. Весьма распространенным приемом было противопоставление метисной, как правило, зажиточной части племени его основной массе. Например, особые привилегии метисов оговаривались в договорах с племенами сэк и фокс, чироками, чокто, криками и др. (сэк и фокс, 1830, ст. 8—10; чироки, 1835, ст. 15; чикасо, 1832, ст. 12; крики, 1833, ст. 4). Не останавливалось правительство и перед прямым подкупом племенной верхушки. Так, статья 3 договора с поттоватомами 1834 г. гласила: «Принимая во внимание содействие, которое вожди племени оказали при заключении настоящего договора... правительство обязуется выплатить им вознаграждение в размере 400 долл. *per capita*». Подобным образом, заключая договор с меноминями в 1836 г., оно выделило в качестве подарка вождю и его роду 2,5 тыс. долл. (ст. 4). Но поистине самым удобным путем для достижения указанных целей правительства было намеренное обострение территориальных споров и правовых отношений между племенами. Так, несмотря на достаточное количество свободных для поселения земель, чокто должны были уступить часть своих новых территорий чикасо (чокто и чикасо, 1837, ст. 1), а крики — семинолам (крики, 1834, ст. 3). При этом на территории одного племени мог создаваться округ, населенный членами другой племенной группы, которые, обладая всеми правами основного племени (кроме доли в ежегодных платежах), были неподсудны его законам в случае правонарушения (чокто и чикасо, 1837, ст. 1, 5, 6; крики, 1834, ст. 8, 10). Все это, несомненно, значительно осложняло межплеменные отношения и создавало многочисленные конфликты, разрешение которых было прерогативой федерального прави-

³⁶ См. Congressional Globe. 25 Congress. 2 Session. Appendix, p. 274.

³⁷ Ibid., 3 Session. Appendix. p. 241.

тельства. Наиболее четко принцип принудительного арбитража был формулирован в договоре с племенем пауней: «Племя заявляет о своей дружбе с правительством США и соседними племенами краснокожих. В случае войны или столкновений с ними оно соглашается на арбитра со стороны лиц, которых президент США может для этого назначить (1832, ст. 10).

Однако для того чтобы иметь реальную возможность вмешиваться в дела индейцев, гарантировать выполнение ими условий переселения, подавлять возникавшее недовольство, федеральному правительству было необходимо обладать определенными рычагами воздействия. Под благовидным предлогом «защиты переселившихся от нападения враждебных племен, мародеров и бандитов» правительство США оговорило право «иметь в индейских землях гарнизоны, строить форты и военные посты в тех районах, где это необходимо». Естественно, законы племен «не могли распространяться на армию США»; индейцы не имели таких прав контролировать жизнь фортов (чироки, 1835, ст. 3; чокто, 1832, ст. 11; чикасо, 1832, ст. 2). Эти действия, упразднившие на практике декларированный суверенитет индейских племен, наглядно продемонстрировали, как правящие круги Соединенных Штатов одновременно с вытеснением коренного населения с исконных территорий стремились полностью подчинить его своему контролю.

Нельзя обойти еще один аспект индейской политики 30-х годов, хотя он и не связан непосредственно с переселением. Мы имеем в виду стремление правительства США удовлетворить требования различных слоев белого населения за счет коренных жителей Америки. Например, для буржуазии Севера была важна возможность предпринимательской деятельности на землях индейцев, в частности строительства. Договоры о переселении гарантировали ей в будущем право строительства почтовых отделений, телеграфных линий, шоссе и железных дорог через индейские территории (чокто, 1830, ст. 11; чикасо, 1832, ст. 10; чироки, 1835, ст. 20). В период наступления на индейские земли строительство стало одной из форм вытеснения коренных американцев. Русский путешественник Н. Славинский писал, что проведение дорог и наплыв белых в связи с этим «не давал индейцам очнуться. Их, как зверей, изгоняли из родных углов, и это считалось удобным»³⁸. Что касается фермеров, то они получали преимущественные права на приобретение оставленных индейцами хозяйственных построек, инвентаря, скота и т. п. (чироки, 1835, ст. 12).

Наконец, не были забыты и «особые интересы» плантаторов Юга. Как свидетельствовал очевидец, швейцарский путешественник Р. Курц, побывавший на юго-западе США на рубеже 30—40-х годов XIX в., «беглые рабы-негры очень часто искали убежище у своих краснокожих соседей». Причем, по данным 8-й переписи населения США, беглые составляли от 12 до 16% численности некоторых индейских племен — чокто, чикасо, чироков и криков³⁹. В угоду жителям рабовладельческих штатов правительство включало в договоры о переселении статьи о выдании беглых рабов, хотя термин «раб» и «рабство» в них, впрочем как и в других официальных документах того времени, не употреблялись. Вот что говорится, например, в ст. 7—8 договора 1830 г. с чокто: «Беглые лица, обнаруженные на территории индейцев, не являющиеся по рождению членами племени..., за исключением чиновников Департамента по делам индейцев, военнослужащих, коммерсантов, имеющих лицензию на торговлю с индейцами..., а также прочих лиц, находящихся там с согласия федерального правительства, считаются нарушителями (intruders) и подлежат выселению оттуда под контролем местного агента, который в случае необходимости может использовать для этого военную силу. Аналогичные положения можно найти в договоре 1835 г. с чироками

³⁸ Славинский Н. Письма об Америке. СПб., 1873, с. 174.

³⁹ Population of the U. S. in 1860. U. S. Census Office. 8th Census of the U. S. Washington, 1864, p. XV; Kurz R. Journal of Robert Kurz. Washington, 1937, p. 144, 143, 206.

(ст. 5—6) и 1832 г. с чикасо (ст. 11). Тот факт, что указанные статьи содержатся только в договорах с племенами, укрывавшими бежавших с плантаций негров, подтверждает наше мнение о том, что они касаются выдачи беглых рабов.

Такой в общих чертах была политика, которую проводило федеральное правительство. К началу 40-х годов темпы вытеснения индейцев несколько снизились, что было связано прежде всего с удовлетворением на данном этапе потребностей белого населения в новых территориях. Как заявлял в ноябре 1838 г. уполномоченный по делам индейцев Крофорд, «на уступленных территориях осталось лишь незначительное количество индейцев»⁴⁰.

Итак, переселение индейцев с их исконных земель на необжитые западные территории, хотя и облеченное в форму договоров, признававших номинально суверенитет племен, было не чем иным, как решением аграрного вопроса за счет коренного населения США, насильственно лишенного земельной базы.

⁴⁰ Congressional Globe. 25 Congress. 3 Session. Appendix, p. 9—14.

А. Ф. Дашдамиров

К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Победа социалистических начал во всех сферах жизни нашего общества, формирование новой социальной и интернациональной общности — советский народ — определили и новое качество общественного сознания, в котором утвердились и стали играть господствующую роль идеи пролетарского, социалистического интернационализма. Они придали новое содержание национальным чувствам и традициям народов СССР. Появилось новое чувство общенациональной гордости советского человека. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи раскрыть глубочайшие изменения, происходящие в сознании и психологии социалистических наций и народностей в условиях интенсивных процессов, их расцвета и сближения под воздействием идеологии и реальной социальной практики интернационализма.

Однако решение этой задачи наталкивается на трудности, связанные с недостаточной разработанностью национально-психологической проблематики. Очевидно, что без четкой концептуальной определенности в исследовании и разработке вопросов национальной психологии трудно с необходимостью полностью изучить психологию межнационального общения, тенденцию становления и развития нового явления — интернациональной общесоветской психологии. В последние годы национально-психологическим проблемам в отечественной литературе уделяется все большее внимание. Вместе с тем в самой их постановке есть и нерешенные вопросы. Речь идет о растущей потребности в детальных этносоциологических, этнопсихологических исследованиях многообразных процессов культурного развития и взаимодействия, интеграции национальностей в условиях тех или иных республик. Такие исследования должны быть направлены на оптимизацию условий дальнейшего расцвета и сближения наций и народностей, их интернационального сплочения.

1. Для исследования духовных сторон национальной жизни важна методологическое значение имеет определение ролевого статуса нации в структуре общества. Будучи целостным социальным организмом, специфической категорией социальных общностей в процессе своей жизнедеятельности, нация получает отражение в определенных сторонах, уровнях общественного сознания.

Каждая нация — это общность в ее конкретно-историческом, локально-этническом выражении, живущая полнокровной, социально противоречивой духовной жизнью. Логика изучения нации как формы общественного развития (согласно известному ленинскому положению) требует признания внутренней противоречивости ее духовной жизни, рассматриваемой как форма протекания духовных процессов на почве определенных социально-исторических условий. Поскольку нация есть целостность, то и духовная ее сфера также представляет собой целостное обра-

* 7 июля 1982 года в Институте этнографии АН СССР состоялась дискуссия, по священной разработке проблем этнопсихологии, которая была организована по инициативе журнала «Советская этнография». В основу дискуссии было положено обсуждение доклада А. Ф. Дашдамирова «К методологии исследования национально-психологических проблем». Ниже мы начинаем публикацию материалов дискуссии, а также поступивших в редакцию откликов.

вание, включающее в том или ином сочетании общен исторические и национально-специфические элементы.

{Общность духовной жизни нации, детерминированная общность экономической жизни, территории и языка, возникает в результате взаимодействия основных исторически складывающихся нациообразующих факторов. И по мере утверждения и оформления этой общности растет роль в жизнедеятельности каждого народа, кристаллизуясь в специфических чертах, выражающих известную индивидуальность данного национального бытия. Своеобразие духовной жизни наций — феномен, вырастающий на почве взаимодействия многих социально-исторических факторов. Оно определяется конкретно-историческим уровнем социально-культурного развития народа, специфическими традициями и ориентациями духовного производства, манерой и формой выражения социальной активности, творчества и реализуется в конечном итоге в достижениях данного народа в различных областях духовной деятельности — философии и идеологии, искусстве и литературе, морали, науке и образовании, в степени интенсивности тех или иных направлений практической деятельности, в психологии поведения и общения и т. п.

{Своеобразие духовной жизни, культуры нации не есть нечто внеисторическое, неизменное, присущее исключительно данной общности. Национальное своеобразие, в какой бы сфере общественной или индивидуальной жизнедеятельности оно ни проявилось, представляет собой реальный продукт взаимодействия сложной совокупности объективных и субъективных факторов, с которых, кстати говоря, и необходимо начинать изучение корней содержания и специфики духовной жизни нации.

Сказанное вместе с тем не следует расценивать как отрицание трудностей исследования. Более того, успешная исследовательская работа требует учета исключительной сложности объекта познания, неоднозначности, разнородности элементов, составляющих психологию народа. Сложное сочетание подвижности и изменчивости, закономерности и случайности в национально-психологических явлениях определяет необходимость специальной, более детальной разработки методологии исследования их особенностей.

Национальную культуру, психологию, самосознание следовало бы рассматривать в первую очередь не в качестве суммы признаков, отличающих один народ от другого, а как факторы, способствующие ее устойчивости, целостности национальной общности, отражающие и сопровождающие ее жизнедеятельность. Такой подход позволяет выявить самую широкую особенностей культуры, психологии и т. д. как интегральных духовных образований, связывающих членов данной национальной общности в целостное, устойчивое объединение. Иначе говоря, в основу исследования основных аспектов национальной психологии должны быть положены объективные характеристики нации, детерминирующие в совокупности все стороны национального бытия. Этот подход может быть обоснован в следующих тезисах.

1. Нация есть форма общественного развития. Отсюда следует: особенности жизнедеятельности нации обуславливают национально-своеобразную форму протекания некоторых общественно-психологических процессов. Национально-психологические особенности обнаруживаются в своеобразии проявлений общен исторической и классовой сторон содержания этих общественно-психологических процессов. В условиях социализма национальное все больше становится формой проявления интернационалистского содержания патриотической деятельности.

2. Нация — это историческая общность людей и как таковая в условиях социалистического общества она активно выступает в качестве субъекта общественных отношений, духовной жизни, творца материальных и духовных ценностей. В этом плане национально-психологические особенности обнаруживаются в своеобразии ценностных ориентаций и установок, в традициях, эмоциях и настроениях, так или иначе отражающих внутреннее и внешнее состояние нации, окружающую ее природу и историческую среду. Выполняя функцию внутреннего сплочения и

внешнего отличия представителей данной национальности, эти особенности не существуют сами по себе — они включены, например, в общественно-психологические характеристики национальных республиканских отрядов классов, социальных групп и слоев нашего общества. Вместе с растущей социальной однородностью общества и в каждой национальности совершенствуются ее национально-психологические особенности.

3. Существование и развитие наций с необходимостью предполагают их всестороннее взаимодействие: каждая национальная культура составляет часть единой интернациональной культуры. В этом случае национально-психологические особенности должны рассматриваться в диалектике взаимообособленности и единстве важнейших общественно-психологических констант. Важное место в национальной психологии занимают исторически сложившиеся установки, взгляды, мнения, чувства, отражающие отношение данной национальности к другим народам, к миру и ко всему человечеству. Это отношение проявляется в виде определенных или воображаемых представлений о свойствах своей и других наций в виде чувств симпатии или антипатии, дружбы или неприязни к ним и т. п. В условиях многонационального советского общества ведущую роль в этих отношениях играют интернациональные связи трудящихся масс, утвердившиеся в нашей жизни идеи и принципы пролетарского интернационализма. Они пронизывают взаимоотношения наций и народов СССР, характеризуют поведение личности в сфере межнационального общения. Важное значение для изучения истоков национально-психологических особенностей имеет учет истории досоциалистических национальных отношений. Внешнеполитические события прошлого, трагизировавшие коренные интересы и судьбы людей, вызвали определенные эмоционально-психологические состояния, которые отразились и закреплялись в особенностях характера, становились исторической традицией данного народа. История внешних отношений — войны, конфликты, союзничество и сотрудничество, многообразные внешнеполитические ситуации далекого и близкого исторического прошлого глубоко запечатлеваются в памяти поколений, а стало быть, откладываются в национальном сознании, национальной психологии, объективизируясь в различных интерпретациях явлений исторической жизни народов в определенных духовно-идеологических и общественно-психологических формах общественного сознания. Интернациональное социалистическое общечеловеческое братство народов СССР вносило глубинные сущностные изменения в эти процессы. Сам характер социалистических национальных отношений оказывает огромное облагораживающее влияние на сознание и психологию взаимодействующих народов. В целом эти отношения сформированы внутренней социальной структурой и характером внешних контактов нации, господствующими общественными отношениями, классовой направленностью тех или иных национальных интересов.

Таким образом, национально-психологические факторы активно включены в сферу национальных отношений, отражают наиболее сложную и противоречивую сторону общественных отношений, — межнациональное взаимодействие. Несомненно, классово детерминированный характер национального общения, исторический опыт подобного общения придают своеобразие многим сторонам национальной психологии, национального характера каждого данного народа, обуславливают определенные установки, тем или иным образом ориентированное отношение к интернациональным ценностям, традициям.

Как видим, в каком бы аспекте ни рассматривались явления национальной психологии, они не сводимы к какой-либо одной своей стороне — национально-специфической, классовой или общечеловеческой, отражающей внутренние или внешние связи того или другого народа, являя собой их диалектическое единство.

2. Элементы национальной психологии, взятые сами по себе, не всегда достаточно осознаны. Представления, складывающиеся на этом уровне, не систематизированы в той степени, которая характерна для идеологии. Поэтому национальной психологии, как и общественной психологии,

психологии вообще, свойственны известная нечеткость, вызванная эмпирическим характером отражения реальности, незавершенность форм отражения. Этим в какой-то мере может быть объяснено представление о так называемой неуловимости национально-психологических особенностей людей. По сравнению с другими признаками нации — общности экономической жизни, территории, языка, национального самосознания — специфика национальной психологии менее определена ввиду нечеткости и изменчивости форм выражения, условности восприятия многих ее составляемых. Так как элементы национальной психологии тесно переплетены с различными социально-психологическими состояниями людей, они нелегко поддаются научной систематизации и теоретическому обобщению. На трудности исследования, связанные с динамическим характером конкретных национально-психологических проявлений, обратил внимание Ю. В. Бромлей: «Относительно быстрая смена, чередование действий и поступков существенно затрудняют их сравнение с аналогичными явлениями в других этносах, без чего, как мы знаем, вообще невозможно выявление этнической специфики. К тому же специфические черты психики далеко не всегда реализуются сразу, они обычно проявляются одновременно, разрозненно»¹.

Трудности познания специфики национально-психологических явлений вызывают значительные разноречия в подходе и определении многих сторон национальной психологии, национального характера — от прямого отрицания реальности последнего до привнесения в его анализ стереотипов обыденного сознания.

Раскрытие реального содержания проблем национальной психологии и механизмов ее функционирования не является, разумеется, неразрешимой задачей. Но путь к ее решению, естественно, не должен ограничиваться умозрительными рассуждениями и спорами по терминологическим вопросам, хотя, несомненно, понятийно-терминологическая четкость является необходимой предпосылкой исследования столь сложных проблем. Нам представляется, что для строго научной разработки реальных проблем национальной психологии необходимо широкое применение средств этнопсихологических исследований. Особое место национальной психологии в системе общественно-психологических явлений, сложнейшее сочетание разнородных элементов, составляющих в комплексе единое и многоликое явление национальной психологии, вызывают необходимость специального подхода к их исследованию, основанного на специально разработанных принципах и методах анализа, сравнения и обобщения. Такой подход, направленный на изучение национальной психологии конкретных народов, может и должен быть осуществлен путем развития этнопсихологии как самостоятельной научной дисциплины, действующей на стыке ряда отраслей знания — социологии, психологии, этнографии, философии.

При этом следует исходить из того, что философско-социологический подход к национально-психологической проблематике не должен подменять собой этнопсихологические исследования, равно как описание психологических особенностей, характеризующих другой народ, без глубоких теоретических обобщений не дает возможности сформировать строго научные представления о природе, реальном содержании, структуре и формах проявления национальной психологии, истоков ее специфики и устойчивости. Философско-социологический подход, опирающийся на марксистско-ленинскую методологию, направлен на определение основных качественных и структурных параметров национальной психологии, общих тенденций и закономерностей ее развития; при этом особое методологическое значение с точки зрения раскрытия природы национальной психологии имеет корреляция множества разнорядковых, разнородных качественных детерминантов национально-психологических явлений и процессов. Что же касается этнопсихологических исследований, то их задача, на наш взгляд, состоит в раскрытии содержания национально-

¹ Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973, с. 93.

психологических процессов в их реальных, конкретных групповых и индивидуальных проявлениях.

Особое значение для выяснения природы и особенностей функционирования национальной психологии имеет максимально полное соотношение национально-психологических явлений с различными сторонами социального бытия и духовной жизни людей, с важнейшими характеристиками социалистического образа жизни. Речь идет о выделении в многообразных явлениях общественно-психологической жизни факторов, порожденных обособленным бытием национальных общностей. В специальных исследованиях национальная психология вместе с тем должна рассматриваться в первую очередь как сторона, структурный элемент общественной психологии, подчиненный тенденциям и закономерностям последней и выступающей в качестве разновидности групповых форм общественной психологии.

Национальная психология представляет собой чувственно-эмоциональную сферу жизни национальной общности и выделяется в состав общественной психологии не какими-то особыми качествами или средствами отражения, а особенностями отражаемого объекта, т. е. той стороной общественной жизни, которая характеризуется фактами национального бытия и межнационального взаимодействия. Иначе говоря, сферу национальной психологии образуют чувства, переживания, привычки, обычаи, традиции, вкусы, установки и т. д., в которых отражены особенности национального бытия, национальной истории, интернациональные связи и взаимодействия.

Общенациональные черты психологии различных общественных групп, в которой доминирует влияние ведущих классов, закрепляются обычаями, привычкой, фиксируются в формах общественного сознания, в различных традициях. Они характеризуются особыми, относительно устойчивыми социально-психологическими состояниями, пронизывающими психологию составляющих данную общность классов, слоев, групп, индивидов. Значение специфики национальной психологии в методологическом плане мы видим как раз в той функции, которую она выполняет по отношению к национальной общности: обеспечение устойчивости, целостности последней, укрепление социальных нитей, привязывающих личность к данной общности.

Из этого следует, что своеобразие национальной психологии не может быть понято вне исследования природы устойчивости этнических образований, взаимоотношения этноса и личности и т. д. Национальная психология с помощью свойственного ей арсенала средств выражает общезначимые особенности экономических, социальных, политических, культурных и тому подобных условий национального развития. Кроме того, в своеобразии национальной психологии так или иначе отражены особенности демографических, экологических, природно-климатических факторов национальной жизни. Здесь, кстати, заключена одна из сложнейших задач познания предмета — выяснение реальных механизмов трансформации специфических политических, социально-экономических, естественно-исторических, культурно-идеологических и т. п. сторон национального бытия в чувственно-эмоциональную энергию национально-психологических процессов. С другой стороны, важное значение имеет разработка проблемы механизма «материализации» национально-психологических особенностей в культуре, духовных ценностях, произведениях литературы и искусства, в поведении людей, в различных формах общественной жизнедеятельности — в труде, социальной жизни, в политике, в быту и т. д.

Огромное значение в процессе отбора, шлифовки и закрепления национально-психологических черт имеет идеология господствующего класса. Именно идеология способствует упрочению «коллективной памяти» этнической общности, актуализации тех или иных сторон ее сохранения, кристаллизации основных граней национальной психологии. Но самые важные аспекты влияния идеологических факторов на национально-психологические явления обнаруживаются при рассмотрении

национальных потребностей и интересов, ценностных ориентаций и т. д., воение которых является в значительной мере продуктом деятельности составляющих национальную общность социальных и политических сил. В этом именно идеологическая деятельность выступает средством направленного воздействия тех или иных классов на общественно-психологические процессы.

Идеологические воздействия на национальную психологию должны, наш взгляд, учитываться в рамках более общей проблемы органической связи национальной психологии и культуры. Культура — важнейшая сфера «материализации» национальной психологии, она отражает психический склад этноса, его характер, способствуя одновременно их формированию и развитию. Систематическое изучение национальной психологии не может вестись вне рамок культуры. Это не значит, что знание национально-психологических особенностей следует ограничить только теми явлениями, в которых они объективированы. Известно, что далеко не вся психическая деятельность полностью и адекватно объективизируется в практике, в том числе в культуре, понимаемой в широком смысле. Поиск национально-психологических проявлений в объективированной сфере культуры (экстериорный аспект) должен сочетаться с исследованием национальных особенностей социально-психологической структуры личности — реальных носителей национального своеобразия (интериорный аспект). Но и в этом случае изучение национальных особенностей психики индивидов немислимо вне их внешних проявлений (например, поведенческий аспект). Поэтому абсолютизация перериорного аспекта национальных особенностей людей, отрицание значения внешнепредметной объективизации национально-психологических особенностей в еще большей мере затрудняют познание последних.

Имея в виду трудности изучения обсуждаемых вопросов, отметим междисциплинарную ценность культурологического подхода как к групповым, так и к индивидуально-личностным формам проявления национальной психологии. Как определенная система субстантивированной информации о социально-историческом опыте этнической общности культура сообщает известную устойчивость, социальную оформленность психологическим проявлениям. Люди, как известно, не рождаются со сложившимися чертами национального характера. Национально-психологические свойства подобно элементам культуры вообще передаются закрепляются лишь во внешнепредметной форме, посредством системы межпоколенной передачи опыта. Обеспечивая трансмиссию этноисторической информации в общественно-психологических формах, трансформируя национально-психологические факторы применительно к различным социальным средам, культура обнаруживает свою активную формирующую, детерминирующую роль по отношению к явлениям национальной психологии. Однако и национальная психология обладает относительной самостоятельностью существования и как активная сила проявляется в различных многообразных формах.

Детерминированная культурой национальная психология сама может служить почвой, на которой формируются специфические черты духовного облика членов национальной общности, их поведения и образа жизни. Особенности национальной психологии, национального характера обнаруживают себя именно в деятельности, в поведении, поступках людей. В этой связи важное значение имеет изучение тех стереотипизированных внешних проявлений психической деятельности, которые находят выражение в наборе традиционных, национально-своеобразных форм выражения эмоций, манеры поведения и т. п. Не преувеличивая значение внешних проявлений национально-психологического своеобразия, следует отметить, что они являются важным средством идентификации индивидов с данной этнической общностью. Это — конкретное проявление отчетливой выше этнической функции национальной психологии, направленной на внутреннее сплочение и внешнее отличие данной общности. Национально-психологические особенности выполняют подобную функцию благодаря тому, что в своих внешних проявлениях

они приобретают значение специфического знака или символа национальной принадлежности людей. Данные семиотики (этносемиотики) подтверждают знаковый характер национальных моментов общественной психологии.

Характеризуя особенности национальной психологии, исследователи придают особое значение специфике конкретных климатических и природно-географических условий, в которых протекает национальная жизнь. Несомненно, особенности окружающей природной среды являются одной из причин этнического сходства одних народов и различия других. Не подлежит сомнению, что многие стороны быта, культуры, психологии национально-специфичны именно благодаря своеобразию окружающей среды. Однако никак нельзя считать, что национально-психологические особенности непосредственно отражают природно-климатические условия. Природная среда отражается в психологии национально-этнической общности в той мере, в какой она осваивается общностью, подвергается ее культурному воздействию. Решающая роль принадлежит здесь, очевидно, производительным силам, накопленным данным народом, что предопределяет характер и масштабы его взаимодействия с окружающей естественной средой. При разработке этого аспекта связи национальной психологии с объективными условиями национальной жизни следует учитывать не только опосредующую роль экономических факторов, но и возрастающее значение таких исторических процессов и явлений, как урбанизация, научно-техническая революция, индустриализация сельскохозяйственного производства, законы, ведущие к значительному ослаблению непосредственного влияния природной среды на быт и образ жизни. Те особенности культуры и быта, которые были обязаны своим появлением определенным экологическим условиям, нередко приобретают или уже приобрели в наши дни значение исторической традиции.

3. Для понимания природы и реальных проявлений национальной психологии принципиальное значение имеют выявление ее структуры и анализ образующих ее элементов. Опираясь на общие принципы социальной психологии и учитывая выдвигаемые в литературе структурные характеристики национальной психологии², можно в порядке обобщения выделить следующие группы социально-психологических факторов в совокупности образующих национальную психологию и дающих представление о ее структуре: а) национальные интересы и потребности; б) национальные установки, ценностные ориентации; в) психический склад нации; г) национальные чувства и настроения.

Национальные интересы и потребности, установки и ценностные ориентации выражают динамический аспект национальной психологии, факторы играют в национальной психологии структурообразующую роль, определяют содержание и направленность процессов, характеризующих факторы второй и третьей группы. Именно всестороннее исследование национальных интересов и потребностей, ценностных ориентаций и их классовых детерминант позволяет создать необходимую теоретико-методологическую платформу, на основе которой может быть разработана целостная, строго научная концепция национальной психологии, свободная от стереотипов обыденного сознания. Воздействие факторов социально-экономических и культурно-идеологических факторов на психический склад нации, национальные чувства, настроения осуществляется в первую очередь через интересы и потребности, в знании которых активная роль принадлежит идейно-политическим движениям и устремлениям различных классов. Национальные интересы находят свое прямое и опосредованное, осознанное либо бессознательное выражение в национальных чувствах, настроениях, установках. Именно в особенностях национальных интересов (тем или иным образом понятых людьми) находят свое объяснение те стороны национа-

² Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях. М.: Политиздат, 1980, с. 35—36; Андреева Г. М. Социальная психология. М.: Изд-во МГУ, 1980, с. 211.

психологии, в которых выражается отношение данного народа к и другим народам, национальные стереотипы и автостереотипы, сценки, определенные эмоциональные состояния.

зависимости от той или иной установки представления народов о и о других могут значительно расходиться. Подобное несоответствие связано с избирательностью отражения реальности, приближенным характером этнических стереотипов и автостереотипов, а также, что в этих представлениях фиксированы не только определенные черты, но и выражено определенное эмоциональное отношение к. Эмоциональность доминирует и во многих оценках: преувеличиваются и абсолютизируются собственные достоинства, тогда как нередко те черты, которые высоко котируются в автостереотипе, негативно оцениваются в этнических стереотипах³. К этому необходимо добавить, что или иные оценки как и не критическое восприятие этнических стереотипов должны быть исследованы в тесной связи с реальными социальными и экономическими интересами конкретных социальных групп конкретных национальностей. Эта проблема, как и другие социально-психологические аспекты национальных отношений, заслуживает гораздо большего внимания со стороны исследователей.

Указанное относится и к явлению этноцентризма, — едва затронутой теме исследования. В качестве социально-психологического феномена этноцентризм представляет собой установку на определенное восприятие инонационального. Специфика группового сознания такова, что мнения и факты, воспринимаемые извне, так или иначе соотносятся с нормами и традициями данной общности. Независимо от своей численности этнического статуса и политического положения общность, осознавая свою обособленность, относится к окружающим народам, «исходя из самой себя». То же свойственно, видимо, и индивидуальному сознанию. На уровне же массового сознания этноцентризм сводится к совокупности «иррациональных представлений о собственной этнической общности как о центре, вокруг которого группируются все остальные»⁴. Именно этноцентризм определяют как склонность относиться, рассматривать, воспринимать инонациональные явления и факты сквозь призму традиций собственной культуры⁵. Само по себе это еще не предопределяет направленности неизбежно совершаемых сравнений; ведущая роль принадлежит здесь классовым установкам, реальной общественно-политической ситуации, диктующим определенные, часто однозначные оценки. Более того, инонациональное не может быть воспринято без изначального соотнесения с аналогичным национальным уже в силу того, что люди, воспитанные на определенных национальных ценностях и традициях, руководствуются ими как некоторыми нормами отношений и поведения. Отсюда неизбежность сравнений, а также естественность почтительного отношения к собственному, национальному. Давно замечено, что приверженность (по принадлежности) к определенному порядку и образу жизни рождает предпочтительное отношение к. «Капуста, которую мы вырастили на своей собственной земле, кажется нам более вкусной, чем капуста из чужого огорода. Не потому, что действительно лучше, — боже упаси! А только потому, что мы сами ее сажали и она выросла под нашими благословляющими взорами»⁶. Приверженность к особенностям национальной жизни своей группы придает национальные традиции в некотором роде исходные мерки, с помощью которых оцениваются жизнь и традиции народов. Еще Мон-

См. Кон И. С. Национальный характер — миф или реальность? — Иностранная литература, 1968, № 8.

Современное революционное движение и национализм. М.: Политиздат, 1973. «Эти представления являются психологическими образованиями массового сознания в виде конкретизированных упрощенных образов своего народа, щедро наделенных положительными чертами в количествах, которые намного превосходят аналогичные черты в представлениях о других народах» (там же).

См. Кон И. С. Психология предрассудка. — Новый мир, 1966, № 9, с. 189.

Фейербах Л. История философии. М.: Мысль, 1967, т. 1, с. 433.

тель заметил, что «мнения и обычаи нашей страны служат нам мерой истинного и разумного»⁷.

Этноцентризм содержит возможность абсолютизации национальности. Он не существует в чистом виде, и это необходимо подчеркнуть. Нет самостоятельного значения и статуса, этноцентризм проявляется в смеси национальных чувств, представлений, оценок, содержание и характер которых в конечном счете обусловлены классовыми интересами.

Этноцентризм, на наш взгляд, — это еще не национальный эгоизм, он может стать им в случае обострения внутренних и внешних противоречий, столкновения интересов социальных групп различных национальностей. Когда националистическая идеология и психология берут на вооружение этноцентризм, он становится препятствием на пути международного общения. Именно в этом случае этноцентризм проявляется в принятии важных политических решений без должного учета интересов других народов⁸.

Следовательно, при исследовании сущности этноцентризма необходимо в первую очередь учитывать, в системе взглядов и психологии какого конкретного общественного класса, группы проявляется склонность воспринимать и оценивать явления и факты национальной жизни других народов через призму традиций собственной национальности.

Психический склад представляет собой наиболее устойчивую, во многом консервативную сторону национальной психологии. Это сложная организованная экспрессивная система психических элементов, характеризующихся широкой вариабельностью и одновременно инвариантностью в изменяющемся многообразии психической жизни людей⁹. Психический склад нередко отождествляется с национальным характером. Это однопорядковые понятия. Однако если иметь в виду, что в психическом складе объединены все устойчивые свойства психики, то при социальном подходе к термину «характер» обнаруживается, что он не психического склада. Это дает основание для рассмотрения национального характера в качестве структурного элемента психического склада национальной общности. При таком подходе психический склад следует рассматривать как исторически складывающуюся совокупность национального характера, своеобразных черт социального темперамента, психологической стороны традиций и обычаев, вкусов, привычек, эмоционально-психологических реакций.

Выделяя в структуре психологического склада национальный характер, важно установить такой подход к его изучению, который исключит отождествление характерологических свойств отдельного человека массово-психологическими свойствами и состояниями этноса, выражающими национальный характер того или иного народа. Хотя национальный характер и включает те устойчивые психологические черты, которые образуют характер отдельного человека, но лишь к последнему не свести национальный характер. Национальный характер в психологических свойствах отдельного человека обнаруживается как момент этнического своеобразия, указывающий на его связь с соответствующей общностью. В применении к личности это исторически вырабатываемый набор определенных форм выражения психических свойств и сочетаний придающих своеобразную окраску поведению и реакциям представителей различных национальных общностей.

Речь идет здесь о том, что основными, несущими конструкциями национального характера являются исторически формирующиеся, традиционные, своеобразные, массово-психологические и т. д. свойства. С этой точки зрения, специфика национального характера того или иного народа заключается не в каких-то неповторимых характерологических

⁷ Монтень. Опыты. Кн. 1. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1954, с. 265.

⁸ Современное революционное движение и национализм, с. 116.

⁹ Об инвариантности как проявлениях устойчивости психологического склада см.: Горячева А. И. О некоторых категориях социальной психологии (к вопросу о структуре общественной психологии).— В кн.: Проблемы общественной психологии. Мысль, 1965.

чертах, а скорее в неповторимом их сочетании, воплощенном в исторических традициях, предписывающих определенные формы реакций и поведения, усваиваемые индивидуумами в ходе социализации. Выяснение природы национально-психологических особенностей людей путем поиска особых, неповторимых характерологических, морально-психологических, волевых и т. п. черт, различающих представителей разных национальностей, не представляется нам плодотворным. Черты человеческого характера проявляются в таких, например, свойствах, как трудолюбие, доброты, храбрость, организованность и т. д. Значит ли это, что различия между нациями следует искать в том, насколько одна храбрее, трудолюбивее или добрее другой? Подобный подход не только не помогает раскрыть характер народа, но может вообще увести в сторону от научных принципов социального познания. Речь здесь должна идти о стереотипизации своеобразия форм проявления черт человеческого характера.

Разумеется, черты национального характера в своих конкретных проявлениях выражают определенные морально-волевые качества людей. Но это не просто сумма характерологических черт, а их внутреннее скоррелированное единство, традиционно оформленное и определенным образом ориентированное, а главное — обусловленное исторически конкретным этапом общественного развития данного народа.

При таком подходе в исследовании национального характера можно выделить два аспекта. Это, во-первых, изучение своеобразия форм проявления тех или иных качеств (например, трудолюбия, гостеприимства и т. п.), отвечающего особенностям уклада жизни данного народа, а во-вторых, это выявление своеобразия самих свойств характера, обусловленное реальными особенностями социально-экономического, политического и т. д. развития нации, ее этнодемографического положения, природно-географических условий, взаимоотношений с окружающими народами. В обоих аспектах различия в национальных характерах народов исторически обусловлены и «историчны». Следует отметить, что национально-психологические особенности народов обнаруживаются нередко как их различия и в частных проявлениях (аккуратность, гостеприимство) и в общих чертах характера (отношение к труду, организованность, целеустремленность и т. п.¹⁰). Эти последние особенности прямо обусловлены уровнем общественного развития данного этноса и реальной социально-этнической, политической и т. д. ситуацией. Необходимо подчеркнуть, что имеющие место различия в проявлении таких волевых качеств, как решительность, убежденность, настойчивость, инициативность или, скажем, отношение к другим видам деятельности, связаны не с генетически заложенными особенностями народов, а с их социально-экономической и политической историей, уровнем и традициями культуры, выражающими характер конкретных обстоятельств. Поэтому заключенные в национальном характере особенности относительно; выражаясь в массовых, типичных для данной среды и на данном историческом отрезке времени общественно-психологических, моральных, волевых чертах, они — эти особенности — могут (опять же по-своему) сформироваться в другое время, но при сходных обстоятельствах и в характере другого народа.

Конкретные социально-исторические обстоятельства национального бытия, отраженные в системе наиболее общих потребностей, интересов, ценностных ориентаций, установок, представлений, идеалов, придают составляющим этой системы значение непосредственных детерминантов особенностей национального характера, его направленности. Известная общность условий жизни и жизненных проблем посредством определенной системы побуждений рождает некоторую общность черт характера, которая, разумеется, не остается неизменной. «Одни и те же условия, одна и та же противоположность, одни и те же интересы должны были в общем повсюду создать также одни и те же нравы»¹¹. Причем, — это

¹⁰ См. Бромлей Ю. В. Этнос и эндогамия. — Сов. этнография, 1969, № 6, с. 82.

¹¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 53.

национально-психологические различия народов отражают не только объективные и субъективные различия в реальной жизни, но также разновременность одних и тех же общесоциальных процессов, протекающих в недрах этносоциальных организмов сообразно с их объективными внутренними особенностями. Другими словами, в национально-психологической специфике, в национальном характере проявляются те объективно-реальные особенности национального бытия, которые вытекают из несоответствия уровней общественного развития народов, неравномерности их исторического движения. Результатом этих объективно-исторических различий становится преобладание в национальном характере тех или иных народов черт и установок, порожденных данной социально-политической ситуацией и отражающих различную степень актуальности конкретных проблем общественного развития, реальное состояние данных национальных, межэтнических отношений и т. п.

Доминантой национального характера являются свойства членов национальной общности, которые наиболее адекватно отражают внутренние и внешние условия жизни этноса, национальные интересы и ценностные ориентации в определенной исторической ситуации. Черты и свойства национального характера постольку приобретают устойчивость, поскольку в них находят отклик те или иные реальные потребности национальной жизни в исторически изменяющихся условиях общественного развития. Опыт народов СССР свидетельствует, что революционные, социалистические преобразования условий общественной жизни закономерно вызывают коренные изменения в характере всех наций и народностей страны, у ранее угнетенных народов изживаются черты, связанные с эксплуататорским прошлым (инертность, забитость, замкнутость, эгоизм и т. п.), преобразуются другие черты, связанные с народной жизнью (отношение к труду, отношение между личностью и коллективом и т. п.), возникают и утверждаются новые черты, обусловленные социалистическим общественным устройством.

В социалистическом национальном сознании у народов СССР выражается единство их социальных и духовных устремлений; под воздействием марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма национальное сознание поднимается до высокого теоретического уровня, до адекватного осознания тех глубинных процессов, которые определяют прогрессивное развитие данной нации в единстве с другими нациями, осознания интернациональных перспектив общественного развития. В структуре социалистического национального сознания чувство национальной обособленности уже не играет главной роли, а в первую очередь в него входят сознание и чувства интернационального единства равноправных народов.

Итак, национальная психология представляет собой структурно-динамическое единство волевых, морально-психологических, социально-эмоциональных моментов, своеобразное сочетание которых придает национальную окрашенность устойчивым элементам психики. Содержащаяся в них историко-этническая информация, сгущаясь, приобретает качество направленной программы национально-своеобразного мироощущения и реагирования на события и явления жизни. В известном смысле, продолжением, реализацией, эмоциональным выражением психического склада, национального характера являются национальные чувства, переживания, настроения, которые одновременно в них закрепляются и кристаллизуются. В основе этих процессов лежат, как уже указывалось, реальные социально-экономические и политические интересы людей. Проявляясь как «мотив эмоциональной реакции на явления национальной жизни»¹², национальные чувства выражают отношение данной социально-этнической общности к собственному бытию и межнациональному взаимодействию. Эмоциональная сторона национальной пси-

¹² Джунусов М. С. Актуальные вопросы теории и практики социалистического интернационализма. М.: Знание, 1968, с. 26.

бгни по сравнению с психическим складом более непосредственно отражает национальную жизнь во всем ее многообразии; отражает попытку, поскольку осознается актуальность отражаемого, переживаемого события, исторического явления, момента.

Те или иные потребности национального бытия, зафиксированные в нации на уровне национальной психологии, выражаются в первую очередь в национальных чувствах, т. е. в чувстве самобытия нации, соподлежности к ней ее членов, чувстве родной земли, языка, национального достоинства и гордости, дружбы к другим народам, в чувстве национальной ответственности и интернационального долга. Возникающие и формирующиеся на основе жизненных потребностей национальные интересы посредством национальных чувств отражают то или иное течение межнациональных отношений.

Национальные чувства многогранны, в них можно выделить политические, нравственные, эстетические моменты. Национальные чувства и настроения характерны своей массовостью; в большей или меньшей степени они свойственны всем слоям общества. Главной чертой, стержнем основных чувств является патриотизм, содержащий целый комплекс национально-нравственных характеристик — любовь, гордость, энтузиазм, уважение, преданность, порыв, готовность к выполнению требований и т. п., сгруппированных вокруг идеи Родины, родного народа, родной земли, т. е. вокруг национального самосознания, кристаллизованного на общественно-психологическом уровне в чувстве «мы». Наиболее развитым среди национальных чувств является национальная гордость; характерные для нее морально-психологические черты — самолюбие, национальное достоинство, сознание своего исторического вклада, приверженность к национальным ценностям. Значение этих чувств определяется тем, что сам факт их формирования есть показатель высокого уровня консолидированности нации, зрелости ее основных социально-этнических характеристик, ибо национальная гордость является выражением жизнеспособности данной национальной общности; она порождает социально-психологически оформленное стремление к саморазвитию. Национальная гордость играет особую роль в росте и развитии национального самосознания, создавая питательную почву для него и одновременно находя в нем опору. Свое наиболее полное и яркое воплощение национальное самосознание получает в чувстве национальной гордости, которое в свою очередь придает национальному самосознанию динамический характер.

В развитом социалистическом обществе культурно-бытовая, социально-психологическая специфика различных национальностей — реальность, отражающаяся в сознании, поведении и образе жизни людей. Индивидуальные социальные и интернациональные процессы, происходящие в нашем обществе, способствуют все более гармоничному соединению и взаимовлиянию нравственных, духовных ценностей народов, способствуют прогрессивным национальным особенностям, рождению, развитию и закреплению в образе жизни общесоветских традиций, их черт характера и поведения людей.

Жизнь показывает, что экономический и культурный прогресс всех народов и народностей сопровождается неизбежно ростом их национального самосознания. Это — закономерный процесс. Важно, однако, чтобы национальная гордость за достигнутые успехи не превращалась в национальную кичливость или зазнайство, не порождала тенденции к обособленности, неуважительного отношения к другим нациям и народностям.¹³

Поэтому партия последовательно выступает как против игнорирования, так и против выпячивания национальных особенностей и ценностей. «Мы против тенденций, направленных на искусственное стирание национальных особенностей, — подчеркнул XXVI съезд КПСС. — Но в той же мере мы считаем недопустимым искусственное их раздува-

■ Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР. Доклад на торжественном заседании, посвященном 60-летию Союза ССР. — Правда, 22 декабря 1982 г.

...важно подчеркнуть, — национально-психологические различия народов отражают не только объективные и субъективные различия в реальной жизни, но также разновременность одних общенациональных социальных процессов, протекающих в недрах этносоциальных организмов сообразно с их объективными внутренними особенностями. Другими словами, в национально-психологической специфике, в национальном характере проявляются те объективно-реальные особенности национального бытия, которые вытекают из несовпадения уровней общественного развития народов, неравномерности их исторического движения. Результатом этих объективно-исторических различий становится преобладание в национальном характере тех или иных народов черт и установок, порожденных данной социально-политической ситуацией и отражающих различную степень актуальности конкретных проблем общественного развития, реальное состояние данных национальных, межэтнических отношений и т. п.

Доминантой национального характера являются свойства членов национальной общности, которые наиболее адекватно отражают внутренние и внешние условия жизни этноса, национальные интересы и ценностные ориентации в определенной исторической ситуации. Черты и свойства национального характера постольку приобретают устойчивость, поскольку в них находят отклик те или иные реальные потребности национальной жизни в исторически изменяющихся условиях общественного развития. Опыт народов СССР свидетельствует, что революционные, социалистические преобразования условий общественной жизни закономерно вызывают коренные изменения в характере всех наций и народностей страны, у ранее угнетенных народов изживаются черты, связанные с эксплуататорским прошлым (инертность, забитость, замкнутость, эгоизм и т. п.), преобразуются другие черты, связанные с народной жизнью (отношение к труду, отношение между личностью и коллективом и т. п.), возникают и утверждаются новые черты, обусловленные социалистическим общественным устройством.

В социалистическом национальном сознании у народов СССР выражается единство их социальных и духовных устремлений; под воздействием марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма национальное сознание поднимается до высокого теоретического уровня, до адекватного осознания тех глубоких процессов, которые определяют прогрессивное развитие данной нации в единстве с другими нациями, осознания интернациональных перспектив общественного развития. В структуре социалистического национального сознания чувство национальной обособленности уже не играет главной роли, а в первую очередь в него входят сознание и чувства интернационального единства равноправных народов.

Итак, национальная психология представляет собой структурно-динамическое единство волевых, морально-психологических, социально-эмоциональных моментов, своеобразное сочетание которых придает национальную окрашенность устойчивым элементам психики. Содержащаяся в них историко-этническая информация, сгущаясь, приобретает качество направленной программы национально-своеобразного мироощущения и реагирования на события и явления жизни. В известном смысле, продолжением, реализацией, эмоциональным выражением психического склада, национального характера являются национальные чувства, переживания, настроения, которые одновременно в них закрепляются и кристаллизуются. В основе этих процессов лежат, как уже указывалось, реальные социально-экономические и политические интересы людей. Проявляясь как «мотив эмоциональной реакции на явления национальной жизни»¹², национальные чувства выражают отношение данной социально-этнической общности к собственному бытию и межнациональному взаимодействию. Эмоциональная сторона национальной пси-

¹² Джунусов М. С. Актуальные вопросы теории и практики социалистического интернационализма. М.: Знание, 1968, с. 26.

Они по сравнению с психическим складом более непосредственно отражают национальную жизнь во всем ее многообразии; отражает попытку, поскольку осознается актуальность отражаемого, переживаемого события, исторического явления, момента.

Те или иные потребности национального бытия, зафиксированные в жизни на уровне национальной психологии, выражаются в первую очередь в национальных чувствах, т. е. в чувстве самобытия нации, сопринадлежности к ней ее членов, чувстве родной земли, языка, национального достоинства и гордости, дружбы к другим народам, в чувстве национальной ответственности и интернационального долга. Возникающие и формирующиеся на основе жизненных потребностей национальные интересы посредством национальных чувств отражают то или иное понимание межнациональных отношений.

Национальные чувства многогранны, в них можно выделить политические, нравственные, эстетические моменты. Национальные чувства и настроения характерны своей массовостью; в большей или меньшей степени они свойственны всем слоям общества. Главной чертой, стержнем общих чувств является патриотизм, содержащий целый комплекс национально-нравственных характеристик — любовь, гордость, энтузиазм, уважение, преданность, порыв, готовность к выполнению требований долга и т. п., сгруппированных вокруг идеи Родины, родного народа, родной земли, т. е. вокруг национального самосознания, кристаллизованного на общественно-психологическом уровне в чувстве «мы». Наиболее развитым среди национальных чувств является национальная гордость; характерные для нее морально-психологические черты — самолюбие, национальное достоинство, сознание своего исторического вклада, приверженность к национальным ценностям. Значение этих чувств определяется тем, что сам факт их формирования есть показатель высокого уровня консолидированности нации, зрелости ее основных социально-этнических характеристик, ибо национальная гордость является выражением жизнеспособности данной национальной общности; она придает социально-психологически оформленное стремление к саморазвитию. Национальная гордость играет особую роль в росте и развитии национального самосознания, создавая питательную почву для него и одновременно находя в нем опору. Свое наиболее полное и конкретное воплощение национальное самосознание получает в чувстве национальной гордости, которое в свою очередь придает национальному самосознанию динамический характер.

В развитом социалистическом обществе культурно-бытовая, социально-психологическая специфика различных национальностей — реальность, отражающаяся в сознании, поведении и образе жизни людей. Интенсивные социальные и интернациональные процессы, происходящие в нашем обществе, способствуют все более гармоничному соединению и взаимовлиянию нравственных, духовных ценностей народов, укреплению прогрессивных национальных особенностей, рождению, развитию и закреплению в образе жизни общесоветских традиций, их черт характера и поведения людей.

Жизнь показывает, что экономический и культурный прогресс всех народов и народностей сопровождается неизбежно ростом их национального самосознания. Это — закономерный процесс. Важно, однако, чтобы национальная гордость за достигнутые успехи не превращалась в национальную кичливость или зазнайство, не порождала тенденции к обособленности, неуважительного отношения к другим нациям и народностям.¹³

Поэтому партия последовательно выступает как против игнорирования, так и против выпячивания национальных особенностей и ценностей. «Мы против тенденций, направленных на искусственное стирание национальных особенностей, — подчеркнул XXVI съезд КПСС. — Но в той же мере мы считаем недопустимым искусственное их раздува-

Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР. Доклад на торжественном заседании, посвященном 60-летию Союза ССР. — Правда, 22 декабря 1982 г.

ние»¹⁴. Ленинская партия во всей своей практической деятельности следовательно сочетает уважительное отношение к национальным чувствам, национальному достоинству каждого человека с бескомпромиссной борьбой против таких чуждых природе социализма проявлений, как шовинизм или национализм, против любых националистических вихров. Партия решительно выступает, как и завещал великий Лепро, против национальной узости, замкнутости, обособленности, против национального эгоизма и кичливости, которые проявляются иной раз в местнических тенденциях, попытках воспева, патриархальщины, классовом подходе к оценке исторических событий и т. п. Непримиримое отношение к любым, чуждым интернационализму явлениям, беспримисная борьба с ними — одно из важных направлений совершенствования национальной психологии, укрепления дружбы и братства народов СССР, формирования нового человека.

Руководствуясь указанием Ленина о подчинении «интересов частных интересам общего», партия особое значение придает интернациональному воспитанию советских людей. «Священный долг партии — воспитывать трудящихся в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма, гордого чувства принадлежности к единой великой Советской Родине»¹⁵.

Возникновение единого патриотического чувства всего нашего народа представляет собой важный идейно-политический и эмоционально-нравственный результат взаимосвязанного, взаимообогащающего развития общественного сознания, психологии, культуры социалистических наций и народностей, сплотившихся в новую историческую общность людей и объединенных общими задачами коммунистического строительства. Изучение генезиса, содержания и перспектив развития общенациональной гордости советского человека, разработка связанных с ней практических, воспитательных задач представляют собой комплексную проблему марксистско-ленинской теории национальных отношений.

В заключение вновь отметим, что национальная психология представляет собой структурно-динамическое единство волевых, морально-психологических, социально-эмоциональных моментов, своеобразное сочетание которых придает национальную окрашенность устойчивым элементам психики. Содержащаяся в них историко-этническая информация, приобретающая качество направленной программы национальной жизнедеятельности, приобретает характер реакции на события и явления жизни. В известном смысле национальные чувства, переживания, настроения являются как бы продолжением, реализацией, эмоциональным выражением психического склада, национального характера, одномоментно в них закрепляясь и кристаллизуясь. В основе этих процессов лежат, как уже указывалось, реальные социально-экономические и политические интересы людей.

¹⁴ Материалы XXVI съезда КПСС, с. 57.

¹⁵ Там же.

В. И. Козлов

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Статья А. Ф. Дашдамирова — основательный повод для обсуждения ситуации, сложившейся в области этнической психологии и возможностей развития этой научной дисциплины. Сама статья выполнена в философском плане и в целом отличается своей многогранностью и глубиной. Ее философской направленностью обусловлено и то, что она

тельство, что в ней почти нет фактического материала, конкретных примеров; достаточно сказать, что автор не привел в ней ни одного этнонима. Полагаю, что этнографы дополняют его конкретным материалом и переходят к существу дела.

Как я помню, вопросы этнической психологии поднимаются уже не в первый раз, и каждый раз раздавались призывы к развитию исследований в области этой важной, интересной, но тем не менее отстающей научной дисциплины. К сожалению, обычно такими призывами дело и ограничивалось. Проходило несколько лет, и мы вновь начинали разговор об этнической психологии примерно с тех же исходных позиций. Правда, за последние годы, отчасти благодаря усилиям некоторых этносоциологов, и в первую очередь исследованиям Л. М. Дробижевой, работа в этом направлении несколько продвинулась, но она касается лишь сравнительно небольшой пограничной зоны этнической психологии. Основные разделы ее еще ждут своих исследователей. И нам вряд ли удастся сдвинуть с места, так сказать, этнопсихологический «воз», если мы не найдем ответа на несколько важных вопросов, и прежде всего на вопрос о том, что же именно затрудняет развитие этнопсихологии, в чем же заключаются те трудности, которые нам необходимо как-то преодолеть?

Одной из главных причин отставания этнической психологии является слабое внимание, уделяемое ей собственно психологами, в том числе и специалистами в области социальной психологии, частью которой она является. Можно спорить, конечно, о том, кто должен играть ведущую роль в разработке этой стыковой дисциплины — этнографы или психологи, но ясно, что только участие психологов может обеспечить здесь должный уровень профессионализма. Между тем в опубликованных у нас за последние годы обобщающих работах по социальной психологии (на некоторых из них я останавлиюсь далее) проблемы этнической психологии рассмотрены неполно, да и поверхностно. При этом на первый план в них чаще всего выдвигается проблема определения и изучения общности психического склада или «национального характера» как одного из основных якобы признаков нации. Автор одной из последних крупных работ этого типа Г. М. Андреева отметила, что в «марксистской традиции проблемы этнической психологии разрабатываются в свете учения о нации»¹. Следует заметить, что здесь вряд ли уместно говорить о традиции, тем более что такая тенденция определилась в основном в конце 1940-х годов в результате распространения в общественных науках некоторых догматических положений. А между тем именно она во многом затормозила развитие исследований по этнической психологии. Остановлюсь на этом подробнее.

Дискуссии по научному определению понятия «нация», проведенные в 1960-х годах, и начавшаяся в это время разработка теории этноса показали, что попытка возвести в ранг основного признака нации общность психического склада или «национальный характер», впервые предпринятая еще О. Бауэром, лишена достаточных оснований. То же самое относится и к определению этноса. Ведь общность психического склада, как, например, и общность языка, предполагает однообразие. Между тем многие народы и особенно крупные нации состоят из различных классово-профессиональных, регионально-этнографических, поло-возрастных и других групп, которые имеют настолько различные особенности психики, что говорить об общности их психического склада, о каком-то «национальном характере» можно лишь очень условно. Мне уже приходилось подробно аргументировать сделанный вывод², поэтому ограничусь лишь двумя ссылками. С. А. Токарев, открывший дискуссию по научному определению понятия «этнос», отметил, что привлечение признака «психического склада» или «национального характера» для определения этого понятия «кроме путаницы, ничего не вносит»³. И. С. Кон, на

¹ Андреева Г. М. Социальная психология. М.: МГУ, 1980, с. 219.

² См. Козлов В. И., Шелепов Г. В. «Национальный характер» и проблемы его исследования. — Сов. этнография, 1973, № 2.

³ Токарев С. А. Проблема типов этнических общностей. — Вопросы философии, 1964, № 11.

редко ссылаются в психологических работах как на автора признающего «национальный характер», даже включив в заглавие одной из своих статей прямой вопрос — «Национальный характер — миф или реальность?», в конце статьи оставил его, по существу, открытым, ответив уклончиво: «Мне кажется — и то и другое»⁴.

Достигнутый за несколько десятилетий «прогресс» в методологии исследования общности психического склада или «национального характера» свелся главным образом к тому, что многие авторы стали считать психический склад более широким понятием, чем считавшийся ранее тождественным ему «национальный характер». Четкого определения того и другого так и не было дано. В упомянутой книге Г. М. Андреевой понятие общности психического склада нации вообще не рассматривается, в другой недавно вышедшей работе по социальной психологии оно дано очень расплывчато. «Национальный психический склад, — говорится в ней, — включает национальный характер, национальное самосознание, привычки, вкусы, традиции и связанные с национальными чувствами национальную культуру, быт, национальную гордость и национальные стереотипы, отношение к другим нациям и народностям и т. п.»⁵. Бросается в глаза неправомерность включения в психический склад таких достаточно самостоятельных явлений, как культура и быт, изучением которых занимается не психология, а этнография. Неоправданно и включение в понятие национального «психологического склада» и национального самосознания, которое является важным самостоятельным признаком нации (и шире — этноса)⁶; реально оно проявляется в этнической самоидентификации, т. е. в установках типа «я — русский» или, например, «я — узбек», которые сами по себе, конечно, не характеризуют особенности психики того или иного человека или группы и являются лишь своего рода фоном, на котором могут выступать такие особенности. Если же исключить из приведенного определения «национального психического склада» все неоправданно включенные в него компоненты, то он в значительной степени сведется опять-таки к «национальному характеру», сущность которого и здесь осталась не раскрытой.

Таким образом, как психологи, так и этнографы оказались в тяжелом положении: перед ними стояла очень трудная задача по исследованию общности «психического склада» или «национального характера» у конкретных народов, но существо предмета исследования не определялось и, более того, само его наличие оказывалось проблематичным. Уже одно это могло отбить желание браться за решение подобной «сверхзадачи». Более «смелыми» оказались некоторые философы, однако их попытки доказать существование общности психического склада у конкретных народов часто сводились к ссылкам на бытующие психические стереотипы вроде «аккуратности» немцев, «музыкальности» итальянцев или «темпераментности» испанцев. В научном отношении такие попытки были легковесными; они легко опровергались ссылками на другие народы, которые также «музыкальны» или «темпераментны». В конечном итоге они не только лишней раз компрометировали указанную «сверхзадачу», но и как бы ставили под сомнение существование этнической психологии.

В литературе уже отмечалось, что правильнее предполагать не существование общности психического склада нации (этноса) или национального (этнического) характера, а существование некоторых этнических особенностей психики, отражающихся в специфике психической структуры того или иного народа. И. С. Кон пишет: «Раскрыть психологию, характер народа — значит раскрыть его наиболее значимые социально-психологические черты. Но ни одна из этих черт, взятая в отдельности, не является и не может быть абсолютно уникальной. Какое бы конкрет-

⁴ Кон И. С. Национальный характер — миф или реальность? — Иностранная литература, 1968, № 9.

⁵ Социальная психология. История, теория, эмпирические исследования/Под ред. Кузьмина Е. С., Семенова В. Е. Л.: ЛГУ, 1979, с. 222.

⁶ См. Козлов В. И. Этническое самосознание и его место в теории этноса. — Сов. этнография, 1974, № 2.

ное качество, будь то темперамент или ценностная ориентация, мы ни взяли, оно никогда не будет уникальным. Уникальна *структура* психических особенностей нации... Сравнение как индивидов, так и народов проводится главным образом по *степени* выраженности у них тех или иных общих черт и качеств»⁷. Подобных взглядов придерживается и А. Ф. Дашдамиров, отмечающий своеобразие форм проявления у различных народов тех или иных черт человеческого характера (например, трудолюбия, доброты и др.).

Соглашаясь в принципе с такой постановкой вопроса, не могу не отметить, что и в ней скрывается проблема, которую опять-таки трудно решить. Психологи едва справляются с задачей определения характера отдельных людей, так как необходимо учесть все особенности их восприятий и их реакций на все возможные (действительные и воображаемые) обстоятельства и события; составить же полный психологический паспорт на крупный народ неизмеримо труднее. Поэтому в интересах развития этнопсихологических исследований и привлечения к ним специалистов-психологов необходимо более решительно признать ошибочность концентрации научных исследований вокруг общности психического склада (или «национального характера») как одного из основных якобы признаков нации. Внимание ученых целесообразно направить на изучение *отдельных* сторон психики у людей, образующих этносы, сознательно ограничивая себя решением наиболее актуальных или интересных конкретных задач.

Переходя к некоторым другим причинам, затрудняющим развитие этнопсихологических исследований, отмечу, что объектом их могут быть как этносы в целом или крупные их подразделения (этнографические группы и т. п.), так и составляющие их люди. Материалами для первого вида исследований могут служить сведения о традиционно бытующих обычаях и нравах изучаемого народа, а также его язык, фольклор, литература, искусство и другие компоненты культуры. Сбор и анализ подобных данных можно осуществить лишь при направленном поиске, а это требует предварительно сформулированных гипотез или ведущих идей. То же самое, впрочем, относится и к исследованиям второго вида, основанным на материалах массовых обследований при помощи различных анкет или психологических тестов. Сформулировать же такие рабочие гипотезы или ведущие идеи опять-таки довольно сложно. Об этом свидетельствует, в частности, опыт зарубежных этнопсихологических исследований, внешне более продвинутых по сравнению с нашими.

Основной материал по исследованиям первого вида дает этнография, поэтому не случайно активное участие в них за рубежом приняли этнографы; в американской этнографии, например, еще в 1930-х годах возникло даже особое «психологическое» направление⁸. А так как в большей части зарубежной психологии и психиатрии, к которым обратились этнографы, в то время господствовал фрейдизм, то и в основных этнопсихологических гипотезах отразились идеи З. Фрейда о либидо как самом могущественном факторе в человеческой жизни, о раннем детстве как о времени, когда под влиянием этого фактора формируется личность, а также о том, что грань между «нормальной» и «ненормальной» психикой весьма условна. Некоторые из работ американских этнопсихологов, например по изучению национального характера японцев, имеют прикладное значение (проводились по заданию военного ведомства), но, впрочем, скорее повышает, нежели понижает интерес к ним. Однако большинство работ в этом направлении оказались в научном отношении не удовлетворительными. Они нередко вели к абсурдным выводам. Кроме того, например, будто бы основные черты русского национального характера во многом обусловлены обычаями тугого пеленания младен-

⁷ Социальная психология. Краткий очерк/Под ред. Предвечного Г. П. и Шерковина Ю. А. М.: Политиздат, 1975, с. 148.

⁸ См. Токарев С. А. История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа, 1978; Аверкиева Ю. П. История теоретической мысли в американской этнографии. М.: Наука, 1980.

цев. Дальнейшее развитие работ такого типа было связано главным образом с использованием концепции «базовой личности», но и они успеха не имели. В нашей научной литературе они подвергались критике, но эта критика, к сожалению, была негативной; никаких конструктивных идей по использованию этнографического материала в этнопсихологических изысканиях предложено не было⁹.

Следует сказать также о том важном направлении зарубежной этнопсихологии, опирающемся на массовое обследование населения, которое взяло на вооружение идею «модальной личности», т. е. психического типа личности, преобладающего у взрослых членов данного этноса; среди членов других этносов такой тип личности может также встречаться, но обычно как единичное, а не как массовое явление. От «базовой» «модальная личность» отличается менее органичной связью с особенностями традиционной культуры и своим статистическим, а не описательным характером.

Попытка рассмотреть особенности психической структуры того или иного этноса как особенности характера человека (усредненной «модальной личности»), конечно, упрощает проблему, однако и в таком виде насколько мне известно, задача не была решена ни для одного более или менее крупного народа. На практике дело свелось к изучению лишь некоторых параметров психики. В последние два десятилетия много внимания было уделено изучению умственных способностей расовых и этнических групп путем использования психологических тестов Айзенка, Роршаха и других исследователей, довольно широко применявшихся в системе школьного образования. После публикации в конце 60 — начале 70-х годов работ А. Дженсена, по результатам которого получалось, что коэффициент интеллектуальности примерно на 60% обусловлен генетически, зарубежные психологи разбились почти поровну на сторонников и противников гипотезы о передаче умственных способностей по наследству. Аргументы противников варьировали от принципиальной неприложимости к национальному характеру признаков, связанных с особенностями мышления и уровнем способностей, до моральной недопустимости проведения таких исследований. При этом отмечалось, что способности всех людей в младенчестве будто бы равны и что различия, выявленные А. Дженсеном и другими исследователями, обусловлены не наследственными, а средовыми (прежде всего культурно-бытовыми) факторами; указывалось также, что проводимые тесты не всегда достаточно адаптированы к исследуемым расовым или этническим группам¹⁰.

Развернувшаяся дискуссия вышла за рамки научного спора, а так как в нашей стране подобных исследований не проводилось, то разбираться в некоторых ее деталях довольно трудно. Можно отметить лишь, что вопрос о проведении таких исследований к научной стороне дела при многом отношении не имеет. Если мы исходим из того, что психические (и умственные) различия между этническими или расовыми группами суть различия не качественные, когда какое-то «качество» может отсутствовать, а количественные, когда одни и те же общечеловеческие качества представлены в разной степени, то эта степень может и должна измеряться. Этнопсихологи так или иначе вынуждены прилагать к народам многие качества, взятые из психологии индивидов. При этом следует заранее ожидать, что какое бы качество ни явилось предметом измерения, — если не умственные способности, то, например, трудолюбие или музыкальность, — всегда могут найтись люди, которые будут считаться полученными результаты «неэтичными» и даже вредными. История многих наук полна такими примерами; придется преодолеть подобные трудности и в этнопсихологии. Уместно отметить лишь, что тот, кто выступает, например, против проведения сравнительных тестов у европеоидных и негроидных групп под флагом «антирасизма», может быть в душе еи

⁹ См., например, *Королев С. И.* Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов. М.: Наука, 1970.

¹⁰ См. *Ломер Дж.* Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм. М.: Прогресс, 1982.

льшим расистом, чем экспериментаторы, ибо он заранее уверен, что группы сильно отличаются друг от друга.

В известных тестах по определению умственных способностей, действительно, не все представляется вполне удовлетворительным, хотя возражать против них в принципе — это все равно, что возражать против системы школьных оценок. Чаще всего такие тесты отражают не только умственные способности, сколько скорость мыслительных или психических процессов. Существенное влияние на такие параметры, вероятно, оказывает и наследственность, но в этом нет ничего странного. Люди от рождения должны быть равны перед гражданским законом, но по законам наследственности они могут сильно отличаться друг от друга. Культурно-бытовые факторы среды оказывают сильное воздействие на природные способности, они могут помешать проявлению некоторых из них или направить их в какое-либо другое русло. Тем самым выявленные результаты подобного влияния оказываются важными характеристиками данной культурной среды, преломленными в психике; они дают ценные результаты для этнической психологии. Встречающиеся требования большей адаптации тестов к конкретным этнокультурным условиям могут быть направлены на своего рода нивелирование этнокультурных различий и поэтому не всегда поддерживаются этнопсихологами. Особого внимания заслуживают невербальные тесты, которые можно успешно применять к представителям почти любого этноса. Можно предлагать, конечно, что при тесте на скорость выхода из лабиринта житель пустынных районов — туарег затратит больше времени, чем, например, пигмей, живущий в тропическом лесу, но конкретные результаты такого теста могут явиться одной из характеристик особенностей психики туарегов и пигмеев. Короче говоря, методика массовых этнопсихологических тестов заслуживает более пристального внимания, чем ей до сих пор уделялось в нашей литературе.

В последнее время сотрудниками нашего института были предприняты две значимые попытки получить массовый материал, касающийся этнической психологии. Одна из них связана с уже упомянутыми работами этносоциологов, которые, развернув свои исследования в различных национальных областях страны, включили в их программу и ряд психологических вопросов, связанных главным образом с межэтническими контактами на личностном уровне¹¹. Изучение психологических аспектов национальных отношений успешно продолжается и уже дало ценные результаты для планирования некоторых мероприятий в области национальной политики, для пропаганды интернационализма. Вторая, менее известная попытка связана с проведением работ по комплексному биолого-антропологическому и социально-этнографическому изучению явлений группового долгожительства, развернутых вначале в районах Закавказья¹². Среди гипотез, выдвинутых для объяснения случаев группового долгожительства, выделяются три психологические гипотезы. Первая из них связывает долгожительство с личностно-групповыми особенностями психики, с какими-то типами нервной системы, темперамента и психических реакций, позволяющими их носителям легко адаптироваться к условиям жизни, противостоять стрессовым ситуациям и т. п. В основе второй гипотезы лежит предположение о наличии особой социально-психологической атмосферы, нравов и обычаев, способствующих смягчению или снятию бытовых стрессовых ситуаций во всех возрастных группах. Третья гипотеза объясняет феномен долгожительства высоким статусом старых людей в семье и обществе, подчеркнутым уважением к ним со стороны окружающих и другими геронтофическими явлениями. О конкретной работе по этим гипотезам, я полагаю, нам сообщит куратор этого раздела темы Г. В. Старовойтова. Хочу отметить лишь, что в случае охвата такими исследованиями разных народов мы получим очень интересный этнопсихологический материал.

¹¹ См. Дробижева Л. М. Об изучении социально-психологических аспектов национальных отношений. — Сов. этнография, 1974, № 4.

¹² См. Феномен долгожительства/Под ред. Брука С. И. М.: Наука, 1982.

Статья А. Ф. Дашдамирова, публикуемая нашим журналом, и интересна во многих отношениях. Автор очень четко ставит вопросы социально-исторической и классовой обусловленности национальной психологии. Он правильно подчеркивает особую актуальность исследования национальной психологии на современном этапе развития современного общества, в эпоху развитого социализма. Хотелось бы добавить, что эта актуальность в очень большой степени определяется и особенностями международного положения и международных отношений. Пожалуй, не было в мировой истории периода, когда национальное самосознание особенно в странах и регионах зарубежной Азии, Африки, Океании, могло бы такую большую роль в вопросах внешней и внутренней политики государств и так органически входило бы в их официальную идеологию. Приведем в этой связи известные примеры, касающиеся стран арабского региона, Израиля, КНР. То же явление, связанное с процессами национальной консолидации, характерно для молодых тихоокеанских стран (Папуа Новая Гвинея, Вануату, Соломоновы острова и др.).

Конечно, очень своевременно привлечь внимание исследователей, психологов, так и этнографов и культуроведов, к связям национальной культуры и национальной психологии и вообще к углубленному изучению внутреннего строения феномена национальной культуры. Однако здесь возникают некоторые проблемы как методологического, так и конкретно-научного характера.

Говоря о предмете национальной психологии, большинство авторов, в особенности философы и психологи, непосредственно соотносят национальную психологию с классовыми и вообще социально-историческими особенностями развития нации.

К национально-психологическим особенностям зачастую относят только то, что непосредственно обнаруживается на уровне общественной, социальной психологии, пишут о «национальном сознании» и «национальной психологии» как о синонимах; иногда же через запятую говорят о «национальном характере» и «национальной психологии». В ряде работ проблема национальной психологии практически отождествляется с национальными стереотипами и вообще связывается исключительно с интернализированными межнациональными стереотипами, с одной стороны, и с национальным самосознанием, — с другой.

Зачисляя этническую или национальную психологию целиком в состав общественной, социальной психологии, сводя соответствующую проблематику к тому, что отражено в общественном сознании и в социальных функциях, мы, однако, чрезвычайно обедняем ее содержание. Так, например, А. Ф. Дашдамиров предлагает выделить следующие группы социально-психологических факторов, в совокупности образующих национальную психологию и дающих представление о ее структуре: а) национальные интересы и потребности, национальные установочные ценностные ориентации; б) психический склад нации; в) национальные чувства и отношения. При этом психический склад нации он понимает как исторически складывающуюся совокупность национального характера, своеобразных черт социального темперамента, психической структуры традиций и обычаев, вкусов, привычек, эмоционально-психологических реакций.

Анализируя эту классификацию, можно видеть, что А. Ф. Дашдамиров, как и большинство других авторов, не случайно не приводит никаких конкретных примеров. Последовательно развивая на методологическом уровне определенное понимание национальной психологии, он может пройти мимо самого факта существования таких этнопсихологических особенностей, которые не сводимы к «общественно-психологическим процессам», но старательно подтягивает их к социальной психологии.

тин. Что такое, например, «своеобразные черты социального темперамента» и, вообще, что такое этот социальный темперамент? В психологии такого понятия нет, это — чистая метафора, как и «национальные потребности».

Можно возразить, что, например, в книге А. И. Горячевой и Н. Г. Макаровой «Общественная психология»¹, понятие темперамента вводится именно в данном смысле со ссылкой на К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Грамши. Но одно дело, когда основоположники марксизма и видные философы-марксисты употребляют то или иное выражение, и совсем другое, когда оно входит в их терминологическую систему. Маркс, Энгельс, Ленин, Грамши нередко пользовались в своих работах образами, метафорами, полемическими и публицистическими приемами; но ведь не всякая метафора есть термин! Вспомним яркую формулу Маркса: «Ложка — деньги духа»². Но можно ли возводить ее в ранг научного определения, хотя в ней и была выражена — пусть косвенно — общность логических форм и денег как перенесенных форм социальной деятельности? И очень логично, что авторы цитированной книги определяют национальный темперамент негативно («не тот темперамент»), характеризуя его позитивно лишь как социальное, социально и исторически детерминированное явление. Больше им сказать просто нечего.

В том-то и состоит одна из фундаментальных трудностей исследования этнической и национальной психологии, что философы, историки, социальные психологи, говоря об отдельных сторонах и компонентах психологического склада нации, национального характера и т. п., остаются на уровне общих деклараций и метафорических, не наполненных конкретно-научным содержанием выражений типа «национальных потребностей».

Действительно: если мы говорим о национальной психологии, то первая задача — не только вписать предмет нашего анализа в систему социально-психологических явлений, но прежде всего найти ему место в системе общей психологии. Эту задачу автор данной заметки пытался не решить, то поставить в статье «Личность как историко-этническая категория»³. Тогда „и только тогда“ этнопсихологические особенности той или иной общности предстанут перед нами не как перечень, но в их взаимосвязи друг с другом и с иными — общечеловеческими, присутствующими в данном конкретном обществу, групповыми, наконец, индивидуальными-личностными психологическими особенностями. Прежде чем говорить о национальных потребностях, необходимо, следовательно, ясно представить себе роль потребностей в психической деятельности вообще, их классификацию и др., и соотнести это понятие со всей психологической теорией потребностей. Прежде чем говорить об «эмоционально-психологических реакциях», надо основательно разобраться, что по поводу социальной (и в том числе этнической) обусловленности эмоциональных проявлений, да и самих эмоций, может сказать общая психология — а ей сейчас есть что сказать по этому поводу. А многие вещи, объективно неотъемлемые от этнопсихологической проблематики, окажутся вообще вне интересов философов и социальных психологов, что не делает их менее ценными для общего психолога: это касается национальных особенностей протекания отдельных психологических процессов (например, процессов восприятия, памяти), этнопсихологического аспекта системы вербальных и невербальных значений, интернализуемых членами данной общности, и т. п.

Думается, мы сейчас обсуждаем не одну, а две связанные, но разные проблемы, и отсюда все сомнения и вопросы. Одна проблема: национально-психологические аспекты социальной психологии групп, классов, общества; сюда же относятся проблемы этноцентризма, национальных стереотипов и т. д. Здесь, так сказать, мы идем от социологии и социальной психологии, и для нас существеннее вскрыть социальную детер-

¹ Горячева А. И., Макарова Н. Г. *Общественная психология*. Л., 1979, с. 127—128.

² Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Госполитиздат, 1956, с. 625.

³ См.: Сов. этнография, 1981, № 3.

минацию описываемых явлений, их место в общественном сознании, их влияние на общественное бытие и общественное сознание, чем соотносить эти явления с другими сторонами деятельности, сознания, личности отдельного человека. В этом смысле целесообразно, видимо, говорить о *национальной психологии* как об одной из частей социальной психологии (другой вопрос, что и социальная психология имеет свой развитый понятийный аппарат).

Еще одна проблема: историческая и этническая вариантность общепсихологических явлений, а также их взаимосвязь в аспекте индивидуума и личности. Здесь мы идем от общей психологии и, претендуя на системность анализа, заведомо теряем в его полноте, так как временно абстрагируемся, так сказать, от непосредственных социальных последствий и от путей социально-исторического генезиса исследуемых нами феноменов. Для такой области знания можно использовать термин *этнопсихология*, рассматривая ее как часть общей психологии.

А как же быть с целостностью этнопсихологии (или национальной психологии) как единой междисциплинарной области? Чтобы эта целостность была обеспечена, необходимо сначала обеспечить единство общей и социальной психологии. К этому сейчас идет дело; но до создания интегральной психологической теории, которая включала бы в себя эти две — сейчас в значительной мере разобщенные — психологические дисциплины, пока еще очень и очень далеко. А до тех пор все попытки синтезировать оба подхода к национально-психологическим явлениям по-видимому, заранее обречены на неудачу.

С. А. Арутюнов

ОБ УСЛОВНОСТИ ПОНЯТИЯ «ЭТНОПСИХОЛОГИЯ»

Само существование нашей науки — этнографии обусловлено тем тривиальным фактом, что человечество разделено на большое число этнических групп, каждая из которых обладает своими особенностями культуры, а следовательно, и поведения. При этом, естественной для каждой группы нормой представляется свое поведение, а поведение другой группы — некоторым отклонением от нормы. Японец улыбается, сообщая неприятное известие, а индеец, наоборот, при этом хмурится. Поведение японца покажется странным индийцу, но не менее странным покажется и поведение индийца японцу. Допустим, что есть этносы, представители соответствующих слоев которых более предрасположены, например, к коммерции, чем представители аналогичных слоев других этносов. Но как избежать этноцентризма? От какой точки отсчитывать «больше» или «меньше», если не от самих себя?

Психологию индивидов или даже психологию отдельных групп внутри этноса мы можем изучать в сравнении, сопоставлять между собой. Ведь эти индивиды и группы существуют в одной и той же природной и социальной среде, стоят перед сходными проблемами общетнического или (что, по сути дела, то же самое) общенационального масштаба. И если они на один и тот же вызов этой среды, на одну и ту же стереотипную ситуацию реагируют по-разному, в этом, помимо всего прочего, проявляется и их различная психология.

Но этносы — не индивиды. Каждый этнос имеет свою собственную среду обитания, свою территорию, свои конкретно-исторические условия, свое особое окружение. Даже в полиэтническом обществе, как, например, малайзийское, каждый этнос имеет свою более или менее специфичную социальную «экологическую нишу» — малайцы одну, китайцы другую, индийцы третью. Следовательно, они реагируют по-разному

е на один и тот же вызов, одну и ту же проблему, а на разные: каждый — на свою.

Различные этносов есть различие культур. Культура же, несомненно, это широко признано в отечественной культурологии, есть универсальный механизм адаптации общества к природной и социальной среде своего существования. И специфическая этническая психология, следовательно, если только мы не хотим скатиться на расистские позиции и считать ее генетически обусловленной, есть не что иное, как производное от культуры, и даже часть этой культуры: она представляет собой один из частных механизмов адаптации общественного человека и этноса в целом к своей среде.

Нередко приходится встречать утверждение, например, что японцам свойственна повышенная вежливость, учтивость, предупредительность. Это действительно справедливо, когда встречаются хотя бы минимально знакомые люди или когда незнакомые люди обстоятельствами поставлены в межличностный контакт. Однако в безличностном контакте, например, в общественном транспорте, те же японцы проявляют, казалось бы, парадоксальную неучтивость и невнимание к окружающим. На самом деле и то, и другое проистекает из общей, характерной для японской культуры (и психологии) концепции «он гири» (одолжения-задолженности), по-разному действующей в разных условиях. Сама же эта концепция вытекает из специфики структуры социальных отношений в Японии и может рассматриваться как адаптивная по отношению к этой структуре.

В культуре (и психологии) этноса, наряду с некоторыми фундаментальными, весьма стабильными чертами (для японцев одной из таких черт является, например, шумовая и моторная сдержанность, воспитываемая на ранних этапах социализации), есть множество весьма лабильных черт. Можно привести немало примеров, когда вслед за изменением социально-экономической обстановки быстро адаптируются и меняются некоторые, казавшиеся едва ли не основными, психологические характеристики этноса. На уровне индивида такие изменения могут произойти за какие-нибудь два-три года. Например, в современной Японии серьезно ставится вопрос о создании курсов «реабилитации» или «репозиции» для тех японцев, которые по долгу службы провели несколько лет за пределами Японии, в Европе или Америке. Считается, и видимо, без основания, что они за это время настолько отвыкли от японского образа жизни, что по возвращении уже не могут себя вести «по-японски»; иными словами, теряют способность к общепринятым в Японии поведенческим реакциям на типовые жизненные ситуации.

Таким образом, как мне представляется, изучение этнопсихологии есть задача более этнографическая, нежели психологическая. Задача эта состоит в том, чтобы определить, каковы условия жизни того или иного этноса, и каким путем, вырабатывают у его представителей определенные поведенческие реакции на определенные житейские ситуации. При этом ситуации имеются в виду не общечеловеческие, а характерные именно для условий жизни (природных и социальных) данного этноса. Конечно, рождение ребенка или смерть близкого родственника суть общечеловеческие ситуации; однако пол ребенка, то, какой он по счету, возраст родителей и другие обстоятельства образуют в каждом случае свой рисунок обстоятельств, по-разному оцениваемый и воспринимаемый в разных культурах. Понятие относительной близости родственника также различно в разных культурах по отношению к различным номиналам родства.

В лучшем случае результатом исследования будет относительно высокий уровень предсказуемости поведения представителей данного этноса в типовых для него ситуациях; однако это еще не обеспечит предсказуемости поведения тех же людей в иноэтническом окружении, в ситуациях, для них непривычных и нестандартных. Разумеется, на эмпирическом, житейском уровне все люди, а отнюдь не только профессиональные этнографы, нередко занимаются подобным прогнозированием; возмож-

но, что это прогнозирование оказывается верным примерно в 50% случаев, но чтобы узнать, так ли это на самом деле, необходимы специальные исследования. Тем более они необходимы для поднятия самого прогнозирования с эмпирического уровня на уровень научной обоснованности. Однако представляется, что в выработке концептуальных предпосылок таких исследований, не говоря уже об их конкретной методике, этнопсихология не только в нашей стране, но и во всем мире целом делает лишь первые шаги.

И. М. Кузнецов

ОБ ОБЫДЕННЫХ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

В статье А. Ф. Дашдамирова и в выступлениях участников «круглого стола» ставились преимущественно некоторые психологические проблемы в свете этнографической науки. Видимо, полезно будет предложить для обсуждения сюжет, непосредственно связанный с исследованием этнических культур, но под углом зрения понятий социальной психологии.

Однако вначале хотелось бы сказать несколько слов о сложившихся взглядах на этнопсихологическую проблематику в целом. Здесь нельзя не согласиться с мнением И. С. Кона о том, что исследование в новой области должно либо основываться на четком определении этой новой области, либо на выделении тех вопросов, которые необходимо решать. Имеющийся опыт определения и изучения «национального характера» показывает, что первый из названных подходов к исследованию не свободен от ошибок, по крайней мере логических. В самом деле, одним существенных, если не главным, стимулом для развития этнопсихологических исследований служат существующие в области обыденного знания представления о том, что члены разных этнических групп отличаются друг от друга психологически: по темпераменту, способностям, чертам характера. Здесь важно отметить, что такие представления (как, впрочем, и многие другие суждения, исходящие из обыденного опыта) не столько описывают какие-то непосредственно наблюдаемые особенности поведения людей, принадлежащих к разным этническим группам, сколько дают уже готовое объяснение этим особенностям. Поведение отдельного человека принято объяснять наличием или отсутствием того определенного личностных качеств и способностей. Эта привычная схема и применяется для объяснения особенностей поведения «иностранцев». И здесь, мне кажется, некоторые исследователи пошли на поводу «здравого смысла», приняв без дальнейших доказательств, что этнические особенности в поведении обусловлены именно особой психологией. Иначе говоря, за исходный пункт берется словосочетание «национальный характер» в его повседневном, общеупотребительном (преимущественно личностном) значении; в научном обиходе это значение постепенно и незаметно замещается научным психологическим понятием «характер» и, исходя из структуры этого понятия, выделяется объект исследования — «национальный характер». Таким образом, если не в целом, то во многих своих аспектах определение объекта исследования основывается не на научной проверке распространенных представлений (тех же межэтнических стереотипов), а на имплицитном принятии этих представлений в качестве объективного научного факта. И поэтому не случайно результат такого рода исследований, как отмечал Т. Шибутани, «несмотря на наукообразные формы... во многом подобен респектабельному межэтническому стереотипу»¹.

¹ Шибутани Т. Социальная психология. М.: Прогресс. 1969, с. 447.

Одна из существенных ошибок, идущая от представлений «наивной хологии» здравого смысла, состоит в том, что явления *групповой* психологии иногда исследуются в терминах *индивидуально-личностных* психических и с использованием методик исследования *личности*. Если мы правомерно говорить о психологии группы, и этнической группы личности, то попытка представить эту группу в виде абстрактной «среднестатистической» личности со «среднестатистическими» индивидуальными качествами в высшей степени сомнительна.

Так или иначе, представления об особой этнической психологии существуют в обыденном сознании. И если нельзя полностью доверять сообщению этих представлений, то полезно по крайней мере задать вопрос: каковы вообще возможные причины появления таких представлений? Скорее всего это вопрос к той области социальной психологии, которая занимается процессом межличностного восприятия.

Здесь нет возможности подробно разбирать этот процесс. Но для предварительных выводов достаточно рассмотреть его предельно упрощенную схему, согласно которой представление об особой психологии может формироваться у наблюдателя, когда он в достаточно привычной, стандартной ситуации видит постоянно повторяющуюся необычную, нестандартную для него манеру поведения и «прочитывает» психологический подтекст этого поведения в соответствии со своей системой значений. В процессе восприятия другой человек устанавливает взаимно однозначное соответствие между наблюдаемым поведением этого другого и его личностными качествами. В социальной психологии это явление названо «казуальной атрибуцией»². Основой для выводов о качествах личности в связи с его поведением является определенная система представлений о человеке вообще, чертах его характера и соответствующих этим чертам принципах поведения, то, что иногда называют «обычной», или «имплицитной», теорией личности.

У каждого отдельного человека эта система, надо полагать, отражает в основном определенные коллективные, присущие данной конкретной культуре представления о человеке и индивидуализируется, «шлифуется» и уточняется под воздействием личного жизненного опыта. В самом деле, если бы такая «имплицитная теория» не имела никакой связи с культурой, то адекватное взаимопонимание между людьми было бы невозможно, как было бы невозможно, например, речевое общение, если бы каждый пользовался своим собственным языком. Однако использование общепринятого языка отнюдь не исключает существования индивидуальных различий в лексике и стиле. И наоборот, «имплицитные теории» значительно различаются в сравнительно-культурном плане. Это касается не только этносоциального, но и классовых и других возрастных, например) субкультур. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что функционально равнозначные понятия, как, например, «вежливость», «гостеприимство» и т. п., в разных культурах имеют разный, иногда прямо противоположный, поведенческий контекст.

На мой взгляд, описание и исследование этнокультурных представлений о человеке может быть одним из перспективных направлений в исследовании этнических аспектов духовной культуры. Насколько можно судить по отечественной и зарубежной литературе, названное направление является почти совершенно неразработанным. И на это есть ряд причин, из которых две, по-видимому, наиболее существенны. Во-первых, явление «казуальной атрибуции» было обнаружено относительно недавно, примерно в первое послевоенное десятилетие, и еще недостаточно детально изучено. Во-вторых, сам процесс приписывания человеку определенных качеств настолько естествен, привычен, что протекает в обычных условиях без прямого участия сознания. Он так же автоматичен, как, например, процесс дыхания, ходьбы или речь. И так же, как в этих последних случаях, сознательный контроль может иногда или затруднить атрибуцию, или сделать ее совсем невозможной. Отсюда и

² См., например, Межличностное восприятие в группе. М.: МГУ, 1981, с. 35 сл.

чрезвычайная сложность конкретного сравнительно-культурного изучения этого явления. Даже если исследователю придет в голову спросить о причинах тех или иных суждений о человеке, то информатор вряд ли будет в состоянии отчетливо и последовательно ответить на этот вопрос. Тем не менее изучение этнических особенностей психологического контекста и принципов повседневного поведения возможно хотя бы приблизительно в той же мере, в какой возможно, например, изучение лексики и грамматики языка.

В названной области могут изучаться как исторические формы и типы развития психологических представлений в этнических культурах, так и сами способы усвоения указанных представлений в процессе социализации в конкретной этносоциальной среде (не последнюю роль здесь могут сыграть исследования по этнографии детства). Но, видимо, основной задачей, без которой невозможно формулировать другие, является опрелеление и содержательное изучение структуры «имплицитных теорий личности». Но пока здесь можно лишь ставить вопросы. Каков общий объем и функциональный характер используемых в данной культуре качеств личности? Каков объем и характер активно используемых качеств? Известно, например, что в русском языке существует около 1500 слов, обозначающих человеческие качества³, но, как показывают предварительные исследования, активно используются лишь около 267 слов⁴.

Ответы на эти вопросы дадут возможность сравнить, насколько важным в разных культурах считается вообще проявление человека как личности и, следовательно, насколько высока в той или иной культуре потребность понимать и принимать в расчет личность человека. Тесно связаны с этим вопросы о пределах личной автономии и о характере взаимоотношений в разных культурах. Например, по наблюдениям Э. Т. Холла, «в Японии человек должен „принадлежать“ (к какой-либо группе. — И. К.), иначе он не имеет определенности»⁵.

Важно также выяснить, какие качества для данной культуры являются ключевыми, существенными, а какие периферийными, ситуативными. Как кажется, этот вопрос непосредственно связан с проблемой адаптивности культур. Адаптивность — не просто способность к выживанию в новых условиях. Это универсальное свойство любой системы хранить в новых условиях свою определенность, целостность, свои существенные характеристики. Если для человека такой существенной характеристикой является его самосознание как носителя определенных идеалов, ценностей, то адаптивным будет не просто его выживание как организма, а поддержание этих идеалов даже ценой жизни. По тому, каким путем идет процесс адаптации, можно судить о существенных характеристиках системы. Что же касается культуры, то, учитывая, какие виды деятельности и формы социальной организации она усваивает в новых условиях, можно выделить ее существенные характеристики. И наоборот, зная основные параметры, в частности определяющие человека, можно сделать выводы о направлении процесса адаптации культуры в новых условиях. Короче, чтобы судить о выживании культуры, необходимо знать, в каких терминах культура определяет жизнь.

Для описания «имплицитной теории личности» важно также определить внутреннюю взаимосвязь используемых качеств, их группировку, порядок выведения одних качеств из других. Например, нам трудно представить, чтобы какие-то воинские качества совмещались с повышенной чувствительностью: в нашем представлении воин вряд ли заплачет, а тем более упадет в обморок. Но вот в «Песне о Роланде» это — нормальное поведение героя. В одних культурах у человека, ведущего себя

³ Социальная психология. М.: Политиздат, 1975, с. 39.

⁴ См. Бизюк А. П. К вопросу о структурировании понятия о другом человеке. В кн.: Социально-психологические и лингвистические характеристики форм общения и развития контактов между людьми. Л.: ЛГУ, 1970, с. 31.

⁵ Holl E. T. Beyond Culture. N. Y., 1967, p. 55.

кровенно и естественно, принято предполагать доброту и честность, других — хитрость и коварство⁶.

Разумеется, исследование этнокультурных психологических представлений будет неполным без учета нормативных представлений о качествах, присущих человеку данного пола, возраста, статуса, о чем говорил С. Кон. Хотя надо сказать, что в этом случае простое перечисление качеств вряд ли будет достаточным. Здесь особенно важно изучение тех или иных качеств в поведенческом контексте. Видимо, в любой культуре в супругах предполагается любовь друг к другу, однако диапазон действий, принятых для обозначения любви, настолько широк, что, как показывают исследования, супруги из разных этнических групп на первых порах испытывают значительные затруднения в правильном понимании поведения друг друга: уважительное поведение прочитывается как безразличие, страстность — как развращенность и т. п.

По-видимому, для предварительного, по крайней мере, изучения перечисленных выше вопросов нет необходимости проводить специальные конкретные исследования. Более того, до всякого конкретного исследования необходимо организовать в некоторой новой структуре уже имеющийся богатый этнографический материал, непосредственно или имплицитно содержащий народные психологические представления, как прошлые, так и современные. Только после этого можно сформулировать сколько-нибудь обоснованные гипотезы для дальнейшей работы.

Вычленение и исследование этнокультурных представлений о психологии человека как в историческом, так и в сравнительно-культурном плане может стать чрезвычайно полезным и в познавательном, и в практическом отношении. Здесь можно получить сведения о той сфере духовной культуры этноса, которая непосредственно связана с повседневной деятельностью людей и которая, следовательно, постоянно актуализируется, воспроизводится, а значит, относительно устойчива.

Надо полагать также, что изучение этнокультурных психологических представлений во многом поможет уточнить вопрос о действительной природе и границах существования «национального характера».

⁶ Holl E. T. The Silent Language. N. Y., 1959, p. 15.

Н. В. Шлыгина

О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОСТРОЕК КРЕСТЬЯНСКОГО ДВОРА В ВОСТОЧНОЙ ПРИБАЛТИКЕ

В современной советской этнографии большое место занимают региональные исследования. Они ведутся, в частности, и в Восточной Прибалтике, которая особенно интересна в том отношении, что представляя собой как определенный географический регион, так и особую историко-культурную область, заселенную тремя коренными народами — эстонцами, латышами и литовцами¹.

Ведутся исследования особенностей и истории формирования различных элементов традиционной культуры в общерегиональном масштабе. Опубликовано пока лишь монография А. Вийреса, рассматривающая в пределах всего региона крестьянские транспортные средства², но уже подготовлены первые выпуски «Историко-этнографического атласа Прибалтики», над которыми работал большой коллектив этнографов Прибалтики и Москвы³.

Картографирование этнографических явлений, наглядное отражение их распространенности неизбежно ставит при анализе полученных результатов новые проблемы и помогает осознать задачи дальнейших исследований. Мы остановимся лишь на некоторых проблемах, возникших еще на стадии составления региональных сводных карт одного из выпусков атласа, посвященного крестьянским постройкам (автор статьи является куратором этого раздела).

В свое время при составлении проспекта этого раздела атласа рабочий коллектив решил картографировать все (насколько это позволят материалы) постройки, входившие в состав крестьянского двора. Нынешние результаты работ, проводившихся по этой теме в республиках, были опубликованы в ходе подготовки атласа⁴.

Крестьянский двор, представляющий собой на определенном историческом этапе самодовлеющую социально-экономическую единицу, заслуживает всестороннего изучения, и в частности как ячейка, изучение которой позволяет получить детальную картину крестьянского быта с теми подробностями и взаимосвязями, которые неизбежно ускользают из поля зрения исследователя при анализе материалов в более широких масштабах.

¹ Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области. — Сов. этнография, 1955, № 4, с. 3—17; Моора Х. А., Моора А. Х. К вопросу об историко-культурных подобластях и районах Прибалтики. — Сов. этнография, 1960, № 3, с. 21—51; Терентьева Л. Н., Шлыгина Н. В. К вопросу о формировании этнографических границ Прибалтийского региона. — Проблемы типологии этнографии. М.: Наука, 1979, с. 26—39.

² Viies A. Talurahva veovahendid. Tallinn: Valgus, 1980.

³ Подробнее см.: Терентьева Л. Н. Из опыта работы по этнографическому картографированию. — В кн.: Этнографическое картографирование материальной культуры народов Прибалтики. М.: Наука, 1975, с. 3—10.

⁴ Литература по этой теме достаточно обширна, и приводить ее в настоящей статье полностью не представляется возможным. По ходу изложения мы ограничиваемся лишь ссылками на важнейшие работы.

Сопоставление построек крестьянского двора в пределах всего региона вполне правомерно, так как вся территория Восточной Прибалтики (исключая приморскую рыболовецкую зону) принадлежала к одному хозяйственно-культурному типу земледельцев лесной полосы Восточной Европы⁵. Благодаря этому и состав построек крестьянского двора, сложившийся в сходных бытовых и хозяйственных условиях, должен был быть относительно однородным. Разумеется, «усредненные» крестьянские дворы, фигурирующие в атласе, имели в действительности в разных частях региона отличия по средней величине надела, количеству яглового, молочного и мясного скота, а также по числу обитателей. Но при их сопоставлении в ходе разработки типологии на первый план выступают локальные различия, возникшие с течением времени и связанные с традиционным бытовым укладом.

Выявление этих особенностей и анализ причин их возникновения представляет для этнографов особый интерес. Об их наличии в Прибалтийском регионе было известно по ранее проводившимся исследованиям, хотя они велись преимущественно в пределах отдельных республик. Особенно основательно в этнографической литературе исследовалось жилище, т. е. основная постройка крестьянского двора, которая к тому же имела в Прибалтике наиболее ярко выраженные типологические различия. Исследователей привлекал как анализ особенностей каждого из типов жилища, так и вопрос об их распространенности в регионе⁶.

Общеизвестно, что ареалы отдельных этнографических явлений редко совпадают с границами расселения какого-либо одного народа. Это в значительной мере характерно и для распространения различных типов жилища у народов Прибалтики. На территории региона существовало три основных типа жилого дома, и локализовались они следующим образом.

На севере господствовала так называемая «жилая рига». Ареал ее занимал всю Эстонию (исключая побережье Чудского озера и крайний юго-восток) и северо-западную часть Латвии — Видземе.

Второй тип — дом с теплыми сенями (или дом с очагом в сенях) был распространен в западных частях Латвии и Литвы, причем на северо-западе Латвии, в Видземе, он сосуществовал с жилой ригой. В Литве дом с теплыми сенями в его классической форме характерен для Жемайттии. Следы его прослеживаются и в Занеманье, где в середине XIX в., т. е. в то время, с которого начинается рассмотрение этнографических материалов в атласе, он уже был вытеснен более развитой формой жилища. В Эстонии жилище с очагом в сенях встречалось в единичных случаях на островах, а также было распространено у прибрежных шведов-айбо.

Третий тип — дом с холодными сенями и духовой («русской») печью — занимал восточную часть региона. В Эстонии он известен у русского населения на узкой полосе по берегу Чудского озера и на крайнем юго-востоке у сету, православной группы эстонцев, испытавшей сильное славянское влияние. В Латвии зона восточного типа жилища была значительно шире, она захватывала всю Латгале и часть Земгале, а в Литве — всю Аукштайтню. При этом следует напомнить, что территория распространения этого типа жилища в Прибалтике представляет собой лишь периферию большого ареала, основная часть которого лежит на территории расселения восточных славян.

Наряду с этими типами в Прибалтике встречались различные передние и смешанные формы и локальные варианты жилища, что в данном случае можно оставить вне рассмотрения.

⁵ Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Указ. раб., с. 4.

⁶ Kundzinš P. Dzīvojamā rīja Latvijā. Rīgā, 1934; Manninen I. Die Sachkultur Estlands. B. II. Tartu, 1933; Rānk G. Saaremaa taluehitised I. Tartu, 1939; *idem*. Die Bauhausformen im Baltischen Raum. Würzburg, 1962 etc. Над картами атласа по разделу «Жилище» работали: в Эстонии А. Петерсон, в Латвии А. Крастынь, в Литве И. Буткявичюс, в Москве Л. Н. Терентьева и Н. В. Шлыгина.

Карты распространения основных типов жилища народов Прибалтики публиковались в Советском Союзе еще до начала работы над атласом, появились они и в зарубежной литературе⁷.

Типология жилища народов Прибалтики разработана достаточно четко и основана на общепринятых признаках: форме очага (печи), соотношении его местоположения с общей планировкой постройки. Указанные два момента, как и обычно, связаны и с различиями функций очагов и помещений, причем именно функциональные отличия часто выступают на первый план.

Это ярко проявляется, в частности, в северном типе жилища и отражается в его названии «жилая рига», говорящем об основной функциональной особенности этого типа: осенью, в период обмолота, такое жилище использовалось и для просушки снопов. Сочетание жилой и хозяйственной функций этой постройки отразилось на ее планировке. В жилом помещением, соединявшимся под одной крышей с жилищем-ригой было гумно, где обмолачивали хлеб. Остальное время года гумно служило для хранения сельскохозяйственного инвентаря, зимой туда редко ставили и скот. Особые жилые комнаты появились относительно поздно и первоначально были холодными. По мере их развития складывается трехраздельная форма жилища, в центре которого находился собственно жилая рига, а по сторонам ее — гумно и комнаты. Жилое помещение, приспособленное для сушки снопов и снабженное колосянками, было выше других частей дома. Это отражалось на всей конструкции постройки. Печь в жилой риге служила для обогрева ее в холодное время года; в этой же печи пекли хлеб, осенью ее топили для сушки снопов. В прошлом печь складывали из дикого камня, гранитного валуна или плитняка. Она была тяжелой, массивной, с толстыми стенками. Опе́чь не делали, так что под практически находился на уровне пола. На верхнем своде печи складывали каменку — груды камней, долго сохранявших тепло и после топки, что было важно как в холодное время года, так и при сушке снопов. Отличительной чертой этой печи было так конструктивное соединение с ней открытого очага для варки пищи, расположенного перед устьем печи, часто снабженного сверху козлаком, защищавшим потолок от искр, и обнесенного оградкой. Над очагом крепились подвесные котлы.

Таким образом, в жилой риге обнаруживается сочетание отопительной, рижно-хлебной печи и открытого очага для варки пищи, составлявших долгое время единственный multifunctional очаг, вокруг которого в холодное время года концентрировалась вся жизнь семьи.

Отличительной чертой западного типа жилища было наличие двух очагов: печи в жилом помещении и открытого очага в сенях. Типичным был вывод устья печи в сени, откуда и производилась ее топка. После нее обстоятельство имело немаловажное значение в быту. Во-первых, при топке печи дым, от которого обычно страдали люди при курении печей, не проникал в жилую часть. Во-вторых, жилище лучше обогревалось, так как во время топки печи не нужно было открывать дымоходы и двери, как это приходилось делать в жилой риге или курной избе. Сени служили и кухонным помещением: пищу готовили на устроенном здесь открытом очаге; здесь сажали в печь хлеба для выпечки. Таким образом, сени были важной частью жилого дома, неразрывно связанной с ним функционально. Жилое помещение благодаря выводу устья печи в сени было несколько более благоустроенным, чем рига, а функции его благодаря наличию кухни-сени носили несколько более узкий характер.

Печь в этом типе жилища отличалась от печи жилой риги прежде всего отсутствием каменки. В своих развитых формах эта печь чаще имела невысокое опе́чь из камня. Теплоотдачу старались увеличить

⁷ Терентьева Л. Н. Основные итоги изучения жилища народов Прибалтики. — В: Вопросы этнической истории народов Прибалтики/Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции. Т. I. М.: Изд-во АН СССР, 1959, с. 348; Ränk G. Die Bauernhausformen..., S. 39.

вызывая в печь вогнутые кафели, устраивая вокруг нее каменную скамью с дымоходом внутри и т. д. Открытый очаг в сених мог располагаться перед устьем печи, но чаще он сооружался несколько в стороне, так что конструктивной связи печи и очага, как в жилой риге, здесь не было.

Жилище с холодными сенями хорошо известно по восточнославянским материалам и не требует поэтому детального описания. Отметим лишь его основные отличия от северного и западного типов жилища Прибалтики.

Сени здесь были холодным помещением; они защищали жилую часть дома от холода и использовались в основном как подсобное помещение. Печь, расположенная в избе, имела ряд особенностей, как конструктивных, так и функциональных. В первую очередь она отличалась от вышеописанных печей тем, что в ней варили еду. Характерной конструктивной чертой ее было высокое, срубное опечье, выступавшее перед устьем и образовывавшее шесток. Высокое положение пода печи облегчало работу хозяйки во время приготовления пищи. На шестке перед устьем печи можно было разводить огонь. Но в основном пища варилась внутри печи, что приводило к формированию иных традиций питания, к чему мы еще вернемся.

В прошлом в крестьянских домах, как правило, было лишь одно теплое помещение, в котором зимой сосредоточивалась вся жизнь семьи. (Различные виды обогревательных щитов, плит, печей-голландок и т. п. распространились в Прибалтике в основном во второй половине XIX в.) При этом не следует забывать, что в крестьянских дворах, особенно там, где они благодаря ограничению семейных разделов были довольно крупными, до отмены крепостного права и барщины было довольно велико число обитателей. Если рабочих рук в собственной семье не хватало, то держали батраков и батрачек; кроме того, на разных условиях во дворе нередко жили постояльцы-подворники из числа безземельных, просто волостные нищие и т. д. Зимой в холода в жилом помещении держали домашнюю птицу и новорожденных телят и ягнят.

Крестьяне обычно страдали от недостатка надворных построек и испытывали трудности, когда возникала необходимость их ремонта, так как поместная администрация чинила препятствия в получении строительного леса. Тем не менее число хозяйственных построек в среднем крестьянском хозяйстве было не так уж мало.

Как правило, крестьянин имел хлев, клети, баню, сарай и т. д. Часть этих построек использовалась и в качестве дополнительных жилых помещений, в первую очередь клети. Обычно их было две: одна для хранения припасов, в основном зерна и муки, вторая — для одежды и другого имущества, летом она служила и помещением для жилья; здесь обычно ночевала молодежь, чаще всего девушки. Это характерно для всего региона, и клети у всех трех народов Прибалтики с точки зрения их функционального использования однотипны. Различия отмечаются в отдельных особенностях их планировки, конструктивных деталях, декоративных элементах и т. п. Эти различия носили преимущественно локальный характер, в то время как экономические причины сказывались в большей мере на числе и размерах этих построек.

Некоторые из надворных строений были распространены не столь широко. Это наблюдение относится в первую очередь к постройкам с очагом. Особенности их распространения в ряде случаев не требуют специального анализа, так как причины этого явления совершенно ясны. Так, например, обстоит дело со снопосушильнями. Северный тип жилища, имевший также и функции риги, естественно, исключал потребность в отдельной риге. Риги были распространены лишь там, где жилищем служил дом с теплыми сенями или изба восточнославянского типа. В ареале северного типа жилища отдельные снопосушильни строились только в помещичьих хозяйствах. У крестьян они получили известное распространение в то время, когда жилая рига стала выходить из употребления, но ручной обмолот зерновых, требовавший их предварительной про-

сушки, все еще сохранялся. Прямая связь между функциональной особенностью северного типа жилища и границами ареала снопусушителей в Прибалтике совершенно очевидна.

Несколько сложнее обстоит дело с формированием ареалов некоторых других построек с очагом, в частности летних кухонь⁸. Ареал летней кухни охватывал почти всю Эстонию, исключая только ограниченную область распространения восточного и западного типов, т. е. ее не было у причудского русского населения, эстонцев-сету и прибрежных шведов. В Латвии летняя кухня имела распространение в Видземе, северной Латгале и на северо-западе Курземе. На территории Литвы летняя кухня в прошлом вообще не была известна⁹.

Известно несколько форм летних кухонь, причем основных было два: конический шалаш и прямоугольная срубная; а в некоторых местностях сложенная из камня постройка. Следует подчеркнуть, что изучены формы этой постройки и связанной с нею терминологии в сочетании археологическими материалами представляет большой интерес для исследования истории развития жилища в Восточной Прибалтике. Однако это проблема, подлежащая специальному рассмотрению. В настоящей статье мы коснемся только вопроса о том, как сочетались функции летней кухни и ее очага с функциями основного очага жилого дома.

Функции летней кухни известны достаточно хорошо: на ее открытом очаге летом варили пищу, грели воду для стирки и мытья, здесь приготавливали пиво, варили мыло, обрабатывали туши забитого скота и т. д. В отдельных местностях к летним кухням прямоугольного плана пристраивалось помещение, служившее для трапез в теплое время года. В других местах встречались кухни с печью для выпечки хлеба и т. п. Наряду с летними кухнями пользовались и просто-очагами, сложенными под открытым небом, служившими, правда, в основном не для варки пищи, а для кипячения белья, крашения пряжи и тканей и т. п. При этом для нас важен вопрос, насколько летняя кухня была необходима и насколько это зависело от типа жилища. Там, где господствовало жилище северного типа, именно многофункциональность печи определяла необходимость дополнительного очага вне жилой части дома. В период сушки снопов жилой ригой было невозможно пользоваться как жилищем и тем более разводить огонь в открытом очаге перед печью — это могло привести к пожару. Кроме того, и в теплое время года, когда печью риги почти не пользовались (исключая выпечку хлеба), стремились огня в очаге не разводить, чтобы избежать дыма и чада. Таким образом, все теплое время года и вплоть до окончания молотьбы пища в основном приготавливалась в летней кухне.

Естественно, что летняя кухня получила в ареале жилой риги (в Эстонии и северо-западной Латвии) повсеместное распространение в силу необходимости и стала исчезать только с появлением в доме более совершенных видов печей с дымоходами, плит, а также с развитием специальных кухонных помещений.

Летняя кухня распространена и в тех частях Латвии, где господствовали западный и восточный типы жилища, но не повсеместно. Это требует объяснения. Разумеется, распространение летней кухни в Латгале в определенной мере может быть объяснено простой диффузией явления из основного его ареала, т. е. из южной Эстонии и Видземе, на соседнюю территорию. Распространение летней кухни в Курземе можно, как это и делалось некоторыми авторами, — связывать с тем, что традиция пользования ею восходит к местному ливскому населению, тем более, что ее ареал здесь в основном совпадает с древней территорией и расселения. Можно вспомнить и о довольно тесных контактах между пе-

⁸ Над картами по летней кухне работали: в Эстонии Г. Троска, в Латвии А. Крстынь.

⁹ Подробнее о летних кухнях см.: Ränk G. Die Bauernhausformen..., S. 18—19; Saaremaa taluhoitised, lk. 275 jj; Manninen I. Op. cit., S. 243—249; Bielenstein A. D. Holzgebäude und Holzgeräte der Letten, 1—2. Pg., 1907—1918; Troska G. Suveköögid Eestis.—Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX. Tallinn, 1977, lk. 95—128.

двух Курземе и эстонским островом Сааремаа. Нам, правда, представляется, что прежде, чем окончательно ответить на этот вопрос, следует уточнить границы ареала летней кухни как в латгальской, так и в курземской части Латвии на более ранних этапах, не входящих в хронологические рамки атласа ¹⁰.

Но само по себе решение проблемы о границах распространения летней кухни не снимает необходимости рассмотрения ее функций в этих частях ареала, что может в свою очередь дать некоторые материалы для анализа причин ее распространения.

Напомним, что в жилище западного типа открытый очаг, на котором готовили пищу, находился в сенях. Пользоваться им можно было круглый год и поэтому как бы не было прямой необходимости в летней кухне. Однако материалы, которыми располагает этнография о жилище западного типа по всему рассматриваемому региону, показывают, что в его ареале даже там, где не было летних кухонь, в какой-то мере пользовались дополнительными открытыми очагами. Так, в частности, известно, что в Литве в Жемайтии довольно долго, вплоть до середины XIX в., наряду с основным жилым домом в крестьянских дворах сохранялись еще, хотя и редко уже, жилища старого типа — *нумасы*. Эта постройка, в которой был лишь один очаг открытого типа, в то время использовалась иногда (в богатых дворах) как жилище для батраков или как хозяйственное помещение, обычно хлев. В последнем случае открытый очаг служил прежде всего для приготовления поила скоту. В те времена, когда нумас был более распространен в качестве второй постройки, вероятно, его очаг также шире использовался. Можно думать, что в ареале западного жилища как летняя кухня в Курземе, так и очаг в нумасах в Жемайтии использовались в основном не для варки пищи, а для других хозяйственных нужд — приготовления корма скоту, нагрева воды для мытья и стирки и т. п. Однако характер использования этих подсобных очагов следует изучить детальнее. Это позволило бы с большими основаниями рассматривать и причины распространения летней кухни в Курземе.

Не менее интересен вопрос об использовании летней кухни в Латгале. Распространение ее здесь легко объяснить, как уже говорилось, проникновением этой постройки с соседних территорий. Но при этом следует помнить, что Латгале — это практически единственное место, где летняя кухня встречается в ареале жилища с русской печью ¹¹. Приготовление пищи в русской печи определяло во многом режим дня и питания. Печь топили ежедневно рано утром, и пища, сваренная в ней, оставалась внутри печи горячей до обеда и теплой до ужина. Варка еды в печи определяла формы утвари и характер приготовляемых блюд; открытый очаг не мог служить настоящей заменой печи. Открытый огонь на шестке печи разводили обычно для подогрева пищи, кипячения воды, варки картофеля и т. п. Стабильные конструкции для подвесного котла на шестке печи — вмазанные крюки и вращающиеся кронштейны — в середине XIX в. встречались преимущественно у карел, на юго-востоке Эстонии у сету и в Латгале ¹². В Аукштайнии они в это время уже исчезли, хотя есть упоминания о существовании их там в прошлом. Обращает на себя внимание тот факт, что территория распространения летней кухни в Латгале в известной мере совпадала с ареалом позднего сохранения подвесных котлов на шестке, а также стабильных открытых очагов во дворе усадьбы.

Для уточнения причин распространения летней кухни необходимы и детальные данные об ассортименте блюд и режиме питания у латгаль-

¹⁰ Ränk G. Die Bauernhausformen..., S. 18—19.

¹¹ Только у украинцев в южных районах их расселения существовали уличные печи, но все же не открытая форма очага. См. Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов. — В кн.: Восточнославянский этнографический сборник (ТИЭ, т. XXXI). М.: Изд-во АН СССР, 1956, с. 264.

¹² Это отнюдь не противоречит той точке зрения, что шесток представляет собой элемент открытой формы очага. См.: Бломквист Е. Э. Указ. раб., с. 253—254.

ского населения: возможно, они были близки к традициям остальных Латвии, где пищу готовили в подвесном котле. Однако этот вопрос пока не изучен. Совершенно очевидно также, что отсутствие подвесного котла в Аукштайтии как на шестке, так и в надворных строениях связано с различиями в традиционной пище западной и восточной Литвы.

Не подлежит сомнению, что при изучении комплекса построек крестьянского двора необходимо располагать точными сведениями об их функциональном использовании и знанием всех сторон быта крестьянского населения.

Между тем именно с недостаточной изученностью вопросов, связанных с использованием построек, мы сталкиваемся и при рассмотрении других крестьянских надворных построек с очагом, в частности бань. Ареал бани, как хорошо известно специалистам, не покрывает всей Восточной Прибалтики¹³. Здесь есть два «белых пятна»: бани отсутствуют на северо-западе Эстонии и на юго-западе Литвы. В обоих случаях вдоль границы ареала идет полоса слабого распространения бани. Происхождение этих двух белых пятен имело разные причины. Отсутствие бань почти на всей территории Занеманья и бывшего Клайпедского края, входивших в свое время в состав Прусского герцогства, было результатом запрета их местной администрацией, запрета, который по-держивался и церковью. В связи с этим уже в конце XVII в. здесь исчезают паровые бани и укрепляется традиция мытья в деревянных ложах в стенах жилого дома.

Иначе обстояло дело в северо-западной Эстонии. Нет сведений о существовавших здесь каких-либо запретах, и определить причины возникновения «белого пятна» весьма трудно. Оно находится, так сказать, внутри ареала бани; ведь бани распространены и на северном побережье Эстонии, и на эстонских островах. Установить, не получила ли баня здесь распространения благодаря какой-то специфике продвижения этого явления (в форме срубной постройки) с юго-востока на северо-запад или она все же когда-то здесь существовала и затем исчезла по неизвестной нам причине, — вопрос, пока остающийся не разрешимым, хотя по этому поводу высказывалось немало гипотез¹⁴. Для нашей темы важна другая сторона вопроса: как известно, несмотря на отсутствие паровых бань на северо-западе Эстонии, традиция парового очищения тела здесь все же существовала, хотя и в редуцированной форме — парилки в самой жилой риге. Печь риги, имевшая каменку, представляла для этого вполне достаточные возможности. Однако мыться таким образом было удобно до тех пор, пока холода не заставляли сконцентрировать всю жизнь семьи в этом помещении. Зимой в риге устраивали паровое мытье лишь перед большими праздниками, что, несомненно, в целом приводило к формированию иных гигиенических навыков, чем в тех частях Эстонии, где бани были в каждом дворе.

Баню недостаточно рассматривать как постройку, предназначенную только для мытья. Прежде всего напомним, что самое парение в бане считалось способом не только очищения тела, но и общей закалки организма, лечения от простуд и т. д. Баня служила и местом лечения: народные врачеватели ставили здесь банки, делали больным массаж, здесь же знахари прибегали к различным магическим приемам. С баней и ее печью всегда связывались суеверия, магические обряды и представления об охраняющих ее духах. Предполагалось, что в ней живут «хозяин» (или «хозяйка»), которых нужно благодарить после посещения бани. В бане следовало вести себя тихо и почтительно и т. д. Мытье в бане входило как обязательный момент в различные календарные и семей-

¹³ Подробнее см.: *Talve I. Bastu och torkhus i Nordeuropa*. Stockholm, 1960, p. 402, 433; *Tõnson H. Saunad Eestis*.— *Eesti Rähva Muuseumi Aastaraamat*, IV. Tartu, 1928; *Habicht T. Eesti saun*. Tallinn, 1972. Над картами атласа по бане работали: в Эстонии Т. Хабихт, в Латвии А. Крастынь, в Литве И. Буткявичюс.

¹⁴ *Tõnson H. Op. cit.*; *Vilkuna K. Eesti-soome sauna arengust*.— *Fenno-Ugrica* VB, Tallinn, 1936; *Talve I. Virolainen sauna*.— *Scripta Ethnologica* 5. Turku, 1960.

е праздники. В определенные дни года в бане гадали девушки, стремясь узнать свое будущее¹⁵.

Благодаря наличию печи баня могла использоваться как дополнительное жилое помещение. Так, например, в Эстонии крестьянки уходили жить в баню на время родов¹⁶. Кроме того, в банях нередко жили утлый год одинокие безземельные старики, а иногда ютились и целые семьи батраков. Во время мытья в бане им приходилось выносить свои вещи в предбанник. В некоторых местностях Эстонии и Латвии в больших дворах бани вообще строились со специальной камерой, предназначенной для наемных батраков¹⁷.

Использовалась баня и для различных хозяйственных нужд. В ней шили лен, готовили солод для варки пива. В некоторых местностях Литвы и Литвы на чердаке бани делали специальные срубные приспособления для сушки солода. Интересно, что в юго-западной Литве, где ровое мытье, как упоминалось, вышло из обихода, самые постройки не долго еще служили для сушки льна. Следует также упомянуть, что в ареале летних кухонь в Эстонии и в известной мере в Латвии кое-где было принято соединять баню и летнюю кухню под одной крышей или просто использовать предбанник как летнюю кухню, устраивая в нем крытый очаг. Это было естественное объединение двух построек с очагами под общей крышей, тем более что таким образом одновременно решалась и проблема горячей воды для мытья в бане. Известно, что в некоторых районах существовал обычай греть воду для мытья именно в летней кухне, а затем уже носить ее ведрами в баню. При соединении бани с летней кухней это значительно упрощалось. Кроме того, обе постройки были огнеопасны и их старались ставить на известном расстоянии от двора, клетей и т. д.

Однако следует отметить, что практические цели не всегда играли решающую роль в использовании бани для каких-то вторичных нужд. В некоторых случаях этому препятствовали представления о бане как о месте обитания различных духов. Как уже упоминалось, в Эстонии считалось, что в бане живет дух-хранитель, в Литве именно в баню «приходили» души умерших в определенные памятные дни. В Карелии, в частности, баня считалась особо чистым местом, и использовать ее для хозяйственных нужд было нельзя, ни стирать, ни даже замачивать белье в ней не разрешалось. Сказанное мы вынуждены заключить констатирующего, что с точки зрения функционального использования и обрядности баня в Прибалтийском регионе изучена недостаточно. Так, в частности, известно, что в свадебных обрядах баня в Прибалтике по сравнению, например, с великорусскими традициями играла значительно меньшую роль¹⁸. Но пока это в основном общее положение, за которым не стоит никаких исследований свадебной обрядности, связанной с баней у народов Прибалтики. Между тем анализ свадебной обрядности может дать материал к истории бани.

Наше внимание было обращено в первую очередь на те надворные постройки, в которых имелся очаг, так как его использование должно было в известной мере определяться функциями очагов (печей) жилого дома.

Животноводческие постройки функционально были более обособлены, но при систематическом анализе всего комплекса строений крестьянской усадьбы их рассмотрение дает важный материал уже в силу логических различий в хлевах этого региона. Изучение их в процессе подготовки атласа способствовало выяснению происхождения, развития и укоренения этой местной специфики¹⁹.

¹⁵ Habicht T. Op. cit., lk. 90—93, 103—117.

¹⁶ Ibid., lk. 106—108.

¹⁷ Ränk G. Die Bauernhausformen..., S. 30—31; Bielenstein A. Op. cit., S. 110; Habicht T. Op. cit., lk. 123.

¹⁸ Ср., например, Vahros I. Zur Geschichte und Folklore der grossrussischen Sauer-Folklore Fellow Communications, № 197. Helsinki, 1966.

¹⁹ Этнографическое картографирование материнской культуры народов Прибалтики (в частности, см. статьи Л. А. Думпе и Р. В. Меркене).

Определенные взаимосвязи животноводческих построек с другими строениями двора, разумеется, также существовали. Для некоторых районов было характерно содержание зимой молодняка в жилом помещении. Чтобы кормить скот и ухаживать за ним, требовалось подогреть воду, приготовить теплое пойло и т. д., так что необходим был какой-то очаг. Однако все это составляет особую область трудового быта крестьян, заслуживающего специального рассмотрения.

Представляется, что два приведенных примера — летней кухни бани — убедительно показывают, насколько важно для решения широких проблем детальное знание форм, функций, взаимосвязи и взаимозаменяемости построек крестьянского двора. Это предполагает и хорошую изученность всех сторон домашнего быта крестьян, как материального, так и духовного.

Региональное изучение Прибалтики, несомненно, позволяет достичь существенных обобщений, характеризующих эту историко-культурную область, рассмотреть факторы, влияющие на ее формирование в целом, на ход и особенности культурных процессов у каждого из народов региона. При этом время от времени необходимо возвращаться к изучению этнографических явлений, так сказать, на молекулярном уровне, в частности к детальному исследованию быта крестьянского двора.

В. С. Цой

ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ ОБРЯДНОСТИ КОРЕЙЦЕВ КАЗАХСТАНА

В советской этнографической литературе, посвященной корейцам Средней Азии и Казахстана, имеются работы, в которых семейная обрядность рассматривается как наряду с другими элементами культуры и быта¹, так и специально². Однако эта сторона жизни корейцев, с нашей точки зрения, до сих пор остается наименее исследованной. Настоящая статья, не претендуя на исчерпывающее освещение проблемы, имеет целью в определенной степени расширить наши представления об обрядности жизненного цикла корейцев Казахстана. При ее написании были использованы полевые материалы, собранные автором в ходе экспедиционной работы в Джамбулской и Талды-Курганской областях Казахской ССР.

Для этнического развития корейцев Средней Азии и Казахстана характерны три основные тенденции: 1) сохранение и развитие традиционных элементов, 2) широкое проникновение в их культуру черт общесоветской культуры, 3) заимствования из культур коренных народов региона³. Однако семейная обрядность обнаруживает, в отличие от других сфер жизни корейцев, значительную устойчивость национальных традиций, хотя и здесь заметны серьезные перемены. Это относится и к детской, и в еще большей степени к похоронно-поминальной обрядности.

¹ Например: Джарылгасинова Р. Ш. Культура и быт корейцев совхоза «Раушан» Кунградского района Кара-Калпакской АССР. — Краткие сообщения Ин-та этнографии. В. 35. М.: Изд-во АН СССР, 1960, с. 54—63; *ея же*. Основные тенденции этнических процессов у корейцев Средней Азии и Казахстана. — В кн.: Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, 1980, с. 43—73; Ионина Ю. В. Корейцы. — В кн.: Народы Средней Азии и Казахстана. Т. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 564—581.

² Джарылгасинова Р. Ш. Традиционное и новое в семейной обрядности корейцев Средней Азии. — В кн.: История, археология и этнография Средней Азии. М.: Наука, 1968, с. 343—349.

³ Джарылгасинова Р. Ш. Основные тенденции этнических процессов, с. 46.

Традиционная детская обрядность корейцев включала большое число различных обрядовых действий и запретов, в основном выполнявших магически-охранительные функции. В силу того, что большинство из них не имело под собой реальной основы, многие обряды в настоящее время стали достоянием прошлого. Из сохраняющихся в детской обрядности национальных традиций можно отметить обычай назначения ребенку приемной матери (*ян-омони*). Это происходит в тех случаях, когда в семье часто умирают маленькие дети. Обычно по совету пожилого уважаемого человека выбирают какую-нибудь женщину (как правило, многодетную) и просят ее быть приемной матерью. По корейским поверьям, это должно оградить ребенка от разных болезней и неприятностей. Как отмечает Р. Ш. Джарылгасинова, приемная мать забирает младенца к себе домой, дает ему имя и шьет одежду из своего платья⁴. Раньше родители ребенка могли вернуть его из дома приемной матери через три года, сейчас это делается по истечении нескольких (3—6) лет⁵. Между ребенком и семьей приемной матери устанавливаются самые близкие отношения, приемные дети приравняются к родным. Самым значительным и распространенным торжеством, входящим в цикл современной детской обрядности корейцев Казахстана, является праздник по случаю первого дня рождения ребенка, т. е. когда ребенку исполняется один год. Этот праздник у корейцев считается одним из самых главных в жизни человека наряду с другими такими событиями, как свадьба и 60-летний юбилей, связанный с традиционной шестидесятилетней системой летосчисления.

Как и ко всякому большому семейному торжеству у корейцев, к празднованию первого дня рождения ребенка начинают готовиться заранее. В подготовке принимает участие множество людей, среди которых обязательны близкие и дальние родственники, друзья. Ведущая роль в организации торжества принадлежит деду и бабке ребенка по отцовской линии. В основном подготовка завершается за день до праздника. В этот день в дом, где готовятся к торжеству, собираются мужчины для приготовления *чхальтток* (студенистая белая масса, получаемая после отбивания зерен риса) — праздничного корейского блюда. Готовым блюдом сначала наполняют три чашки, предназначенные для ребенка. До этого никто не имеет права пробовать отбитый рис. Такое же правило соблюдается и при подготовке к 60-летнему юбилею⁶. Затем для мужчин, участвовавших в изготовлении чхальтток, устраивается небольшое застолье.

В день праздника, рано утром, бабушка накрывает низкий прямоугольный столик — *пансан*, на который обычно помещают следующие предметы: три чашки с чхальтток, чашки с зернами риса и фасолью, катушку ниток с иглой, ножницы, книгу, карандаш и немного денег. К этому столику подводят ребенка, одетого во все новое, и в зависимости от того, к чему он притронется, судят о его будущем. Так, если ребенок тронет деньги, говорят, что он будет богатым; книгу и карандаш — будет хорошо учиться; фасоль — будет многодетным (и легко перенесет корь); рис — жизнь проживет в достатке; ножницы, нитки с иглой — будет хорошо шить (кроме того, нитки символизируют долгую жизнь)⁷. В статье, посвященной корейцам Узбекистана, Р. Ш. Джарылгасинова писала, ссылаясь на сообщения информаторов, что прикосновение ребенка к отбитому рису означало в будущем плохую жизнь и даже скорую смерть⁸. По нашим данным, у корейцев Казахстана отбитый рис символизирует здоровье и зажиточность, и чашки с чхальт-

⁴ Джарылгасинова Р. Ш. Традиционное и новое в семейной обрядности, с. 344.

⁵ Полевые материалы автора хранятся в архиве кафедры археологии и этнографии КазГУ (далее АКАЭ КазГУ), тетр. № 2, 1981 г., с. 36; Джарылгасинова Р. Ш. Традиционное и новое в семейной обрядности, с. 344.

⁶ Полевые материалы автора, тетр. 1 (1980), с. 50. — АКАЭ КазГУ.

⁷ Там же, с. 54.

⁸ Джарылгасинова Р. Ш. Культура и быт корейцев совхоза «Равшан». с. 60.

ток ставят на обрядовом столике прямо перед ребенком⁹. Набор одо-
вых предметов в дальнейшем своеобразно используется. Из риса
ребенка готовят кашу — *nap*. Нитки идут на шитье детской одеж-
Фасоль с праздничного столика считается хорошим средством для
чения больного корью ребенка. Если у ребенка есть приемная мать и
кормилица, им отдают отбитый рис. Гости, подоспевшие к проведе-
обряду узнавания судьбы ребенка, подходят к столику и кладут на не-
подарки (как правило, деньги). Те, кто приходит позже, передают
дарки бабушке ребенка. После утренней церемонии все садятся
праздничный стол. Торжество длится до позднего вечера. Гости по-
корейские песни, танцуют национальные танцы.

В настоящее время соотношение традиционного и нового в обряд-
детского цикла корейцев Казахстана изменяется в пользу нового. Ва-
ное место в нем занимают также общесоветские традиции.

Значительно сильнее этническая специфика проявляется в похоро-
ной обрядности.

Большое влияние на весь похоронный цикл оказало конфуцианст-
Как известно, корейцы Казахстана — в основном потомки переселен-
из северных провинций Кореи, где обряд погребения характеризова-
своеобразием и большей сложностью по сравнению с южнокорейски-
В Южной Корее большей сложностью отличались поминальные обр-
ды¹⁰.

Следует отметить, что у корейцев принято хоронить детей и неже-
тых молодых людей без соблюдения всего комплекса обрядов. В по-
ном объеме похоронно-поминальные действия выполняются в слу-
смерти пожилого человека, оставляющего многочисленное потомст-
в чем отразились древние представления корейцев о том, что толь-
люди, пользовавшиеся уважением при жизни (а к таким по народны
представлениям у корейцев относятся люди, прожившие долгую жизнь
и имеющие много детей), продолжают оказывать влияние и после
смерти¹¹.

Пожилые люди часто заранее готовят для себя погребальную оде-
ду. Ранее это входило в обязанности сыновей, на них лежала так-
обязанность заготовки материала для гроба и специальной, так на-
ваемой «семизвездной доски» (*чхильсонгпхан*). Подготовка предмет-
погребального комплекса начиналась после 60-летнего юбилея.

Сразу после кончины близкий к умершему человек выходит во дв-
и, повернувшись лицом к северу, трижды произносит имя покойной
При этом он размахивает натальной рубахой скончавшегося. Это
обычай носит название «*хон-ыр бурында*». Ю. В. ИONOBA приводит
объяснения этого действия: во-первых, в этом выражено стремлен-
вернуть душу покойного и, во-вторых, цель его — прогнать злого духа
*квисина*¹². Наши информаторы утверждают, что таким образом приз-
вают душу умершего вернуться в тело¹³. Об этом говорит и назван-
обряд (*хон* — душа; *пурында* — звать, призывать). Затем эту рубаху
приносят в комнату, где лежит покойный, и кладут в изголовье по-
ли. Раньше после похорон рубаха укладывалась в специальную картон-
ную коробку — *хонбэк*, в которой хранилась до окончания траура, а
тем сжигалась. Сейчас ее сжигают во время похорон.

Дети покойного или близкие ему при жизни люди обмывают тел-
тщательно причесывают, стригут ногти, причем впоследствии острижен-
ное в специальной мешочке кладут в гроб. В литературе по этнограф-
Кореи это объясняется тем, что после покойника ничего нельзя бы-
оставлять, потому что это могло привести к ненужным осложнениям¹⁴.

⁹ Полевые материалы автора, тетр. № 1 (1980), с. 54—56; тетр. № 2 (1981), с. 34.
АКАЭ КазГУ.

¹⁰ ИONOBA Ю. В. Погребальные обряды корейцев. — В кн.: Культура народов
рубежной Азии (Сборник МАЭ, т. XXIX). Л.: Наука, 1973, с. 83.

¹¹ ИONOBA Ю. В. Погребальные обряды корейцев, с. 84.

¹² Там же.

¹³ Полевые материалы автора, тетр. № 2 (1981), с. 44—46. — АКАЭ КазГУ.

¹⁴ ИONOBA Ю. В. Погребальные обряды корейцев, с. 84.

Я. Сидихменов отмечает бытование аналогичного обычая у китайцев (гроб помещали остриженные ногти, вычесанные волосы и даже вышедшие зубы), полагая, что в этом выразилось стремление китайцев резко сохранить останки умершего, так как, согласно китайским поверьям, тело крайне необходимо душе в ее загробных странствиях¹⁵. До изготовления гроба обмытого и одетого умершего кладут на широкую доску — чхильсонъпхан («семизвездная»), поставленную на деревянные чурбаки и покрытую белой простыней. В названии доски, видно, отразилось то, что раньше в ней делали семь отверстий, соответствующих семи звездам в созвездии Большой Медведицы, хотя в настоящее время информаторы не отмечают наличия этих отверстий в чхильсонъпхане (во время похорон эту доску сжигают). Под голову покойного подкладывают белую подушку — *пегэ*, затем тело накрывают той простыней. Из белой ткани делают ширму, которой отгораживают место, где лежит умерший.

По корейским представлениям, покойный не считался окончательно ушедшим до тех пор, пока его не поместят в гроб: он был способен жить и тогда мог нуждаться в помощи¹⁶. Покойного нельзя оставлять одного, с ним постоянно должен быть кто-нибудь из родственников. Обычно у тела поочередно сидят дети умершего (по старшинству), сначала мужчины, потом женщины. Ночью обязательно зажигают свет. Умершего оплакивают, причем форма оплакивания близкими родственниками отличается от оплакивания, принятого у дальних родственников знакомых покойного.

После того как гроб изготовлен, покойного сразу перекладывают в орс чхильсонъпхана. Прежде тело укладывали в гроб не ранее чем через три дня после смерти. Как нам объяснили, по существовавшему верью, только по истечении трех дней уже нельзя было надеяться на возвращение души в тело¹⁷. После помещения тела в гроб на ширму, прикрывающую умершего, вешают *ёнъденъ* — траурный флаг из красной шелка длиной 1,5—1,8 м и шириной 0,5—0,8 м, на котором белой краской иероглифами пишут фамилию и имя покойного. Если умерла женщина, на траурном флаге отмечается и *пон*, к которому она принадлежала (пон — экзогамные группы у корейцев).

С этого момента разрешается попрощаться с покойным — делать похороны (*чор-хада*) и ставить перед ним пищу (*санъсик*). До того как покойного помещали в гроб, приходящие в дом люди выражали свое чувство близким родственникам, а теперь они, не здороваясь с родными, проходят прямо к гробу, делают три земных поклона и только после этого соболезнуют семье умершего¹⁸. По словам информаторов, раньше кланялись и родным, в настоящее время приняты рукопожатия. Три раза в день перед покойным ставят столик с пищей. На столе лежат различные закуски, чашка с супом, пиала с водой, в которую кладут три ложки сваренного риса (*нан*). Ложку оставляют в чашке с супом, вилку кладут (поочередно) к тарелкам с закусками, в три приемналивают рюмку водки (это делает мужчина, старший из потомков умершего — сын или внук). После этого делают три земных поклона. Каждое было принято ставить три рюмки, сейчас одну рюмку наполняют втроекратно¹⁹, содержимое рюмок выливают в специальный сосуд. В похоронно-поминальной обрядности корейцев широко распространены трижды повторяющиеся действия — три раза кричат имя покойного в обряде «хон-ыр бурында», три земных поклона, три рюмки (или одна рюмка, налитая в три приема) и т. д. Это объясняется тем, что у корейцев, согласно корейским представлениям, имеется три души, каждая из которых необходимо удовлетворить при совершении погребальных обрядов²⁰.

¹⁵ Сидихменов В. Я. Китай: страницы прошлого. 2-е изд. М.: Наука, 1978, с. 69—72.

¹⁶ Полевые материалы автора, тетр. № 2 (1981), с. 48.— АКАЭ КазГУ.

¹⁷ Там же, с. 50.

¹⁸ Полевые материалы автора, тетр. № 1 (1980), с. 32.— АКАЭ КазГУ.

¹⁹ Полевые материалы автора, тетр. № 2 (1981), с. 50.— АКАЭ КазГУ.

²⁰ Иконова Ю. В. Погребальные обряды корейцев, с. 84.

Хоронят корейцы обычно спустя нечетное число дней после смерти. Раньше похороны происходили на 5, 7, 9-й и т. д. день. Теперь, как правило, хоронят на 3-й день.

Перед похоронами принято надевать на покойного полный комплект одежды. Случается, что надевают даже пальто, а головные уборы кладут в гроб²¹. Всем умершим надевают на руки белые перчатки или режки (белый цвет почитался корейцами как сакральный, а также считался траурным), так как, по корейским поверьям, на пути в иной душе покойного надо преодолеть поле, усеянное колючками, а без перчаток, защищающих руки, это сделать очень трудно²². В Дзямбулской области (с. Ленинское) нам представилась возможность ознакомиться с набором предметов, подготовленных женщиной себе для совершения похоронного обряда (информатор Ни М. К., 1898 г. р.)²³. В него входит: корейский женский национальный костюм, состоящий из кофты — *чогори*, юбки — *чхима*, длинного халата — *турумаги*, головного платка — *согон* и матерчатых корейских носков — *посон*, причем халат, платок и носки сшиты из ткани белого цвета. Кроме одежды, набор включает комплект из двух шелковых полотнищ, одно из которых (меньшее по размеру) называется *чари* и подстилается под покойника, а другое — *ибури*, которым умершего накрывают. Оба полотнища, сшитые из белого и красного шелка, по внешнему виду напоминают корейское одеяло — *ибуль*. Чари шито так, что белая ткань как бы охватывает красную, и потому одна сторона белая, а на другой образуются прямоугольник из ткани красного цвета, на который и укладывают умершего. Ибури же сделан наоборот: красная ткань охватывает белую, образуя прямоугольник белого цвета, а при укрывании покойника этот белый прямоугольник обращают вниз. Приготавливается и белая подушка, подкладываемая под голову умершего, и полотнище красного шелка для траурного флага. Весьма интересны и другие предметы похоронного обряда: жемчужина, которую должны положить в рот покойному, и два матерчатых мешочка с зашитыми в них монетами (их вкладывают в руки умершего). В. Я. Сидихменов отмечает, что в некоторых районах провинции Чжэцзян в Китае в рот покойному также кладут жемчуг, чтобы умерший «был красноречивым» при встрече с божеством рая²⁴.

У корейцев Казахстана сохранился также обряд прощания с покойным в день похорон, который называется *чеса*. Для его совершения накрывают большой стол — *чесасанъ*, который ставят перед покойником. На столе обычно размещают тарелки с супом, пап, отварной курицы, фруктами, сладостями и т. д. При этом стараются поставить блюда, особенно любимые покойным при жизни. Перед большим столом ставят еще один, особенно маленький столик поменьше, на нем находятся *мосэ* — рюмка с сырым песком, рисом или крупой, куда вставляют пучок связанных вместе тонких камышинок (длиной 5—6 см), и *хянь-ппул* — ленькая жаровня с тлеющими в ней стружками ароматного дерева.

Похоронный староста (обычно пожилой человек, хорошо знающий обряды), которого называют *чипса*, кладет ложку и вилку к тарелке с едой на столе перед покойным. Старший сын умершего трижды наполняет рюмку водкой, ставит ее на блюде и крутит над *хянь-ппул*, тем отливая из рюмки три капли водки в *мосэ* (по сообщениям информаторов, *мосэ* считается вместилищем душ покойного), снова доливает рюмку и крутит ее над дымом. Из рук старшего сына умершего рюмку берет *чипса* и ставит ее на стол перед гробом. И *чипса*, и старший сын, наливающий рюмку, делают три поклона. Перед проведением обряда *чеса* каждый должен сполоснуть руки в тазу с водой, который ранее вносят в комнату, и вытереть их чистым полотенцем. Вслед

²¹ Полевые материалы автора, тетр. № 1 (1980), с. 24—26. — АКАЭ КазГУ.

²² Полевые материалы автора, тетр. № 2 (1981), с. 46. — АКАЭ КазГУ.

²³ Полевые материалы автора, тетр. № 1 (1980), с. 31, 42—44. — АКАЭ КазГУ.

²⁴ Сидихменов В. Я. Указ. раб., с. 87.

²⁵ Полевые материалы автора, тетр. № 2 (1981), с. 52. — АКАЭ КазГУ.

ршим сыном обряд повторяют все члены семьи покойного, родственники и знакомые²⁶.

Гроб обычно закрывают в доме умершего после обряда чеса, но сейчас это нередко делают на кладбище. У корейцев принято изготавливать деревянный гроб с высокими прямыми стенками.

Гроб выносят таким образом, чтобы не пройти с ним через три porta, так как, по бытующему до сих пор поверью, в противном случае пред за покойным должен умереть еще кто-нибудь²⁷. Поэтому иногда гроб выносят через окно комнаты, где лежал умерший. Покойника выносят из дома и везут на кладбище головой вперед. Это объясняется тем, что, по корейским представлениям, человек должен покинуть этот мир так же, как и появился в нем. Вслед за телом выносят и личные вещи умершего²⁸.

Раньше траурный флаг прикрепляли к шесту и несли перед похоронной процессией. В настоящее время его нередко кладут на крышку гроба таким образом, чтобы надписи были обращены вверх. В прежние времена гроб на кладбище несли на специальных носилках, теперь везут на автомашине.

После того как гроб вынесли из дома и установили на машине, возле покойного около дома ставят перед похоронным старостой небольшой столик, на котором находится тарелка с отварной курицей, вилочка и бутылка водки. Он открывает бутылку, прикладывает вилку к курице, наливает в рюмку водки. Обращаясь к покойному, чипса говорит слова прощания, которые называются *чуги*. Затем чипса выплевывает водку на землю, отрывает кусок курицы и бросает на то же место, где пролил водку. Нам объяснили, что так просят злых духов не шагать последней дороге покойного²⁹. Возможно, в этом обряде отражена древняя традиция совершать жертвоприношения и молитвы при переступании порога, который по поверьям считался «шеей» духа человека³⁰. После этого гроб везут на кладбище.

Возле могилы, у одной из ее боковых сторон, насыпают небольшую сыпь, которая является своеобразным столиком, на который ставят водку. Этот обряд называется *хутхо* — жертвоприношение духу земли за предоставление могилы и покровительства покойному³¹. Гроб укладывают на длинных жгутах из белого материала — *пумпа*, которые после похорон отдают желающим (по поверью, обвязавшись поясом из пумпа, можно избавиться от болей в пояснице) или сжигают³². Затем чипик из земли делают в ногах покойного и повторяют обряд чеса: ставят пищу, которую при жизни любил покойный, трижды наливают рюмку водки и делают три земных поклона. Пищу, которую берут на кладбище, должен попробовать каждый (считается, что так покойный узнает кто с ним прощался). После захоронения сжигают одежду, постельные принадлежности и все личные вещи умершего.

После похорон устраивают поминки. Особой поминальной пищи нет. Подают много мясных блюд, различные закуски.

У корейцев Казахстана принят двухгодичный траур, но поминки, устраиваемые после похорон, считаются годичными, по истечении одного года — двухгодичными, а еще через год — трехгодичными³³. Из традиционного поминального комплекса — поминание через каждые десять дней и на новое полнолуние в продолжение нескольких лет со дня смерти, в день смерти и в день рождения умершего предка, ношение специальной траурной одежды, различные ограничения для близких родственников покойного³⁴ — сохранились лишь поминки в годовщину

²⁶ Полевые материалы автора, тетр. № 2 (1981), с. 52.— АКАЭ КазГУ.

²⁷ Полевые материалы автора, тетр. № 1 (1980), с. 68.— АКАЭ КазГУ.

²⁸ Полевые материалы автора, тетр. № 2 (1981), с. 52.— АКАЭ КазГУ.

²⁹ Там же.

³⁰ Ионова Ю. В. Погребальные обряды корейцев..., с. 86.

³¹ Полевые материалы автора, тетр. № 2 (1981), с. 54—56.— АКАЭ КазГУ.

³² Там же, с. 456.

³³ Полевые материалы автора, тетр. № 1 (1980), с. 26, 29, 31.— АКАЭ КазГУ.

³⁴ Ионова Ю. В. Погребальные обряды корейцев, с. 88—94.

смерти в течение двух лет. Поминание обычно начинается в день, предшествующий годовщине смерти, если человек умер 20-го числа, то начинают поминание 19-го, для этого иготавливают табличку из бука (чибанъ), а также пишут заклинание (чхунъмун), используемое в жертвоприношении. Поминальную табличку прикрепляют к стержню, который вставляют в сосуд, наполненный рисом. На лицевой стороне чибанъ пишут текст. Перед табличкой ставят столик с едой, ложу вилкой и рюмкой, к тарелкам с пищей кладут вилку и ложку, наливают рюмку водки (это делает старший сын покойного), три раза низко кланяются. Церемония заканчивается поздно ночью сожжением возле поминальной таблички. На следующий день, в годовщину смерти, родные умершего идут на кладбище, ставят у могилы пищу, наливают рюмку водку и делают по три поклона.

Так же поминают покойного и во вторую годовщину со дня смерти. По сообщениям информаторов, если поминки устраиваются через 100 лет после смерти, слегка изменяют текст чхунъмун³⁵. Во вторую годовщину по окончании поминок вместе с чибанъ и чхунъмун сжигают траурные повязки мужчин и траурные косынки женщин. После этого период траура считается завершенным. В дальнейшем близкие родственники посещают кладбище, убирают могилу и поминают умершего два раза в год, в дни весеннего (хансик) и осеннего (чунсик) календарных праздников³⁶. На могилу принято приносить еду и водку, члены семьи покойного делают по три поклона.

Таким образом, при изучении похоронных обрядов корейцев Казахстана заметно сохранение многих традиционных черт в этой сфере корейской бытовой культуры. Однако и здесь появилось новое. Все чаще, особенно если умирает известный своими трудовыми заслугами человек, заботу о похоронах берет на себя администрация села, общественность. В похоронах участвуют представители других национальностей, хорошо знавшие покойного по совместной работе, проводят траурный митинг, духовой оркестр исполняет траурные мелодии и т.д.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в некоторых сферах семейной обрядности корейцев Казахстана традиции занимают важное место. Вместе с тем и здесь происходит активный процесс проникновения нового. Этому в немалой степени способствует и фактическая безрелигиозность корейцев Казахстана. В настоящее время многие обряды корейцев утратили свое религиозно-мистическое содержание. Выполнение этих обрядов происходит неосознанно. Большое значение имеет также авторитет старших, роль которых в сохранении традиционного быта велика и в настоящее время.

³⁵ Полевые материалы автора, тетр. № 2 (1981), с. 60—62.— АКАЭ КазГУ.

³⁶ Полевые материалы автора, тетр. № 1 (1980), с. 26, 28.— АКАЭ КазГУ. Д. Рылгасинова Р. Ш. Новое в культуре и быту корейцев Средней Азии и Казахстана (На примере сельского населения).— Сов. этнография, 1977, № 6, с. 67.

Е. П. Завадская

НЕКОТОРЫЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ЭФИОПСКОГО ГОСУДАРСТВА В КОНЦЕ XIX ВЕКА

В ходе формирования централизованной Эфиопской империи во второй половине XIX в. к сравнительно гомогенным в этническом и конфессиональном отношениях центральным областям государства, где жили преимущественно христиане амхара, были присоединены обширные территории с иноэтническим и иноверным (мусульманским и «языческим» населением).

Согласно эфиопской исторической традиции, часть этих территорий некогда, в период расцвета Эфиопской империи (XIV—XV вв.), входила в состав последней; другие же оставались вне ее контроля. К числу бывших эфиопских владений принадлежали прежде всего области, которые в XVI в. заселили несколькими волнами миграции племени группы оромо. Некоторые из этих племен проникли на земли современных провинций Тигре и Уолло, т. е. в самый центр Эфиопии. Основная же часть оромо осела по границам областей с христианским населением. В результате этническая карта районов, в которых обосновывались оромо (итту, меча, йеджу, райя, азебо, борана и др.), представляла довольно сложную мозаику, поскольку оромо обитали здесь чересполосно с гураге, сидамо и другими народами.

Население вновь присоединенных областей относилось в основном к семитской языковой группе (оромо, сидамо, афары, беджа); гураге и жители Харэра говорили на языках семитской группы, а жители территорий, расположенных на западе и юго-западе, — на восточносуданских (кунама, бария и др.) и нилотских (динка, шиллук, нуэр) языках.

Именно в этот период, в правление Йоханнуса IV (1872—1889 гг.) Менелика II (с 1889 г.), сложилась этнолингвистическая картина, которая позднее дала специалистам основание говорить об Эфиопии как «музее народов».

Отношения между «старыми» и «новыми» подданными империи с давних времен были отягощены недоверием, взаимной неприязнью, а часто и открытой враждой. Причин к тому исторический опыт народов этого района давал немало. Столетиями длившаяся политическая и военная борьба эфиопов с мусульманскими княжествами в средние века, отторжение Османской империей некогда принадлежавшей Эфиопии части Красноморского побережья Африки, постоянная угроза территориальной целостности Эфиопского государства со стороны Египта и государства махдистов в Судане в XIX в., наконец, религиозный фанатизм и христиан и мусульман, сам зародившийся на основе этого исторического опыта, делали мусульманских соседей естественными политическими и религиозными врагами в глазах эфиопских христиан.

Идеологический императив христианства также диктовал резко предрейтинговое отношение к народам, исповедующим ислам и автономные религии. Достаточно сказать, что кодекс традиционного права Эфиопии Фытха-Нэгэст, с древних времен регламентировавший социальную структуру Эфиопии и ее функционирование, запрещал обращение в рабство христиан, но допускал это в отношении членов конфессий, чужеродных обществ.

Число лиц рабского состояния в стране увеличивалось главным образом благодаря многочисленным военным экспедициям в соседние области. Низкий социальный статус раба-иноверца, а также традиционно пренебрежительная оценка в общественной психологии христианского населения такого занятия, как торговля, которая находилась в руках мусульман, в сочетании с политическим господством феодалов-христиан, создалось бы, создавали почву для проявления религиозной нетерпимости в сфере политики и для гонений на мусульман и «язычников».

Однако задачи строительства жизнеспособной империи, а также сам состав территориальных приобретений во второй половине XIX в., многочисленность конфессионально чуждого населения ставили под сомнение правильность политики насильственной христианизации, которую вводил, например, император Йоханнус в отношении мусульманского населения провинции Уолло. В частности, правители Шоа, раньше других эфиопских феодалов ставшие на путь территориального расширения своих владений, первыми и столкнулись с серьезной политико-демографической проблемой: численность оромо в Шоа стала превышать численность амхара. В этой ситуации объективная политическая реальность требовала от шоанских негусов¹ отхода от традиционной практики в

¹ *Негус* — титул, который носили крупнейшие феодальные владельцы. Они подчинялись только императору, именовавшемуся *негусэ негэст* — «царь царей».

контактах с нехристианским населением или по крайней мере замечание смягчения.

Исходя из этих конкретных условий, правители Шоа выработали довольно последовательно проводили политическую линию, которая включала определенную религиозную терпимость, а в более отдаленной перспективе — ненасильственную христианизацию и в конечном итоге христианизацию подданных из числа оромо. Достаточно широко практиковались смешанные браки в разных социальных слоях, причем рождение этой традиции относится к весьма отдаленным временам. Многие эфиопские правители, в том числе и знаменитый Эзра-Я (1434—1468 гг.), выбирали себе жен из мусульманской знати, что в известной мере способствовало политической стабильности и укреплению центральной власти. Особенно участились браки между амхара и оромо во времена правления императоров в Гондэре, когда эфиопская государственность находилась в упадке, а императоры Эфиопии превратились в марионеток в руках могущественных оромских военачальников.

В основе смешанных браков на уровне социальной верхушки лежал, как правило, политический расчет². Поэтому в период формирования многонационального Эфиопского государства заключение таких брачных союзов использовалось как одно из действенных средств привлечения на сторону христианских правителей местной знати.

Объективной причиной, породившей «шоанскую» политику в отношении новых подданных, была малочисленность амхара по сравнению с оромо, районы расселения которых один за другим подпадали под власть шоанской короны. Важным направлением политики правителей Шоа — негуса Менелика было всемерное поощрение оромской знати, принявшей христианство. Наградой за смену веры служили высокие феодальные титулы и посты в системе шоанской военно-политической иерархии, крупные земельные пожалования, браки с женщинами из высших слоев христианской верхушки и т. п. Например, сам Менелик отдал свою дочь в жены могущественному феодалу оромо области Уолло расу Микаэлю, отцу будущего императора Эфиопии Лиджа Йим-Ярким подтверждением эффективности подобного рода политики мог служить блестящие военные карьеры таких выходцев из оромо, как Раббана Дачи, фитаурари Хабтэ-Гийоргис и прославившийся в битве при Адуа деджазмач Балча³. Первые два стали виднейшими проводниками осуществлявшейся Менеликом политики территориального расширения Шоа, а с 1889 г., когда шоанский негус занял императорский престол Эфиопской империи в целом.

Став императором, Менелик вынужден был проводить ту же политику ненасильственной христианизации и амхаризации населения, поскольку в разрастающейся империи христиане также оказывались в меньшинстве. Убедившись в правильности этой политики в масштабах Шоа, император продолжал активно укреплять и расширять классовый союз со знатью вновь присоединенных областей.

Однако следует подчеркнуть, что подобного рода политика в отношении нехристианской аристократии Эфиопской империи вовсе не была единственной формой развития этноконфессиональной ассимиляции. Она одновременно происходила, в значительной степени стихийно, как бы встречный процесс такой ассимиляции и на более низких уровнях социальной пирамиды, притом отчетливо «привязанный» к локальным условиям разных районов государства. И этот процесс был, по всей видимости, не менее (а возможно, и более) важен и по своему масштабу, и по своим этнокультурным последствиям.

² Levine D. Greater Ethiopia. The Evolution of a Multiethnic Society. Chicago-London, 1974, p. 45.

³ Подробнее см. *Bairu Tafja*. Marriage as a Political Device: An Appraisal of a Socio-Political Aspect of the Menelik Period 1889—1916.— *Journal of Ethiopian Studies*. Addis Ababa, 1972, v. X, № 1.

⁴ *Рас* — высший титул в административной иерархии; *фитаурари* — командующий авангардом или же главнокомандующий войском императора либо правителя провинции; *деджазмач* — один из высших военных чинов.

Официальная историческая наука дореволюционной Эфиопии избегала касаться проблем, связанных с завоеванием новых областей, с медами создания многонациональной империи, с изменениями в жизни как «старых», так и «новых» ее подданных. Если же тем не менее эти проблемы попадали в поле зрения официальных историков, то анализ причин и мотивов амхаризации и христианизации «нового» населения отменялся их апологетикой. В качестве примера можно привести трактовку этого вопроса Тэкле Цадик Мэкурия — автором самой известной Эфиопии многотомной истории. «Негус Менелик, расширяя территорию Эфиопии, — сообщает он, — стремился объединить эфиопский народ. Он посылал уроженцев Шоа в победоносные завоеванные земли, а ленников из покоренных земель приказывал привозить в Шоа, где воспринимал их в почете. ...Браками, совместными трапезами, религиозным единством он соединял их в дружбе и братстве, и благодаря этому они отдавали свои жизни служению Эфиопии... Когда однажды деджазмач Балча и фитаурари Хабте-Гийоргис проезжали мимо места своего пленения, то деджазмач Балча сказал: „Вот место, где нас пленили“, а фитаурари Хабте-Гийоргис возразил ему: „Это место мы должны благословлять“, и в его ответе заключалась истина»⁵. Таким образом, широкому кругу читателей преподносилась идиллическая картина: представители покоренных народов чуть ли не благословляют тот день, когда они оказались под властью амхара.

Эфиопский исследователь Нардос Абэба пытается следующим образом объяснить истоки политики ассимиляции населения включенных в состав Эфиопии областей: «Как только начались завоевательные походы, они неизбежно повлекли за собой процесс ассимиляции. С покоренными народами надо было что-то делать, и ассимиляция явилась неизбежным следствием»⁶. Надо оговорить, что Нардос Абэба, как и другие эфиопские историки, в частности Таддэс Тамрат⁷, под ассимиляцией понимают главным образом христианизацию «новых» подданных.

Безусловно, в период создания многонациональной Эфиопской империи и в последующие десятилетия зародился и набирал силу и процесс этнической ассимиляции, но затрагивал он главным образом лишь местную правящую верхушку и имел ограниченный характер. Его развитие два ли может рассматриваться как результат целенаправленной политики, предусматривающей сближение различных этнических и конфессиональных групп страны. Оно явилось неизбежным следствием установления власти амхара на новых территориях и всего комплекса военно-политических и экономических мер, которые были ими предприняты для укрепления своего господства.

Перераспределение земель в пользу феодалов амхара и местной знати во второй половине XIX в. способствовало широкому распространению феодальных отношений, характерных для центральных районов империи. При этом во вновь присоединенных областях эти отношения принимали более резко выраженные и законченные формы, нежели в старых амхарских провинциях⁸. Базисные изменения социально-экономической организации народов, вошедших в состав многонациональной Эфиопской империи, а именно превращение свободных земледельцев в феодально зависимое крестьянство, а традиционных правителей в земельных собственников, были привнесены извне. Следовательно, существовала и объективная неизбежность заимствования также и надстроечных моментов — системы духовных ценностей, религии, языка, образа жизни.

Однако даже сотрудничавшая с амхара традиционная верхушка была не сразу включена в социально-политическую структуру империи.

⁵ Тэкле Цадик Мэкурия. История Эфиопии. От императора Теодроса до императора Хайле Селассие I. Аддис-Абеба, 1936 [Эфиопский календарь], с. 62 (на амхар. яз.).

⁶ Nardos Ababa. Expansionism of Ethiopia through Menelik 1867—1898. Addis Ababa, 1963, p. 3.

⁷ Taddesse Tamrat. Church and State in Ethiopia 1270—1527. Oxford, 1972, p. 137.

⁸ См. Чернецов С. Б. Кто такие амхара. Опыт исторического обзора термина и его употребления. — В кн.: Этническая история Африки. М.: Наука, 1977, с. 38.

Причиной тому было замедленное введение аппарата управления в новых областях; лишь со временем участились и стали более регулярны непосредственные контакты представителей новой власти с местным населением. Ассимиляция в таких условиях явилась скорее побочным продуктом утверждения амхара на территории их новых владений. Для амхара она вытекала из необходимости сохранить контроль над этими владениями, а для местного населения, в особенности его традиционной верхушки, — из необходимости адаптироваться к новым условиям. В сущности, помимо попыток христианизации новых подданных императорское правительство не предприняло никаких серьезных и целенаправленных мер для ускорения процесса ассимиляции среди широких масс населения присоединенных областей. Такая цель даже и не ставилась, а если бы и была поставлена, то возможности для ее осуществления у христианской монархии было не так много.

В стремлении создать себе социальную опору среди местного населения феодалы амхара старались по мере возможности привить местной верхушке, на сотрудничество с которой делалась ставка, собственную систему ценностей, где главным составным элементом была христианская религия. Другим испытанным средством, как уже говорилось, были смешанные браки. Проведший несколько лет в Эфиопии русский врач А. Кохановский, в частности, отмечал, что сам «император часто роднится с местными феодалами, отдавая им в жены своих дочерей, племянниц; эти жены являются не только родственными связями, но и политическими агентами Менелика»⁹. Прагматизм подхода амхарских феодалов к вопросам брака с представителями местной знати хорошо иллюстрирует эфиопский историк Ляписо Дилебо. Рас Тэсэmma Надзу, который в результате успешного похода на небольшое государство оромо Гумма сместил с трона правителя и казнил его сына, тем не менее сочетался браком с поспешно обращенной в христианство дочерью этого правителя, ставшей наследницей престола¹⁰.

Гораздо реже смешанные браки заключались на более низких ступенях социальной иерархии, скажем, между детьми переселенцев амхара и крестьян из местного населения. Правда, в какой-то степени процессу ассимиляции здесь способствовало то обстоятельство, что у воинов амхара бывали дети от женщин других этнических групп, и иногда они воспитывались в домах отцов.

Непременным условием для заключения смешанного брака было одинаковое вероисповедание сторон; при этом от своей прежней религии отказывались представители покоренного населения. В целом же процесс ассимиляции на таком локально-бытовом уровне можно с некоторыми оговорками определить как шедший «снизу», в основном по инициативе присоединенного населения. Для неамхара перенять образ жизни, культурное наследие, язык господствующего этноса на деле означало сохранить, а порой и повысить свой социальный статус. Такое поведение вызывало доверие к нему со стороны властей и соответственно открывало большие перспективы для продвижения в жизни. Естественно, что оромо или гураге, который по собственному желанию принял христианство, сменил имя на христианское, стал носить одежду амхара, перенимал их образ жизни и манеру поведения, импонировал властям больше, чем его некрещеный соплеменник. Эти люди, замечает Таддэсэ Тамрат, «в конце концов становились местными агентами завоевателей, действуя как живые связующие звенья между своим народом и его новыми феодальными владыками»¹¹.

Что же касается христианизации, то этот процесс направлялся главным образом сверху, по инициативе феодальной верхушки и христианской церкви. Идея обращения иноверцев в христианство была заложена

⁹ Кохановский А. Император Менелик и современная Абиссиния (Б. м., б. г.), с. 23.

¹⁰ Lapiro G. Dilebo. Land Tenure, Underlying Cause of Ethiopian Revolution. Addis Ababa, 1978, p. 22.

¹¹ Таддэсэ Тамрат. О феодализме в Эфиопии. — В кн.: Эфиопские исследования. История, культура. М.: Наука, 1981, с. 25

ше в Кыбрэ-Нэгэст, древнем сборнике канонических легенд, высоко почитаемом эфиопским традиционным обществом. Но вместе с тем исследователи отмечают, что в умножении своей паствы духовенство христианской Эфиопии не отличалось особым рвением. Уже упоминавшийся Таддэсэ Тамрат подчеркивает: «Обращение покоренных народов предоставлялось естественному ходу событий. По мере укрепления контроля со стороны христиан жители завоеванных областей медленно и не спеша в равной степени вовлекались в орбиту новой религии»¹².

В хронике Гэбрэ-Сылласе, официального летописца деяний императора Менелика, содержится немало упоминаний о том, что когда военачальник амхара отправлялся в поход на неамхарские районы, за ним следовали священники, а в обозе везли переносный алтарь¹³. Но сам обряд обращения новых подданных в новую для них веру имел достаточно формальный и поверхностный характер. Один из европейских путешественников, очевидец этой церемонии, описывает ее так: «По приказу Менелика группе галла из пятисот человек было приказано идти к ближайшей реке. Священники амхара поделили присутствующих на две части, и тем, кто оказался справа, давалось имя Уольдэ-Микаэль, а тех, кто был слева, нарекали Уольдэ-Гийоргисами. Затем новообращенным галла раздавали куски мяса животных, забитых руками христиан. При этом все были убеждены, что таинство совершилось»¹⁴.

Конечно же, такой в известной мере принудительный и поспешный обряд совсем не означал, что неопиты незамедлительно проникались идеей новой религии. Недаром о тех же оромо Уолло говорилось, что они «христиане днем и мусульмане ночью». Другое дело, что жителям покоренных областей было выгодно хотя бы считаться христианами. Во-первых, их уже нельзя было обратить в рабов, во-вторых, общность веры давала некоторую гарантию безопасности среди амхара. Иногда для этого достаточно было иметь лишь внешние атрибуты христианина: крестик или синий шнурок на шее.

Несколько иначе дело обстояло в тех областях, где ислам пустил глубокие корни, например в Джимме или Харэре. Хотя прозелитическая активность эфиопского духовенства и поощрялась правящими кругами империи, ее масштабы непосредственно зависели от степени военно-политического контроля амхара в конкретном районе. Усугубление политического завоевания религиозными притеснениями или насильственным введением чуждой местному населению религии могло обострить противоречия на религиозной почве, затруднить поддержание порядка в этой области и даже привести к вооруженным выступлениям против верховной власти. Удерживать в подчинении увеличившуюся к концу XIX в. почти в три раза территорию страны и без того было непросто, поэтому провоцировать мусульман на религиозные выступления было не в интересах амхара.

Ярким примером религиозной терпимости в районах с преобладающим мусульманским населением может служить деятельность губернатора Харэра раса Меконнына. А. Бартницкий и И. Мانتель-Нечко приводят характерный случай, когда, столкнувшись с противодействием мусульманской верхушки строительству церкви, рас Меконнын пригласил мусульманских старейшин на совет и заявил, что поскольку мусульманское население относится недоброжелательно к строительству церкви, «он отказывается от этого проекта. И чтобы никого не обижать строительством христианской святыни, но одновременно положить конец дискриминации христиан, он предлагает разделить мечеть на две части: одной пользовались бы по-прежнему мусульмане, другая была бы передана христианам. Собравшиеся мусульмане в этой ситуации, конечно, согла-

¹² Taddesse Tamrat. Church and State in Ethiopia, p. 173.

¹³ Guèbrè Sellassié. Chronique du règne de Ménélik II, roi des rois d'Ethiopie. Paris, 1930—1931, t. I, p. 281.

¹⁴ Цит. по: Marcus H. Motives, Methods and Some Results of the Unification of Ethiopia during the Reign of Menelik II.— In: Proceedings of the Third International Conference of Ethiopian Studies. Addis Ababa, 1969, p. 274.

силась, чтобы христиане построили свою церковь»¹⁵. Таким образом отказ от нажима в религиозной сфере способствовал в известной мере нейтрализации мусульманской оппозиции. Это создавало для новой власти более благоприятные условия для осуществления ее политики во вновь присоединенных областях.

Хотя правительство и поощряло переход в христианскую веру, оно как уже отмечалось, не стремилось форсировать этот процесс. Так, в соответствии с проводимой в жизнь концепцией веротерпимости, в религиозную практику жителей мусульманской Джиммы новая администрация амхара вообще не вмешивалась, а в соседнем государстве Лимме после включения его в состав Эфиопской империи была построена лишь одна церковь для чиновников-амхара и переселенцев с севера. Такого рода осторожность в отношении религиозных чувств местных жителей была продиктована интересами Эфиопского государства в целом и заботой об укреплении его единства. Вместе с тем это в определенной мере тормозило процесс ассимиляции, поскольку допускало, как, например, в Харэре, обособленное существование двух конфессиональных общин.

В районах, население которых исповедовало автохтонные религии, новые власти в силу традиционно сложившегося отношения к нему церемонились много меньше. К тому же военная мощь амхара и более высокий уровень их культуры производили на население этих районов столь сильное впечатление, что местная племенная знать сама была готова подражать амхарам. На это указывает, в частности, А. Булатович в своих отчетах о путешествиях по Эфиопии¹⁶. Аналогичные сведения приводятся и другими очевидцами. Например, английский путешественник Бланделл, посетивший в 1904 г. район слияния Нила с Дидессой, отметил большие изменения в образе жизни местных оромо в результате их контактов с амхарам. Члены английской экспедиции, посетившие в 1900 г. Кэфу, сообщали, что «жители области больше не носят своих национальных одежд и одеваются, как шоанцы»¹⁷.

В целом же, несмотря на бросающиеся в глаза определенные внешние признаки ассимиляции населения присоединенных к Эфиопии во второй половине XIX в. областей, можно утверждать, что этот процесс шел медленно, имел зачастую довольно поверхностный характер, и затрагивал главным образом местную элиту, которая в новых условиях искала пути сохранения своего статуса и привилегий.

¹⁵ Бартницкий А., Мانتель-Нечко И. История Эфиопии. М.: Наука, 1976, с. 397.

¹⁶ Булатович А. К. С войсками Менелика II. М.: Наука, 1971.

¹⁷ Цит. по: Marcus H. Op. cit., p. 275—276.

Этнография В МУЗЕЯХ

ОТ РЕДАКЦИИ

В Постановлении ЦК КПСС «Об улучшении идейно-воспитательной работы музеев», принятом в августе 1982 года, констатируются возрастающая роль и широкие возможности музейных учреждений. В нем дается оценка состояния музейной работы в Советском Союзе и намечаются важнейшие меры по ее совершенствованию.

Музейное дело получило в нашей стране значительный размах, заметно выросло число посетителей музеев, укрепились связи музеев с широкими кругами трудящихся и с учащейся молодежью. Все это обязывает критически оценить различные аспекты деятельности музеев, в первую очередь идейно-воспитательный и научно-исследовательский. Вопрос о том, насколько активно участвуют музеи, в том числе и этнографические, в коммунистическом воспитании советского человека, в какой мере способствуют они гармоничному развитию его личности — личности интернационалиста и патриота, бережно относящейся к гуманистическим традициям предшествующих поколений, приобретает теперь особое значение. Проблемы идейно-просветительного и научного характера, которые рассматриваются в Постановлении, будут несомненно обсуждаться этнографической общественностью.

Журнал «Советская этнография» с первых лет издания периодически публикует статьи и информационные материалы по вопросам этнографического музееведения. Однако целый ряд важных проблем еще не был подвергнут критическому анализу, многие музеи, в том числе и крупнейшие (Музей антропологии и этнографии АН СССР в Ленинграде, Эстонский этнографический музей в Тарту, Государственный историко-этнографический музей-заповедник Кижии и др.) до сих пор не принимают участия в обсуждении музейно-этнографической проблематики. Вне поля зрения, как правило, оказываются региональные исторические и краеведческие музеи, располагающие огромным фондом этнографического материала. Редакция надеется, что введенный в этом номере журнала музейный раздел станет постоянным. В нем могли бы публиковаться статьи и сообщения о современных проблемах научного комплектования музейных фондов, о методике построения новых экспозиций, формах работы с посетителями, а также информация о том, что сделано музеями для выполнения Постановления ЦК КПСС о музейной работе.

А. М. Разгон

МУЗЕЙ И НАУКА

Музеи — особый вид научных учреждений. Признавая это, обычно имеют в виду прежде всего научную ценность их коллекций. Однако характерной особенностью музеев является и их полифункциональность — сочетание исследовательских, охранных и научно-просветительных, образовательно-воспитательных общественных функций. В зависимости от того, на каких элементах характеристики делаются акценты, приходят к самым различным выводам о сущности музеев как социальных институтов.

Подлинно научное решение проблемы требует всестороннего анализа

связей музея, его научной деятельности с профильными дисциплинами а вместе с тем и выявления музейведческих аспектов, исследовательской сущности которых обусловлена собственным предметом, методом структурой музейведения. Изучение исторического развития музейведчества — одно из обязательных условий, помогающих раскрытию всего многообразия связей этих учреждений с наукой, а также пониманию их общественного предназначения.

В связи с ростом интереса к истории нашей Родины повышается роль музеев в воспитании трудящихся, что подчеркивается в недавно принятом Постановлении ЦК КПСС «Об улучшении идейно-воспитательной работы музеев»¹. А это предъявляет новые, более высокие требования ко всем направлениям их деятельности. Одно из важных условий дальнейшего подъема музейного дела в нашей стране — научное обобщение опыта музеев, создание хорошо разработанной теории и методики музейведения, в том числе и этнографического. Между тем исследований посвященных музейной проблематике, пока крайне мало. Мало работ и по истории этнографического музейведения. Поэтому мы сочли целесообразным привлечь внимание читателей к единственной в своем роде монографии Т. В. Станюкович «Этнографическая наука и музеи»², в которой не только показана «роль музеев в коллекционировании и изучении памятников культуры и быта народов мира, в разработке методики и инструментария научных исследований, в сборе, систематизации и экспонировании коллекций» (с. 5), но и выдвинуты проблемы, требующие дальнейшего обсуждения.

Монография Т. В. Станюкович, являясь этнографической, связана с целым рядом дисциплин — историографией, источниковедением, музейведением, историей культуры, науковедением.

Анализируя историю этнографических музеев, автор поставил задачу выявить их место в системе научных знаний; влияние на направление развития этнографии, ее проблематики и методов исследования; значение музеев как источниковой базы и одновременно как учреждений, документально документирующих своими собраниями огромный вклад отечественных ученых в этнографическое изучение культуры и быта народов всего земного шара.

Монография в значительной мере охватывает как историографически-этнографические, так и музейведческие проблемы. Поэтому вполне естественна подчеркиваемая Т. В. Станюкович связь монографии и с этнографическими, и с музейведческими исследованиями, в частности, по истории музейного дела. Конечно, академические музеи, история которых рассматривается автором, принадлежат к особой группе: во-первых, коллекции их фондов составляют главный элемент источниковой базы специальной исторической дисциплины, а это, как известно, характерно не для всех исторических музеев; во-вторых, в классификации по основному общественному назначению эти музеи квалифицируются как преимущественно исследовательские. Их связи с наукой проступают более четко и имеют специфические черты, что, кстати, хорошо показано в книге.

Несомненное достоинство монографии — хронологическая широта: автор изучает процессы, протекавшие на протяжении двух с половиной столетий — с момента зарождения публичных музеев до современности. Такая ретроспектива открывает богатейшие возможности для рассмотрения различных этапов, для сравнений и сопоставлений.

Многоаспектность исследования и его хронология предопределили сложность состава первоисточников, использованных автором. Среди них все многообразие письменных источников (архивных и публикаций); вещественные этнографические коллекции, изобразительные документальные материалы. Комплексность источниковой базы — принцип, последовательно проводимый автором, важнейший элемент замысла.

¹ Правда, 20 августа 1982 г.

² Станюкович Т. В. Этнографическая наука и музеи (по материалам этнографических музеев Академии наук). Под ред. М. Г. Рабиновича. Л.: Наука, 1978, 285 с.

Исследование отличает высокий методологический уровень. Раскрытие значение академических музеев и этнографии в истории мировой культуры, гуманистический характер теоретических построений практической деятельности многих крупнейших представителей русской этнографии и музейного дела, Т. В. Станюкович всегда строго слепет принципам историзма и классового анализа конкретных явлений. то позволяет ей, проследив развитие этих явлений, их преемственность противоречия, показать, как в советскую эпоху меняется сущность музеев, которые становятся действенным средством борьбы с реакционными буржуазными теориями и с антигуманистической практикой в отношении так называемых «диких» народов.

Монография открывается очерком истории старейшего русского публичного музея — Петербургской кунсткамеры (1714 г.), возникновение которой знаменовало начало новой эпохи собственно музейного дела, хотя его предыстория своими корнями уходит в глубокую древность. Уже в самом начале деятельности Кунсткамеры отчетливо выявляется единичность связи музея и науки. Более того, на этом этапе развития науки музей лежит в ее основании.

Главы, посвященные дальнейшему развитию академических этнографических музеев и их связи с наукой, структурно совершенно оправданы: хронологические грани намечены не по формальным признакам, а отражают имманентное развитие науки и музеев. Если сначала речь идет о таком ведущем явлении, как комплектование широкого фонда коллекций этнографических материалов музея, и вместе с тем — формирование источниковой базы и закладке фундамента самой этнографии в поисках ею собственной проблематики (вторая половина XVIII в. — первые годы XIX в.), то последующий этап (до 1917 г.) характеризуется комплексным изучением человека и его культуры, а Музей антропологии и этнографии, вполне определивший свой профиль и сам являющийся как бы частью национальной культуры, достигает предельного развития, которое было возможно на базе буржуазной методологии. Прогрессивные тенденции, вскрываемые автором в развитии музея и науки, имеют в значительной мере субъективные основания и связаны с деятельностью целой плеяды прогрессивных и революционно настроенных ученых-гуманистов. В этих разделах, в отличие от раздела о Кунсткамере, автор при анализе материала идет от науки к музеям, хотя последние остаются в центре внимания, поскольку по истории этнографии имеются, как известно, специальные исследования.

Наконец, большой раздел монографии посвящен новому периоду в истории музеев и науки, начавшемуся после Великой Октябрьской социалистической революции и продолжающемуся в наши дни. В этот период научные учреждения представлены уже не только музеями, функционирующими в системе Академии наук, но и специализированным Институтом этнографии, частью которого становится Музей антропологии и этнографии. Благодаря марксистско-ленинской методологии возникает новое качественное единство музеев и науки, не исключающее, однако, функциональных различий, закономерных для разных видов научных учреждений.

Проблематика монографии чрезвычайно многообразна, и исследование содержит важные для науки и практики выводы. Отметим лишь некоторые из проблем, рассмотренных автором, и одновременно обратим внимание на ряд спорных вопросов, имеющих в работе, что вполне естественно для всякого подлинно оригинального исследования.

Автору в полной мере удалось реализовать основную задачу: выявить место музеев в этнографической науке и характер отношений, существовавших между проблематикой науки и таким своеобразным видом научного учреждения, как музей, на различных этапах исторического развития. Чрезвычайно убедителен анализ этих связей и взаимозависимостей на материале ранней истории науки и музея (Кунсткамера первой половины XVIII в.). Эта линия четко прослеживается и в последующие периоды.

В конце XVIII в. развитие науки вширь и вглубь, изменение роли Академии наук и всей организации научных исследований сказались на научной деятельности Кунсткамеры и, прежде всего, на самом характере комплектования коллекций памятников-первоисточников. Вместе с Академией в роли методического центра (создание ряда инструкций-вопросников для научных экспедиций), музей комплектовал систематические, разумеется, на уровне научного понимания своего времени, собрания прежде всего благодаря тем же экспедициям (с. 48—55 и др.). Эта установка сохраняется и в последующее время, при этом были достигнуты необычайные результаты: Отличный пример — экспедиция И. Г. Вознесенского (1839—1849 гг.), работавшая по инструкции академика Е. И. Шредера; итогом экспедиции была уникальная коллекция из 2829 этнографических предметов (с. 78—81). Вообще анализ связи полевых этнографических исследований и научного комплектования фондов музеев убедительно раскрывает взаимозависимость науки и музеев как научных учреждений. Такова история многочисленных академических экспедиций XVIII в., научных изысканий А. М. Шегре, Н. Я. Бичурина, блестящих стационарных исследований Н. Н. Миклухо-Маклая и многих других экспедиций, проводившихся в последующие периоды. Думается, что есть все основания для квалификации музейных коллекций как одного из важнейших и специфических видов научной продукции музеев, причем в значительной части эта продукция относится не только к профильной науке, но и к музееведению.

Дифференциация наук четко отражается в направлении развития Кунсткамеры. Появление специализированных отделов — Азиатского, Ботанического, Зоологического, Египетского, Этнографического, являвшихся позднее базой для создания специализированных музеев, — является следствием нового этапа в истории науки (с. 69—71, 77 и др.).

Сложнее обстоит дело во второй половине XIX в., когда вновь были выдвинуты проекты реорганизации самостоятельных академических музеев в единый (с. 107 и др.). В то же время существовал проект создания двух групп музеев — чисто научной и просветительной (публичной) ориентации. Оценка этих проектов и связанных с ними явлений требует, нам представляется, дальнейшего анализа. Суть в том, что такого рода факты, конечно, не свидетельствовали о попятном движении в развитии науки, а были связаны с социальными требованиями, с потребностью в создании сети музеев разных типов.

Органичность взаимоотношений между музеями и этнографией, естественно, находится в поле зрения и в той части монографии, которая посвящена советской этнографической науке и Музею антропологии и этнографии, хотя специфичность этих отношений в условиях современной науки нуждается, на наш взгляд, в более углубленном рассмотрении.

В книге содержатся разнообразные сведения не только об учебно-служебной деятельности, была связана с этнографическими музеями Академии наук, а и о многих выдающихся представителях русской науки, творческие биографии которых в той или иной мере соприкасались с историей этнографических музеев и чьи уникальные коллекции обогатили их фонды (В. Н. Татищев, С. П. Крашенинников, П. С. Паллас, Н. Я. Озерцовский, И. И. Лепехин, И. Г. Вознесенский, А. М. Шегер, К. М. Бэр, Н. Я. Бичурин, Н. Н. Миклухо-Маклай, В. В. Радлов, С. Ф. Ольденбург, Л. Я. Штернберг, В. Г. Богораз, Д. К. Зеллер и мн. др.). И в этом отношении книга также существенно дополняет историографию русской и советской науки.

В меньшей мере, на мой взгляд, автору удалось показать другую линию связей этнографических музеев с наукой — связей с музееведением, что в значительной мере объясняется тем аспектом исследования, который намечен в монографии. Думается, однако, что без этого многие факты в истории музеев не могут найти объяснения. Почему, например, в период, когда на базе Музея антропологии и этнографии создавался специальный институт (1930-е гг.), причем, как отмечает автор, «му-

институт не были отделены друг от друга» (с. 207 и др.), музей продолжает испытывать огромные трудности в разработке системы экспозиции? Казалось бы, столь идеальное соединение профильной науки и музея должно исключать возможность подобной ситуации. Но именно так проявляется одна из сложностей связей музеев с наукой. Дело в том, что эти отношения отнюдь не могут быть сведены к профильным дисциплинам (в данном конкретном случае — этнографии). В такой же степени музеи зависят от специальной науки — музееведения. Если в музееведении оказываются нерешенными принципиальные теоретические и прикладные вопросы, может в значительной мере ограничиваться и возможность музеев использовать достижения профильных наук.

Большое место в научной деятельности музеев занимают экспозиции, поэтому, естественно, в монографии им уделено серьезное внимание.

В. Станюкович прослеживает длительный исторический путь экспозиции, рассматривая ее концепции как производное от профильной дисциплины. В итоге автор вычленяет четыре этапа в развитии экспозиции, в этом терминологически определены лишь второй и третий, а два пропущены. Эти этапы можно было бы обозначить следующим образом:

1. Недифференцированная многопрофильная экспозиция (первая половина XVIII в.).
2. Предметно-вещеведческая экспозиция (вторая половина XVIII — первая половина XIX в.).
3. Эволюционно-типологическая экспозиция (вторая половина XIX в. — 1917 г.).
4. Комплексно-тематическая экспозиция (после 1917 г.).

В книге дана довольно полная характеристика всех этапов, хотя, конечно, и здесь возможны и даже необходимы дальнейшие уточнения. Чаще всего это касается новейшего периода, поскольку ускоренное развитие науки, окончательное становление музееведения как самостоятельной дисциплины привели к самым решительным изменениям системы экспозиции и к ее научному обоснованию. Путь к современной комплексно-тематической экспозиции был весьма непростым, поэтому целесообразно было бы проследить связь поисков принципов экспозиции в этнографических музеях с разработкой советским музееведением новых задач и систем экспозиций в музеях исторического профиля. Тогда и типологические выставки 1920-х годов, в которых делалась попытка отразить производительные силы и производственные отношения (с. 193—194), не объяснялись бы рамками эволюционно-типологического метода, применявшегося, кстати, в это время не только в советских этнографических музеях. Вообще хотелось бы видеть несколько более широкий сравнительный фон с системами экспозиций музеев исторического профиля, в которых преобразования происходили примерно в то же время, что и в этнографических музеях.

Положение музеев в 1930-е годы с точки зрения музееведа также было несколько иным. Т. В. Станюкович отмечает, что МАЭ отдал дань таким «веяниям времени», как «увлечение плоскостными выставками», вызвавшим реакцию на практику «бескрылого вещеведения». В музееведении возникает в связи с этим «гонение на вещи, причем многие музеи переходят в другую крайность: из экспозиций выхолащивается конкретный вещевой материал, вместо которого стены и шкафы заполняются лозунгами и цитатами, схемами, фото- и статистическими таблицами» (с. 200). И далее автор пишет: «В эти же годы велись поиски оптимального соотношения объемного и плоскостного материала, что привело к отказу как от вещеведческих экспозиций, страдавших из-за слабости вещевого материала, так и от серых рядов плоскостных экспозиций» (с. 207—208). С этой, несколько упрощенной, трактовкой упомянутых исторических фактов едва ли можно согласиться. Поиски и перемены того времени имели гораздо более глубокую основу.

Показательно, что даже такой авторитетный ценитель подлинного этнографического материала, как В. Г. Богораз-Тан, призывал «освободиться от плена вещей» и выставлять «не вещи, а социально-экономи-

ческие и политические идеи» (с. 200). Это, конечно, не просто случайное совпадение с формулами Первого музейного съезда (декабрь 1930) и крайними требованиями вульгарно-социологического подхода к музейной экспозиции. Ничего не объясняет и отсылка на споры о «вещных» и «плоскостных» материалах. Дело в том, что проблема, которая здесь упомянута, не сводится к вопросу о «соотношении» этих видов материала. Фактически споры о «вещевом» и «плоскостном» скрывают весьма принципиальные проблемы о месте музейного предмета-подлинника и научно-вспомогательного, объяснительного материала в системе музейной экспозиции; о принципах организации музейного материала зависящих от понимания сущностных характеристик музея как социального института и от методологических позиций, определяющих задачи и возможности музейной экспозиции. Таким образом вопросы эти имели кардинальное значение и не сводились к «оформительским примам».

Книга Т. В. Станюкович раскрывает практическую роль этнографических и этнографических музеев в идеологической борьбе, в решении национального вопроса, в осмыслении процесса формирования новой социалистической общности — советского народа. Это очень важно, ибо книга, на наш взгляд, может служить определенным ориентиром для функционирующей в нашей стране музейной сети, в составе которой есть десятки специализированных этнографических музеев и тысячи исторических и краеведческих музеев, имеющих богатейшие этнографические коллекции. Все эти музеи не только широко используются целым комплексом наук, но и являются основой образовательно-воспитательной деятельности, охватывающей более 100 миллионов человек.

Самостоятельную ценность, несомненно, имеет публикуемый в книге превосходный изобразительный документальный материал, никак не укладывающийся в обычное понятие иллюстраций: портреты выдающихся русских этнографов, историков, музейных деятелей; фрагменты экспозиции этнографических музеев на разных этапах их развития; карты этнографических коллекций и отдельные этнографические экспонаты. Наконец, в приложениях дана краткая справка о коллекционных фондах Музея антропологии и этнографии. Все эти документальные публикации вместе с богатым ссылочным аппаратом делают книгу совершенно незаменимой для тех, кто занимается вопросами этнографии и музейного дела.

А. О. Мелия

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ЗОДЧЕСТВА И БЫТА ГРУЗИИ

Начало создания в Грузии музея под открытым небом относится еще к 1940-м годам, когда Академией наук Грузинской ССР был поднят вопрос об организации государственного заповедника на основе двух этнографических объектов — горных селений Лахири и Дартло. Но лишь в начале 1960-х годов при Обществе охраны памятников культуры ГССР началась планомерная и целенаправленная работа по созданию Музея народного зодчества и быта. Первые эскизы музея были выполнены Н. Браилашвили и В. Цилосани, макет создан Г. Алшибая. В 1968 г. после окончания предварительных работ был утвержден созданный Л. Сумбадзе генеральный проект строительства музея. Научная консультация осуществлялась акад. АН ГССР Г. С. Читая, разработавший принципы устройства музея под открытым небом¹. Официальное открытие музея состоялось в 1976 г., но пополнение его этнографическим

¹ Читая Г. Принципы и методы организации музея под открытым небом. — Дзегли мегобари, сб. 48, с. 10—17; см. также: Дзеглис мегобари, сб. 1, 7, 25 (на груз. яз.).

объектами продолжается и по сей день. Работа развернулась в трех направлениях: сбор этнографических экспонатов, научно-исследовательская деятельность и научная пропаганда. Экскурсии и лекции в музее проводятся на грузинском, русском и трех иностранных языках. Научной работой музея руководит ученый совет под председательством акад. Г. С. Читая.

В создании экспозиции музея принимают участие этнографы, архитекторы, а также специальная научная ремонтно-реставрационная мастерская Министерства культуры ГССР. Для сохранения памятников существуют два способа: их разбор и перенос в музей под открытым небом или консервация на месте. Абсолютное большинство экспонатов подлинные; некоторые объекты на его территорию были перенесены и устроены с помощью грузинских народных мастеров. Только в крайних случаях, когда тот или иной этнографический объект больше не существует, но имеет определенное культурно-историческое значение (например, для показа развития жилища или техники строительства), он воссоздается по имеющимся архитектурным и этнографическим материалам.

Задача музея — показ образцов материальной и духовной культуры грузинского народа — поселений, жилища, хозяйственных построек, оборонительных и культовых сооружений, утвари, предметов народных ремесел, транспорта и др. — в едином комплексе в условиях, аналогичных условиям их существования в народном быту. Конечно, отобразить все многообразие грузинского быта и культуры сложно, поэтому для показа выбирается наиболее типичное. При устройстве интерьеров усадеб, жилища, хозяйственных построек по возможности учитываются структура предмета, техника его изготовления и функции, а также природные и исторические условия бытования.

При выборе территории музея и его проектировании учитывался основной показатель природно-хозяйственных ареалов Грузии — вертикальная зональность: высокогорье, предгорье, равнина. Это дало возможность показа этнографических экспонатов по названным зонам. Например, для равнины, где были развиты земледелие, виноградарство, виноделие, применялись большой плуг (*диди гутани*) с упряжкой в 8—10 пар волов или быков, молотильная доска, большая арба, было характерно одно-, двухэтажное жилище. В горах преобладало скотоводство, земледелие было развито слабо, виноградарством и виноделием местные жители не занимались, вместо плуга применялась соха, запряженная одной парой волов. Здесь основной формой горского жилища был двух-, трехэтажный дом-крепость с вертикальным расположением всех жилых и хозяйственных помещений.

В предгорье сочетались скотоводство и земледелие, а пахотное оружие представляло переходную форму от равнинного тяжелого плуга к легкой горской сохе.

В соответствии с культурно-историческими и естественно-географическими условиями республики территория музея разделена на десять историко-этнографических зон. На западе это: 1) зона Колхиды и Черноморского побережья (Гурия, Самегрело); 2) западная зона (Имерети, Бача-Лечхуми); 3) Абхазия; 4) зона Западного высокогорья (Верхняя и Нижняя Сванети); 5) Абхазия (как автономная республика административно входит в Грузинскую ССР). Остальные пять в Восточной Грузии: 1) центральная зона — Внутренняя и Нижняя Картли; 2) восточная зона — Внутренняя и Внешняя Кахети; 3) южная зона (Самцхе, Гримальети и Джавахети); 4) Южная Осетия (Юго-Осетинская автономная область в составе Грузинской ССР); 5) восточное высокогорье (Хевсурети, Мтиулет-Гудамакари, Пшав-Хевсурети и Тушети).

Внутри названных зон учитывались различия между равнинными, предгорными и горными районами. В каждом из них намечалось строительство 6—10 усадебных комплексов, а также построек, связанных с сезонным характером ведения хозяйства (сванское лабави, мегрельское карави).



1. Общий вид усадеб из Западной Грузии

Кроме 10 историко-этнографических зон на территории музея устраиваются зоны: историко-археологическая, зеленых насаждений, отдыха.

Осмотр экспозиции начинается с зоны Колхиды и Черноморского побережья, которая занимает большую часть равнинной территории музея. Здесь будет расположено шесть усадебных комплексов. Первый из них — усадьба крестьянина-бедняка второй половины XVIII в. Из всех усадебных построек в ней возведен пока только жилой дом, сделанный традиционным способом из коротких досок и брусьев на каменных столбах. Покрытие дома двускатное. В плане этот дом квадратный с двумя дверными проемами, находящимися друг против друга. С фасада постройка имеет балкон с деревянными столбами, украшенными резьбой. Вся усадьба обнесена оградой, ее нижняя часть сложена из камня, верхняя представляет собой плетень.

Чуть выше этой усадьбы расположена усадьба зажиточного мегрельского крестьянина конца XIX в. Усадьба огорожена плетнем; с южной стороны ограды имеется калитка, крытая желобчатой черепицей. Пройдя по обширному переднему двору, мы входим в жилой дом, за которым находится дом-кухня и участок, засеянный кукурузой. В дальнейшем за кухней будет устроен хозяйственный двор.

С западной стороны жилища намечено устройство марани — специальной хозяйственной постройки с виноградной давяльной и зарытыми в землю кувшинами (квеври) для отстаивания и хранения вина. Жилой дом второй усадьбы выстроен из липы и каштана, на каменных столбах. Такова традиция домостроительства в Колхидской зоне, климат которой характеризуется повышенной влажностью. Балкон по фасаду удлинен на одну секцию, что увеличивает площадь балкона (в этой секции расположена лестница). На балкон выходят двери из двух комнат — гостиной и спальни (они разделены съемной перегородкой). Из спальни дверь ведет в столовую. Каждая из комнат обогревается камином, установленным в центральной части дома. Кроме основной функции этих каминов — обогрева помещений, они используются как конструктивный элемент, служащий опорой чердачного перекрытия и крыши. В северной части дома за гостиной расположена сравнительно небольшая кладовая для хранения продуктов. Деревянные наличники дверей и окон, а также потолок гостиной отделаны резьбой. В интерьере этой комнаты представлены сделанные местными мастерами ковры, бурка, косынки и чесучи, сотканые с большим искусством. Кроме жилого дома в данной усадьбе находится амбар с древней системой запоров.



2. Кукурузник из Западной Грузии

Третья крестьянская усадьба — из Гурии — датируется второй половиной XIX в. В передний двор усадьбы попадаем через деревянную калитку традиционной формы.

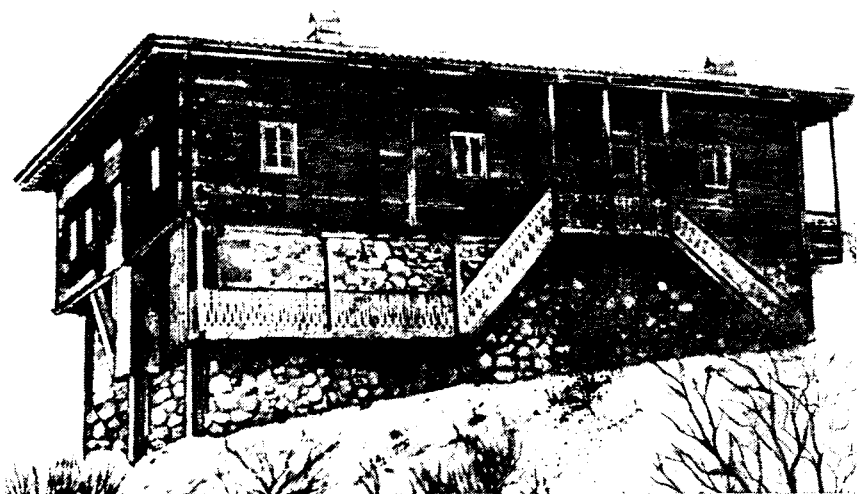
Жилой дом (одасахли), высоко поставленный на каменных столбах, состоит из трех жилых и одной подсобной комнаты и просторного балкона. По каменной лестнице поднимаемся на балкон, отсюда — в просторную гостиную. Обстановка ее состоит из складного стола, сделанного местным мастером, тахты, деревянного шкафа с инкрустацией из самшита, стульев, паласа, спускающегося со стены и покрывающего тахту. Сдвигная стена отделяет гостиную с красивым камином и арочной инкрустацией окнами от спальни. В спальне имеются детская урка, валянная из белоснежной шерсти, традиционная деревянная кровать.

В восточной стороне переднего двора находится марани — винодельня. Рядом с ней в земле в тени айвовых и гранатовых деревьев, у которых корни неглубокие и сплетены некрепко, зарыты глиняные винные увшины. Недалеко от марани расположен виноградник с местной породой винограда «качи».

Передний чистый двор отделяется от заднего, хозяйственного двора летнем. На юго-восток от жилого дома находится покрытая рододендроном постройка (самзадисахли), где готовят пищу, хранят хозяйственную утварь, изготовленную местными мастерами, в том числе глиняные кувшины для вина и воды, деревянную пороховницу и круглые, плетеные снегоступы, которые надевали зимой на охоту. Под навесом развешаются различные орудия труда. Дощатая стена делит самзадисахли на две половины: хозяйственную (с открытым очагом в центре) и хлев. Из хлева попадаем в хозяйственный двор, в ограде которого имеется такая широкая калитка, что через нее может проехать арба простой конструкции. В хозяйственном дворе устроен дощатый на четырех высоких каменных столбах кукурузник, имеющий балкон для складывания плетеных корзин разных размеров (в них перевозится кукуруза).

В хозяйственном дворе представлена двухколесная арба, конструкция которой хорошо приспособлена для узких извилистых дорог, так как может разворачиваться на малой площади.

Крестьянская усадьба второй половины XIX в. из Верхней Имерети также огорожена плетнем. Жилой дом состоит из одного помещения с двумя дверями, расположенными друг против друга. Над открытым очагом, сделанным в середине комнаты в земляном полу, в крыше устро-



3. Жилой дом из с. Дидаджара (Аджария)

ен дымоход в виде отверстия восьмиугольной формы. В боковых стенах комнаты имеются два небольших окна со ставнями. Для хранения запасов, для сушки фруктов использовался чердак, на который поднимались по приставной лестнице. Вдоль всей южной стены комнаты тянется тахта, застланная циновками. На одной стороне тахты отведено специальное место для складывания постельных принадлежностей, на другой — стоит деревянный сундук, украшенный резьбой и предназначенный для хранения белья и различных необходимых в быту предметов, например кошелька с ценностями и деньгами. У другой стены комнаты находится деревянный шкаф, в углу — деревянный ларь для хранения зерна, над которым висят кожаные бурдюки. В комнате имеются также низкий столик (хонча, табла), традиционные стулья на трех ножках, длинный стол с винными кувшинами и другими образцами гончарного производства Имерети. В южной части этой усадьбы находится амбар балконом, поддерживаемый двумя резными стойками.

Во дворе усадьбы имеются традиционное пахотное орудие типа сохи и арба, отвечающая природным горным условиям Имерети.

В 1972 г. на территорию музея перенесены два жилых дома из Верхней Имерети (с. Хани). Один из них двухэтажный, согласно надписи над дверным проемом, построен лазами в 70-х годах XIX в. Нижний этаж этого дома выложен из камня и представляет собой однокомнатное помещение с камином, верхняя часть которого отделана резьбой с изображением крестов. В этом помещении семья жила зимой; здесь же находилась кухня. Второй этаж имеет две большие комнаты и балкон с перилами и балюстрадами. В одной из этих комнат в земляном полу устроен открытый очаг с дымовым отверстием, в другой — с дощатым полом — камин.

Второй дом из того же с. Хани построен местными мастерами Гиви и Иване Табешидзе. Дом также двухэтажный; помещение нижнего, каменного этажа разделено на две половины легкой дощатой перегородкой. Одна половина, с камином, зимой использовалась как жилье; здесь же в течение всего года находилась кухня. Другая, меньшая половина была подсобным помещением, где хранили продукты, вещи и др. Арched перекрытия дверей и окон, красивые столбы, перила с балюстрадой и камин выполнены весьма тщательно и с большим вкусом. На балконе, устроенном вдоль всего дома, находится широкая скамья. Второй деревянный этаж, имеет две почти равные по размерам жилые комнаты.

Интересен жилой дом «шуа сахли» из другой историко-этнографической зоны — Рачи (Западная Грузия), построенный, видимо, в середине



4. Интерьер карталинского дарбази с очагом *кера*

IX в. Дом двухэтажный. В нижнем, каменном этаже, наполовину дубленном в землю, имеется камин. К этому этажу примыкает хлев. Второй этаж, деревянный, состоит из двух комнат и открытого балкона, расположенного над хлевом. Главная жилая комната находится на первом этаже и представляет собой прямоугольное помещение с двумя верными проемами друг против друга, с открытым очагом в центре комнаты (в этой части комнаты пол глинобитный). Над очагом устроен дымоход, выходящий на верхний этаж. Обычно дымоход закрывали дубовым железом. Зимой, когда на первом этаже растапливали очаг, дубовое железо с дымохода убирали, и дым поднимался на второй этаж. У очага размещаются кеци (глиняная или каменная сковорода для выпечки хлеба и кукурузных лепешек, обжаривания цыплят и т. п.), глиняные горшки, лежат щипцы, над очагом на цепи висит медный котел, рядом — подставка для копилки, освещавшей комнату. Вдоль стены в обогреваемой половине помещения устроена деревянная тахта, на которой спали все члены семьи. В одном из углов главной комнаты устроена кухня. Задняя комната этого дома, которая использовалась как хозяйственная, очевидно, пристроена позднее. Дом, вероятно, построен в первой половине XIX в.

Во дворе рачинского дома находится арба с колесами из целых кусков дерева, конструкция которой была приспособлена к горным условиям, и рачинское пахотное орудие.

Зона Сванети (западное высокогорье) пока что представлена единственным объектом — сванской сторожевой башней.

В зоне Аджарии внимание привлекает жилище из с. Дидаджара, приспособленное к рельефу местности. Трехэтажный дом врезан в косой склон и с фасадной стороны воспринимается как двухэтажный. В первом, каменном этаже дома, содержался мелкий рогатый скот. Второй этаж, также каменный, предназначался для крупного рогатого скота. Третий, деревянный этаж, опоясанный узким балконом, был жилым. Жилые комнаты отапливались богато орнаментированными каминами. Неподалеку от дома расположены кукурузник и другие хозяйственные постройки.

В зоне Абхазии представлены плетеные жилые постройки (пацха), выполненные местными мастерами. Одна из них в плане круглая, другая — квадратная. В этой же зоне имеется более позднее жилище — да-сахли.

Восточный и Западный секторы разделены оврагом, через который построены два массивных моста. Кроме того, тут намечено устройство традиционных висячих (бондисхиди) мостов. На склонах оврага будут сооружены несколько действующих водяных мельниц. За оврагом находятся объекты зон Восточной Грузии. Пока здесь представлены в новом жилища типа дарбази.

Дарбази — сооружение комплексного типа, в котором под одной крышей в горизонтальном плане расположены жилые и хозяйственные помещения. Письменные и археологические данные подтверждают существование жилищ типа дарбази на территории Грузии уже до нашей эры. В первой половине XIX в. этот тип жилища был еще широко распространен в некоторых районах Восточной Грузии. Основная часть дарбази — жилое помещение со ступенчато-венцеобразным потолком (гвиргвини) и верхним отверстием (эрдо), служившим для освещения выхода дыма от срединного очага.

Картли в музее представлена пока двумя объектами из центральной части области. Это дарбази и жилище с плоским покрытием (баниани сахли). Карталинский дарбази в отличие от кахетинского имеет 12-гранный гвиргвини угловой кладки, собранный из 452 балок. Тут венец минирует над всем интерьером, именно он определяет формы и пропорции остальных частей жилища.

Во дворе дарбази находится большой грузинский плуг (гутани), который впрягали 8—12 пар волов и буйволов.

Другой объект этой зоны баниани сахли — дом с плоской крышей задняя и две его боковые стены наполовину находятся в земле, фасадная стена с большими окошками над землей обращена во двор. Помещение двухпролетное, с одним орнаментированным опорным столбом посередине. Стены баниани сахли сложены из квадратного (плоского) грузинского кирпича и булыжника на известковом растворе. Высоко и дожественно решено устройство в задней стене двухъярусных встроженных шкафов с нишами, оформление каминов, фасада с арочной входной дверью. Вместо открытого очага (кера) устроен камин. В доме представлены изделия местных мастеров: деревянная тахта, палас, ковры, медная, глиняная и покрытая разноцветной глазурью посуда. Сзади дому пристроен марани — винный погреб с каменной давиленью и зарытыми в земле большими винными кувшинами (они в Грузии встречаются разной вместимости, начиная от 1 и до 150—200 пудов).

В зоне Кахети находится дарбази из с. Гиоргицминда, выстроенный в 1853 г. На двух массивных опорных столбах (дедабодзи) возведен восьмиугольный венцеобразный потолок (гвиргвини); грани балок венца отделаны косыми резными украшениями. Внутренняя сторона опорных столбов и подбалок (освещалась только эта сторона, так как источником света днем являлся проникавший через эрдо свет, а ночью свет очага или осветительных приборов, стоящих вблизи у очага) богато орнаментирована изображениями солнца и луны, различными геометрическими фигурами, среди которых преобладает изображение креста. Особо интересны дедабодзи и гвиргвини. Вокруг срединного очага главного опорного столба семья проводила значительную часть времени: здесь же стояла люлька с младенцем и находилось кресло старейшей семьи, сюда в первую очередь приводили новобрачных, здесь собиралась вся семья для решения разных вопросов, отсюда провожали покойника в последний путь. Часто на дедабодзи вырубали важные даты семейной жизни. В стенах дарбази устроены полки, часто в форме арки, на которых хранилась домашняя утварь.

Другое «дарбази» из Южной Грузии (Месхети) из с. Чачкари было перенесено и частично реставрировано на территории музея. Такое жилище состоит из большого помещения, также называемого дарбази, высеченного наполовину в скале, и из помещения для хранения пищевых продуктов. Месхетское дарбази со свето-дымовым отверстием имеет восьмигранный ступенчато-венцеобразный гвиргвини, который опирается на два дедабодзи. Стены жилища выложены из больших камней гру-

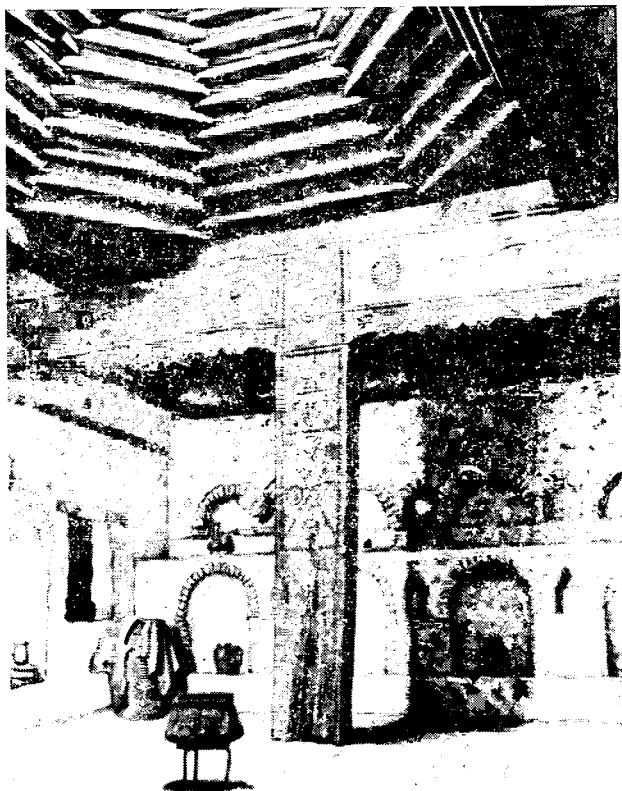


Рис. 5. Опорный столб (дедабодзи) и часть ступенчато-венцеобразного перекрытия (гвиргвини). Дарбази из с. Гиоргицминда (Кахети)

той околки на известковом растворе. Из Южной Осетии перевезен жилой дом (эрдоиани сахли).

В музее есть и историко-археологическая зона. Здесь находится базилика VI—VIII вв., выстроенная из тесаных блоков пористого камня. Базилика перенесена из Иверской долины, что неподалеку от Тбилиси. В этой же зоне представлены надгробные плиты из разных уголков Грузии, саркофаг, выдолбленный из цельного камня и покрытый двускатной крышкой также из цельного камня. На ней высечены крест и древнегрузинская надпись, по которой саркофаг датируется VI—VII вв.

Многое предстоит еще сделать. На территории музея будет построен кинолекционный зал для показа научно-популярных, документальных, документально-исторических и этнографических фильмов и для проведения лекций. Как уже отмечалось, предполагается создание зоны отдыха, где будут устраиваться концерты коллективов художественной самодельности. В нескольких павильонах посетители смогут познакомиться с грузинской национальной кухней, всемирно известными грузинскими винами.

В музее предстоит еще большая работа. Это требует как мобилизации сил всего коллектива, так и поддержки государственных организаций и широкой общественности.



ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

Н. Л. Жуковская

ВИЗИТ В КАМИНОЯМА

Вероятно, не каждый японец знает о существовании маленького городка Каминояма на юге префектуры Ямагата. 38 тыс. жителей (1975 г.), 241 км² площади, молочная промышленность, производство ниток и пряжи — разве этим кого-нибудь удивишь в стране, где 3 тыс. островов и 3255 населенных пунктов. Пожалуй, Каминояма хорошо известен любителям горнолыжного спорта, так как расположен у подножия горы Дзао, бывшего вулкана, кратер которого ныне — это озеро Окама, равно прекрасное во все времена года. В окрестностях Дзао находится крупнейший в стране спортивный горнолыжный комплекс. И еще Каминояма славится своими горячими источниками Хояма. Около 100 лет назад был открыт первый из них, сегодня известно пять, создано общество по их эксплуатации, построены больницы, лечебницы, гостиницы. Красочная реклама приглашает всех страдающих ревматизмом и желудочно-кишечными болезнями посетить местные источники. Однако не красоты Дзао, хотя мы и отдали им должное, и не перспективы будущего ревматизма привели нас в этот город. Нас привел тут случай, а случаю предшествовала довольно длинная предыстория.

В ноябре 1981 г. в Токио открылась выставка «Кочевые народы Евразии», подготовленная Институтом этнографии АН СССР совместно с девятью музеями Ленинграда, Киева, Новосибирска, Ташкента, Алматы, Кызыла. Археолого-этнографическая выставка предлагала посетителям совершить путешествие по степному шелковому пути от Южной Сибири, Алтая, Тувы, через земли Прииссыккуля и Приазовья до Северного Причерноморья — исторической территории обитания евразийских кочевников¹.

Выставка была показана в 13 городах Японии. Среди них города многомиллионным населением — Токио, Осака, Нагоя, Киото — и города, в которых проживает «всего лишь» от 200 до 400 тыс. человек — Ямагата, Асахикава, Окаяма, Фукусима. Мы открывали для себя Японию и японцев — не экзотическую Страну восходящего солнца, какой она встает со страниц книг, журналов и специальной литературы, а другую — каждодневную, будничную, страну людей на велосипедах и в кошелках в руках, школьников и школьников в аккуратных одинаковых сине-белых формах, покупателей, и прежде всего, конечно, покупателей многоэтажных универмагов — именно они составляли основной контингент посетителей нашей выставки.

Залы музеев, телестудий, но главным образом многоэтажные универмаги Японии были тем самым местом, где мы показывали нашу выставку. Поначалу нам казалось странным: научная выставка, а рядом — легкой переносной стенкой прилавки с товарами для женщин и мужчин, детей и подростков, телевизоры и магнитофоны, потрясающие по красоте расцветки кимоно и самая изящная в мире японская керамика

¹ Подробно о выставке см. *Крюков М. В.* Культура евразийских кочевников в выставочных залах Японии. — Сов. этнография, 1982, № 5.



Рис. 1. Те, кому приходится много времени проводить на солнце летом, до сих пор предпочитают традиционные соломенные шляпы *амакаса* всем модернизированным видам головных уборов

степенно привыкли, а потом оценили и этот коммерческий прием, подмывавший число посетителей в универмаге, и заботу о наших удобствах, которую проявляла администрация, и, конечно, любознательного японского посетителя, для которого визит в магазин за промтоварами и провозом прекрасно сочетался с интересом к неведомым ему скифским древностям. Более того, в его сознании они четко увязывались друг с другом, так как на многих универмагах уже за неделю, а то и ранее до нашего приезда появлялись броские красочные объявления: «Продажа товаров по случаю работы советской выставки «Кочевые народы Евразии». Все, что владельцы магазина теряли на продаже товаров по сниженным ценам, компенсировалось выручкой за входные билеты, каталог выставки, открытки, плакаты с изображением наших наиболее эффектных экспонатов.

Мы открывали Японию, а японцы открывали нас, русских, советских. Мы были для них не только и даже не столько научные эксперты, сколько представители географически близкой, но все же далекой России. Вопросы о скифском золоте и кочевниках перемежались с вопросами о городах России, о национальном характере русских, похвалами русской водке. Порою казалось, что сегодняшняя Россия и скифский звонкий стиль — вещи, одинаково удаленные от японцев во времени и пространстве.

Однако не только рядовые японцы приходили на нашу выставку. Среди посетителей были профессоры и студенты университетов, представители разных отделений Общества дружбы «Япония — СССР», слушатели буддийских курсов, священники и настоятели храмов разных школ японского буддизма и даже бывшие солдаты Квантунской армии. Были и такие, кого привели к нам их личные профессиональные склонности: врач-психиатр, интересовавшийся шаманским экстазом и формой шаманского психотренинга; глава фирмы по производству упаковочных товаров, пришедший узнать, как упаковывали кочевники свой скот во время кочевки и нельзя ли у них позаимствовать какую-нибудь идею; и даже директор Музея НЛО (неопознанных летающих объектов), у которого изображение предметов кочевой культуры на проспектах и плакатах вызвало свои специфические ассоциации, и ему хотелось проверить их в личной беседе с нами.

Многие приходили не один и даже не два раза, шли по залам с экскурсией, потом задавали вопросы, а через несколько дней, изучив дома каталог, шли с новыми вопросами и снова бродили по залу уже в



Рис. 2. Искусственно созданный микро-сад — типичный интерьер японского дворика

одиночку, рассматривая особые интересовавшие их предметы. Иногда они приносили подарки: книги, открытки, сувениры, фрукты и пирожные, и подсаживались с нами в комнату экзотов за чашкой чая, решая проблемы кочевой культуры. Случалось, что посетители приносили с собой предметы, купленные ими в антикварном магазине или подаренные когда-то от кого-то в дарок: бронзовые фигурки божеств, ножи разных форм, иконы. Им хотелось удостовериться, что вещь, которую они владеют, имеет какую-то историческую ценность. Так было и в тот день.

Однажды вечером незадолго до окончания рабочего дня на шестом этаже универмага «Мизудзакая» в г. Ямагата, где этот момент работала наша ставка, появился посетитель, держа под мышкой завернутый предмет довольно внушительных размеров. Предмет оказался ла-

мской иконой с изображением одиннадцатоголового и восьмидесятируккого бодхисаттвы Авалокитешвары — божества милосердия и сострадания спасителя всех страдающих на земле, от криков и стонов которых его голова раскололась на 11 частей. Честно говоря, икона была неважная, исторические пропорции нарушены, краски какие-то аляповатые — одним словом, подделка чувствовалась за версту. Хозяин иконы, представившись как господин Хасимото Ридзаэмон, терпеливо ждал заключения. Означать его или не стоит, размышляла я, все-таки человек какие-то деньги в эту вещь вложил и, должно быть, немалые, пусть думает, что это нечто стоящее. И уже убедив себя, что в данном случае обман — дело святое, я неожиданно для себя самой сказала:

— Мне кажется, что это не настоящая икона, а подделка какого-то очень неопытного художника.

Реакция господина Хасимото была для меня не менее неожиданной. Он очень обрадовался и сказал, что знает об этом и что действительно ее автор — художник-дилетант, подрабатывающий на религиозной живописи, а к нам он принес эту икону лишь потому, что на ней среди спутников Авалокитешвары изображены многорукие и многоголовые божества с бычьими мордами, очень похожие на экспонаты нашей выставки в витрине, посвященной ламаизму, и ему хотелось бы знать, «родственники» ли эти боги друг другу. Получив утвердительный ответ, Хасимото-сан сообщил, что он владеет большой коллекцией предметов японского быта и предложил нам приехать ее посмотреть. Договорились о встрече на следующее утро.

Господин Хасимото жил в г. Каминояма, который находится в 30 минутах езды от центра префектуры Ямагата. Как значилось в его визитной карточке, он был владельцем рёкана — гостиницы японского типа ресторана и автопарка, а также президентом акционерного общества по использованию горячих источников, президентом общества по строительству больниц и лечебниц на этих источниках и... коллекционером этнографических предметов.

В 8 часов утра мы взяли такси возле нашей гостиницы и в 8.30 уже стояли у входа в отель «Хасимото-я рёкан». Хозяин и один из его сыновей

почтительно приветствовали и вот мы уже сидим в холле тана, и нас окружают со всех сторон маски театра Но, деревянные куклы кокэси всех размеров и расцветок, застекленные витрины с прекрасной коллекцией монет разных стран и разных исторических эпох.

Начало коллекции положил еще нынешнего владельца. Ему принадлежит честь открытия нового горячего источника в местностях Каминаояма. Разболев на этом открытии, он стал собирать произведения искусства, японские, так и привезенные из-за рубежа, керамику и фарфор, религиозную скульптуру, деревянные, матерчатые и бумажные куклы, но более всего — предметы традиционного быта разных слоев населения (крестьян и самураев, горожан — торговцев и ремесленников).

Коллекция собиралась бессистемно, три поколения собирателей делали свое дело, и теперь в ней уже 10 тыс. предметов. Они разбросаны и расставлены повсюду: в холле, в коридоре, на лестничных клетках, в простенках между

номерами гостиницы, одни хранятся под стеклом, другие свисают с потолка, третьи заполняют собою ниши, которых довольно много в этом ике-рёкане, сочетающем в себе внешний европейский облик и японский интерьер. Некоторые предметы органично вписывались в этот интерьер: например, *тансу* — массивный деревянный ящик на колесах, переживший, как сообщил нам Хасимото-сан, несколько пожаров, наводнений и землетрясений, или висящий на стене *ванигути* — чугунный мостырский гонг, который используется во время храмовых служб и в буддийских, и в буддийских храмах.

В коридорах и холле первого этажа висело много плетенных из тростника и рисовой соломы изделий: *мино* — накидки с капюшонами от дождя, *амакаси* — соломенные шлямы с широкими полями, спасающие от солнечного зноя, и от дождя, *юкигуцу* — снеговые сапожки, плетенные из тростника или рисовой соломы, специально предназначенные для передвижения по глубокому снегу. А вот и *усигуцу* — те же сапожки, но для дождя, чтобы и они не проваливались в снег. Из той же рисовой соломы плетутся лыжи-снегоступы длиной не более полуметра и шириной вдвое больше. Собственно, вся лыжа состоит из обода и двух перекладин, к которым привязывается обувь, надеваемая на ногу. Самое внушительное впечатление из изделий этого рода производят *варадзи* — это тоже обувь, но уже не для людей, а для богов — вотивная жертва божествам бога мёо (небесным защитникам) от людей, страдающих отеками и другими болезнями ног. Размеры этой обуви для богов воистину «божественные»: около 1 м в длину, 60—70 см в ширину. Ну и, конечно, тут же лезцы циновки *татами* и ткацкий станок для их плетения.

Керамика в коллекции Хасимото представлена изделиями, начиная с эпохи Эдо (XVII—XIX вв.). Это десятки бутылок из-под рисовой водки и плоских сосудов *сакадзуки* для ее питья. Размер бутылок от

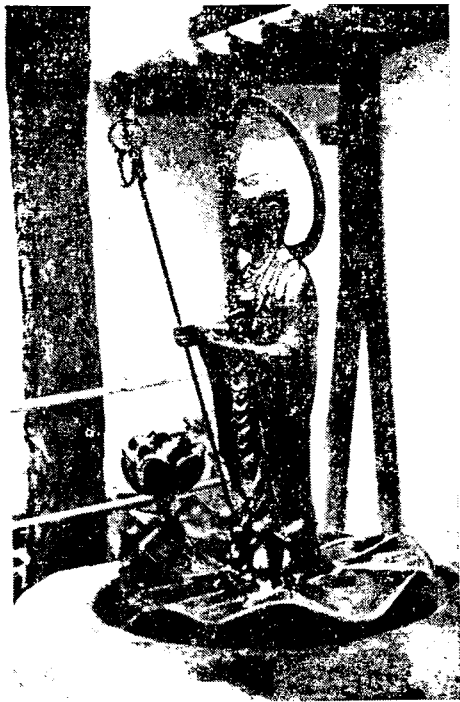


Рис. 3. Дзидзо-босацу, покровитель заблудившихся путников и нерожденных младенцев — один из популярнейших богов японского буддизма. Чаще всего изображается стоящим на цветке или листе лотоса, с монашеским жезлом в руках, в окружении детей



Рис. 4. Курильница — неперменная деталь всякого буддийского монастыря Японии. Маленькие курильницы помещают на алтаре внутри храма, большая стоит во дворе перед входом в главный храм

японского фольклора, оборотня, имеющего в обычное время облик нед барсука, не то енота, а мне, честно говоря, он более всего кажется похожим на маленького медвежонка, особенно в его олимпийском варианте. В сказках и бывальщинах он, скорее, неудачник: то он превращается самурая, чтобы совершить путешествие в столицу, но собаки распознают его по характерному запаху и ему приходится спасаться бегством, теряя самурайский меч и сандалии; то он становится монахом и внушает охотнику, что грешно убивать ни в чем не повинных зверей, но охотника его разоблачает и снова принявший свой облик тануки в панике пускается наутек².

Во внутреннем дворике «Хасимотоя рёкан», оформленном, как и все японские дворы, в виде микросадика, где каждый камень, каждый кустик, карликовое или нормальное дерево, миниатюрный пруд, каменный фонарь в сочетании образуют неповторимую эстетическую гамму, там стоял керамический тануки, но только уже современный и большой, половину человеческого роста размером. И это не случайно. Хотя все его сказочные проделки кончаются неудачно, в народных поверьях он символ удачи и потому должен находиться поближе к человеку и его жилью. Даже у входа во многие дома в больших городах можно видеть его смешную фигурку.

Но, пожалуй, наиболее интересная часть коллекции Хасимото — религиозная или, если уж быть точным в определении ее места, только в этом домашнем музее, но и в быту обитателей гостиницы религиозная. В нише холла второго этажа в специальном деревянном алтаре стояла главная реликвия коллекции — деревянная статуя богини Каннон периода Камакура (1185—1333 гг.). Каннон — это китайско-коре́йско-японская ипостась бодхисаттвы, чье имя на санскрите звучит как Авалокитешвара, сменившего в буддизме стран Дальнего Востока свой канонический мужской облик на женский. И хотя иконография этого божества на Востоке и на Западе буддийского мира характерна

13—15 см до полуметра. По форме и те и другие имитируют тану-горлянку. Бутылки из саму-горлянки также представлены коллекции. Крупные бутылки ставлялись, очевидно, во время больших праздников, а иногда играли и чисто декоративную роль. Несколько сотен фарфоровых блюд, обеденных тарелок, чаш, размером от 10 см и до полуметра, круглых, квадратных, шести- и восьмиугольных, плосдонных, с ровными краями, с кругленными краями, весьма разных по цветовой гамме и по изображенному на них сюжету (японские ландшафты, мифологические сценки, но в основном рыбы, цветы, птицы, деревья и пр.) — все они представляют несколько разных школ и направлений керамического искусства Японии, традиции которых имеют уже семитысячелетнюю историю.

Среди фарфоровой посуды разных форм и размеров кое-где мелькает керамическая фигурка тануки — лукавого простачка

² Арутюнов С. Ловкий простачок тануки. — Вокруг света, 1978, № 4, с. 58—59.

ся скорее бесполостью, чем признаками пола, философская и нравственная мысль Китая, Кореи и Японии сочла нужным воплотить категории сострадания и милосердия как основные функции Авалокитешвары — Каннон в женском облике.

Как и когда попала статуя Каннон в домашний музей, Хасимото уже не помнил. Кажется, это было еще при его деде. Но ее воспринимали не только как музейный экспонат, а, судя по виду и содержанию ниши, почитают как религиозную святыню. На жертвенном столике перед статуей богини стоят курильница, подсвечник, зажженными свечами, вазы с цветами, чаша с фруктами. А перед столиком — деревянный ящик с надписью «Для подношений», в который все желающие, а точнее, все постояльцы и гости «Хасимото-рёкан» опускают монеты в божество. В Японии мы неоднократно наблюдали такие сцены на улицах, в музеях. Даже на последней выставке у подножия каменного рельефа кушанского времени III в. н. э., изображающего Будду с двумя учениками, неожиданно выросла горка монет, положенная туда нашими посетителями.



Рис. 5. Место приношения вотивных жертв в одном из синтоистских храмов Киото. Сотни деревянных табличек *эма* с написанными на них просьбами и десятки гирлянд многоцветных бумажных журавликов вешаются на специально отведенном для них стенде

В этом нет ничего странного. Для японца в принципе неважно, является произведение религиозного искусства музейным экспонатом или принадлежит храму. Глубокие культурно-религиозные традиции страны не делают разницы между теми и другими. При храмах часто действуют музеи, а в музеях, например в Национальном музее Киото, среди многих экспонатов можно увидеть подпись «собственность такого-то храма».

Упомянутая выше статуя была самым почитаемым, но отнюдь не единственным изображением Каннон в коллекции Хасимото, были и другие — из дерева, бронзы, нефрита. Но, пожалуй, самый интересный экспонат — сделанное по типу складня полуметровое изображение горного скалистого пейзажа, на фоне которого размещены 33 не повторяющие одна другую фигурки Каннон, каждая размером 4—5 см. Вся скульптура в виде створки складня вырезана из красного дерева, скалистый фон — из белого. Эстетический эффект несомненен, религиозный, думаю, тоже. Кроме Каннон в коллекции есть скульптура Сака (Шакьямуни), Дзидзо-босацу (Кшитигарбха), Фудо-мео (Акаланатха), Эмма (Яма) и других божеств буддийского пантеона; несколько видов бронзовых курильниц, статуэтки слонов, несущих на спине ступу, считающуюся вмещающей мощей Будды. Обычно они хранятся в храме, их выносят лишь во время праздничных процессий, связанных с различными годовщинами жизни Будды (день его рождения, день погружения в нирвану, печальные буддистами всего мира). Есть и различные реликвии синтоистского мира: семь богов счастья, *харайгуси* — «жезл очищения», используемый священниками синтоистских храмов для очищения ритуального пространства и молящихся от возможных злых духов; *гохэй* — разнообразно вырезанные бумажные гирлянды, развешиваемые в хра-

мах как обереги и жертвоприношения; *симэнава* — жгуты из рисовой соломы, развешанные в разных местах храма, преграждающие вход злым силам; деревянный метровый длины фаллос — непререкаемый «участник» синтоистских праздников мацури, связанных с культом плодородия. Тут же несколько гирлянд разноцветных журавликов, сделанные из цветной бумаги. По правилам, в каждой связке должна быть тысяча журавликов — символ долголетия в традиционном мировоззрении японцев. В одном из шкафов десятки образцов *эма* — деревянных дощечек с рисунком на сюжеты синтоистской мифологии. В небольших храмах могут быть дощечки с разными рисунками, но каждый крупный храм имеет свой специфический. *Эма* покупают в кассе храма, пишут на ней просьбу, исполнения которой ожидают от местного божества, и вешают на специальный стенд во дворе. Среди просьб, адресованных богам, например приходилось видеть и такие: «хочу поступить в университет», «хочу, чтобы мама не болела», «хочу, чтобы в этом году у меня появилась девушка». Все это не только история, но и сегодняшний день Японии, и многие из упомянутых здесь предметов встречаются в мирском и храмовом быту и сейчас.

Осматривая коллекцию, мы не забывали проявить интерес и к самому рёкану. Нам впервые довелось побывать в традиционной японской гостинице, и все было любопытно: как устроены комнаты, сколько человек в них живет, во сколько обходится пребывание в такой гостинице. Рёкан Хасимото может принять одновременно до 180 человек. Стоимость одного места от 8000 до 10 000 иен в день (1000 иен равна 3 руб. по официальному курсу). В гостинице останавливаются больные, приехавшие лечиться водами горячих источников, в ней имеется бассейн с целебной водой. Пользование этим бассейном, медицинские консультации и питание входят в стоимость проживания в гостинице. В жилых комнатах мебели нет, одни циновки татами. Постельные принадлежности днем убираются в стенные шкафы.

Гостиничная кухня источала букет всевозможных ароматов. По соседству находилась столовая, в которой стояло около 50 низеньких небольших столиков (по количеству нынешних постояльцев), на каждом из которых еда сервируется для одного человека. Следом шел зал для культурных развлечений: сцена, на ней телевизор, в углу музыкальный автомат. В холлах каждого этажа стоят шахматные столики, кое-где — ими видны и шахматисты. Все встреченные нами постояльцы гостиницы одеты в одинаковые кимоно, украшенные фамильным знаком семьи Хасимото — крест, вписанный в круг. Этот знак нам много раз попадался на глаза за те часы, что мы провели в «Хасимотоя рёкан», то в виде украшения на стене, то на траурных повязках, хранящихся в домашней моленной, а также на разных предметах гостиничного и ресторанного реквизита.

Домашнюю молельню мы осмотрели с особым интересом. Хозяин и его семья — последователи буддийской секты дзэн, возникшей в период Камакура. Семейный алтарь был крупнее, чем обычные алтари такого типа, — мы их не раз видели в продаже в специализированных магазинах предметов религиозного культа. Алтарь семьи Хасимото занимал всю стену целиком: фигура будды почти в человеческий рост и соответствующий ей антураж — бронзовые вазы с бронзовыми цветами, набор чаш для жертвоприношений и прочих многочисленный культовый инвентарь. Тут же на алтаре в небольшой коробочке стояло несколько десятков тонких кипарисовых пластинок с именами умерших родственников. Такие же, но только подлиннее стоят на кладбищах в изголовье семейных могил. Умершие недавно имеют каждый отдельную пластинку, имена умерших несколько поколений назад выписаны на одну табличку. Общепонские дни поминания предков с 13 до 20 июля. Это особый праздник, называемый *о-бон*. В эти дни вся Япония приходит в движение, все едут в родные места почтить могилы предков. Особые обряды совершаются и в семейных молельнях. Генеалогия предков, починаемых в семье Хасимото, охватывает четыре столетия.

Прямо из моленной нас пригласили на завтрак. Для японцев он был несколько поздноват. Поэтому хозяева не ели вместе с нами, а только угощали, не забывая подливать сакэ и вести светские разговоры. Завтрак был сервирован по-японски: отдельный маленький столик для каждого едока, за которым мы сидели на столь же миниатюрных циновках-подушках. А сама еда предоставила нам отличную возможность изучить на практике то, что до этого было известно лишь по описаниям и рассказам, в частности пятицветную гамму подаваемых блюд: белый отпарной рис, красная икра морской рыбы, зеленый квашеный сельдерей, желтая маринованная хризантема, коричневая жареная рыба под кисло-сладким соусом. И сверх того суп мисосиру, который готовили каждому из нас персонально на его столе на персональной спиртовке в чугунок горшочке — тот самый мисосиру³, без которого, как справедливо полагают японцы, и завтрак не завтрак и обед не обед. Ну а так как мы не то чтобы европейцы, но все-таки не японцы, то нам впридачу к японскому набору блюд дали еще и яичницу с беконом. Все завершил душистый зеленый чай.

Мы осмотрели ресторан и автопарк семьи Хасимото, заехали в недавно открывшуюся новую больницу, где лечат водами горячих источников Хояма и на прощанье опять вернулись к разговору о коллекции.

— Жаль, что такая коллекция пока не разобрана, не систематизирована, не описана, — говорил с пониманием дела один из нас, хранитель этнографических фондов по народам зарубежной Азии Музея антропологии и этнографии Ленинграда В. А. Кынчиков.

— Да, жаль, — соглашались хозяева. Но ведь нам и хранить ее негде. Многие вещи просто свалены в кучу в гостиничных коридорах и залах. Не хватает места, чтобы их разместить. Мечтаем построить собственный музей, но когда это будет? Да и будет ли вообще. Вот тогда мы и пригласим специалиста разобрать ее и описать.

Сотни всевозможных частных коллекций имеются в Японии. Среди них всемирно известные токийские музеи: Нэдзу — японская живопись, скульптура, керамика, бронза; Идэмицу — керамика стран Ближнего Востока, бронза, японская живопись; галерея Бриджстон (Исибаси) — современная японская и европейская живопись; коллекция Охара в г. Курасики — современная японская живопись и др. Эти коллекции каталогизированы и доступны и специалистам, и рядовому зрителю. Возможно, когда-нибудь среди них окажется и музей Хасимото.

³ *Мисосиру* — суп, в котором разводится паста мисо, приготовленная из вареных соевых бобов, и который заправляется мелко нарезанной редькой или солеными водорослями. — См. Этнография питания народов стран зарубежной Азии. М.: Наука, 1981, с. 160.

ВТОРОЙ КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА ЭТНОЛОГИИ И ФОЛЬКЛОРА ЕВРОПЫ

Во все времена социальный и культурный прогресс человечества сопровождается обменом духовными ценностями между народами. В условиях, когда человеческая культура находится под угрозой уничтожения, культурные и научные контакты становятся особенно необходимыми. Принципы таких контактов зафиксированы в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном в Хельсинки в 1975 г.

Сегодня многое объединяет народы Европы. У них есть определенные общие экономические интересы, есть общие задачи, связанные с борьбой за мир, объединяет их и культурное наследие, порожденное общностью исторических судеб. Наряду с этим культура каждого европейского народа отличается своеобразием, самобытностью. Знание общего и особенного в современной культуре народов Европы, в которой этнографы и фольклористы разбираются лучше и глубже, чем специалисты других смежных дисциплин, чрезвычайно важно для их взаимопонимания. Свидетельством того вклада, который этнографы и фольклористы вносят в решение важнейшей задачи нашего времени — достижение взаимопонимания и конструктивного взаимодействия различных народов Европы и их культуры — явился Второй Конгресс Международного общества этнологии и фольклора Европы (МОЭФЕ), проходивший в древнем русском городе Суздале с 30 сентября по 6 октября 1982 г.

В Конгрессе приняли активное участие ученые из подавляющего большинства европейских стран, в том числе такие известные как Ж. Кюзенье (Франция), Д. Буассе (Нидерланды), В. Ньюолл и Э. Геллнер (Великобритания), Н.-А. Брингеус и Л. Бэрман (Швеция), М.-Л. Хейкинмяки и И. Лехтинен (Финляндия), К. Колсруд (Норвегия), Л. Петцольд (ФРГ), К. Вернхарт (Австрия), К. Бьянко (Италия), Р. Ван дер Линден (Бельгия), М. Апостольский, Д. Неделькович, Б. Братанич и М. Маркофф (СФРЮ), В. Хенсель, З. Ясевич и Д. Симонидес (ПНР), Г. Штробах и М. Каспер (ГДР), Т. Бодрог и В. Войт (ВНР), Т. Живков и С. Генчев (НРБ), А. Робек и В. Фролец (ЧССР) и др. От Советского Союза в Конгрессе участвовало около 70 человек — представители научных учреждений многих союзных и автономных республик Европейской части страны. Наряду со специалистами из Москвы и Ленинграда в состав советской делегации вошли ученые Белоруссии, Латвии, Молдавии, Литвы, Эстонии, Украины и других республик.

Участники форума заслушали приветствия Президиума Академии наук СССР, Административного совета Международного общества этнологии и фольклора Европы, Советского национального оргкомитета, руководства Владимирской области, в которой находится Суздаль.

Пленарное заседание Конгресса было посвящено его главной теме — «Сравнительные этнологические исследования в европейских странах (предмет и метод) и международное сотрудничество». На нем были представлены сообщения об итогах работы над проектом «Направления и тенденции культурного развития в современном обществе» (Ж. Кюзенье — Франция, Ю. В. Арутюнян — СССР), об основной проблематике журнала «Ethnologia Europaea» (Н.-А. Брингеус — Швеция), о ходе работы по созданию «Этнологического атласа Европы и сопредельных стран» (Б. Братанич — СФРЮ, С. И. Брук — СССР), о работе по подготовке трехтомника «Этнография славян» (Ю. В. Бромлей — СССР), о работе Международной комиссии по изучению народной культуры населения Карпат и Балкан (В. Фролец — ЧССР), о Международном реферативном журнале «Демос» (Р. Вайнхольд — ГДР), о комиссии МОЭФЕ по изучению европейских народных баллад (Т. Деметер, И. Криза — ВНР).

В целом сообщения показали, что международное сотрудничество этнографов и фольклористов Европы немало способствует дальнейшему развитию науки, разумеется первую очередь по тем проблемам, которые находятся в центре внимания этого сотрудничества.

Так, международное исследование «Направления и тенденции культурного развития современного общества» было осуществлено в рамках Венского центра в 1976—1982 гг. В нем приняло участие семь стран: ВНР, Греция, Италия, ПНР, СРР, СССР и Франция. Целью исследования было сравнение характера потребления и передачи культуры в этих странах внутри семьи в условиях научно-технической революции. Для реализации этих задач с помощью анкеты и интервью были опрошены семьи, имеющие детей подросткового возраста — от 12 до 17 лет, проживающие в городской, сельской и промежуточной (по степени урбанизированности) местностях. Собранные эмпирические данные, а также результаты других национальных исследований и статистические материалы легли в основу монографии «Традиционное и современное. Изменение образцов культурной деятельности в семье», которая должна быть опубликована в начале 1983 года. В ней констатируется, что под воздействием НТР меняются не только технологические процессы и структура производства, но и повседневная жизнь людей. Тем не менее, несмотря на то, что у семьи появилось много конкурентов в передаче культуры (прежде всего средства массовой коммуникации), она не утратила своего значения в этой сфере: родителям по-прежнему принадлежит основная роль в формировании культурных интересов детей. Наряду со сходством были зафиксированы и различия в потреблении культуры между женщинами и мужчинами, родителями и детьми, различными социально-профессиональными группами. Обнаружены и национальные особенности, являющиеся следствием специфики национальных культур.

В сообщении о монографии «Этнография славян» отмечалось, что инициаторами подготовки такого труда выступили польские этнографы. Их инициатива была поддержана этнографическими учреждениями всех славянских стран и ГДР, где живут лужичане. Было признано целесообразным подготовить «Этнографию славян» в трех томах (по 40—50 авторских листов каждый). Первый том посвящается восточным славянам (готовят этнографы СССР), второй — западным (готовят этнографы ГДР, ПНР, СРР), третий — южным славянам (готовят этнографы НРБ и СФРЮ). Работа ведется уже ряд лет, причем в каждой стране имеется коллектив научных работников, возглавляемый редакционной коллегией соответствующего тома, а руководство «Этнографией славян» в целом осуществляется коллегиально, в ходе проведения международных совещаний представителей всех стран-участниц. Для исследований характерен комплексный метод, при котором полевая этнографическая работа сочетается с изучением археологических материалов, письменных источников, древних и современных изображений, статистических материалов, а также с антропологическими измерениями, конечно, с привлечением всей обширной научной литературы вопроса. Во всех странах закончены уже сбор материала и его обработка; в большинстве стран написан основной текст соответствующих частей томов, подобран значительный иллюстративный материал, проделаны ареальные исследования, составлено множество этнографических карт. Ведется перевод текста на русский язык и в дальнейшем предполагается сделать перевод на один из западноевропейских языков.

Характеризуя ход работы по созданию «Этнологического атласа Европы и сопредельных стран», Б. Братанич (СФРЮ) и С. И. Брук (СССР) отметили, что главной в этнической картографии — это возможность делать содержательные выводы из особенностей размещения локальных явлений культуры на данной территории, так как отражает подлинные исторические процессы. Эта работа требует ясной и подробной типологии эвристического характера. Основным критерием при установлении такой типологии является форма, в которой объективируются исторические процессы. Следует помнить, что этнологические карты и атласы как инструменты исследования представляют собой промежуточный этап: для окончательной интерпретации требуется дополнительный анализ опубликованных работ.

Далее докладчики остановились на проблемах, связанных с составлением «Этнологического атласа Европы и сопредельных стран», в частности, на том, как обеспечить внимательность материала по разным странам региона. Чтобы охватить во всех районах различные формы культуры, пришлось раздвинуть временные рамки. Работа по атласу ведется с начала 1950-х годов и, несомненно, продолжится еще много лет.

В своем выступлении главный ученый секретарь Международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и Балкан В. Фролец (ЧССР) отметил, что науч-

ный интерес к народной культуре населения Карпат и Балкан проявился уже еще до второй мировой войны антропологические, исторические, лингвистические и этнографические исследования проводились под руководством Славянской Комиссии по изучению горного овцеводства на Карпатах и Балканах. Специфические условия региона расположенного в пределах нескольких государств с полиэтническим составом населения создают уникальную возможность для изучения сложных исторических, экономических, социальных, этнических и культурных процессов.

Международная комиссия по изучению народной культуры Карпатского региона была создана в 1959 г. по инициативе чехословацких и польских этнографов для координации исследований в области карпатоведения в европейских социалистических странах; с 1976 г. она преобразована в Международную комиссию по изучению народной культуры Карпат и Балкан (МКККБ). В настоящее время МКККБ объединяет ученых ВНР, НРБ, ПНР, СРР, СССР, СФРЮ и ЧССР. МКККБ состоит из национальных секций; возглавляет ее международный президиум. Резиденция МКККБ со времени ее создания — Этнографический институт Словацкой АН в Братиславе.

До 1976 г. результаты теоретического и методологического исследования карпатской народной культуры обсуждались в основном на международных конференциях. Деятельность Комиссии была направлена на изучение отдельных явлений народной культуры, конкретный материал собирался в разных странах по единой согласованной программе. Новый этап в научной и координационной деятельности Комиссии наступил после сессии президиума МКККБ в 1976 г. в ЧССР: было решено перейти к другой форме обработки накопленных материалов. Началась подготовка первых обобщений отдельных элементов народной культуры — народной архитектуры, пастушеского фольклору народных освободительных движений XVII—XIX вв. Осуществление этих задачи и публикация трудов поручены национальным секциям — СССР (фольклор ПНР (пастушество) и ЧССР (народная архитектура). Сводные монографии должны быть закончены в 1985 году. На последующие годы запланирована работа по ряду других явлений народной культуры.

По мнению докладчика, весьма полезно было бы участие в изучении всех проблем культуры горных регионов ученых европейских стран, не представленных в МКККБ. Такое сотрудничество могло бы оказаться полезным для дальнейшего развития европейских этнографических исследований.

Представленные на пленарном заседании доклады о работе журналов «Ethnologia Europaea» и «Demos» показали, что этим журналам принадлежит существенная роль в оперативной взаимной информации о ведущихся в разных странах Европы этнографических и фольклористических исследованиях. Главный редактор международного реферативного журнала «Demos» Р. Вайнхольд (ГДР) рассказал, что журнал начал выходить в 1960 году. В нем сотрудничают ученые социалистических стран Европы: Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Советского Союза, ЧССР и Югославии, в которых созданы национальные редколлегии. До 1982 года в 21 выпуске «Demos» было опубликовано 8600 рефератов на книги и статьи по этнографии и фольклористике, выходившие в странах-участниках с 1955 по 1981 гг. Сюда относятся также сообщения о крупных научных событиях, конференциях, симпозиумах. Более 60 статей посвящены деятельности особо выдающихся ученых. Благодаря обширному объему информации журнал «Demos» стал своеобразной хроникой этнографии и фольклористики, регистратором тенденций и направлений в этих областях науки, а также ее теоретических и методологических усилий.

Программы десяти научных симпозиумов были рассчитаны на дискуссию по наиболее актуальным проблемам европейской этнографии и фольклористики, в частности, таким как этнографическое изучение современности, соотношение традиций и инноваций этнодемографические процессы.

В работе симпозиума «Проблемы общей этнографии» (председатели: Э. Геллер — Великобритания, А. И. Першиц — СССР) принимали участие ученые Болгарии, Великобритании, Венгрии, ГДР, СССР. Обсуждались такие важные в методологическом отношении проблемы современной этнографии, как соотношение этнографии с другими историческими дисциплинами, факты и теория в этнографии, первобытная история как объект этнографического изучения, вопросы этносомиотики и другие. Особое внимание было уделено вопросу о содержании предметной области этнографии. Значительный интерес вызвали доклады: «Проблема этнографической реконструкции первобытного общества охотников и собирателей» (В. Р. Кабо — СССР), «Значение этнографических источников для этноархеологических исследований» (В. А. Шнирельман — СССР).

Что такое структурализм» (Э. Геллнер — Великобритания), «Патрилинейная орда. Логика культурной экологии» (М. Шаркани — ВНР). Обмен мнениями по этим сообщениям показал единство взглядов большинства участников дискуссии, в частности, в оценке французского структурализма как весьма ограниченного в своих возможностях. На симпозиуме «Этногенез и этническая история Европы (по материалам этнографии и фольклора Европы)» (председатели: Ж. Кюзенье — Франция, С. А. Арутюнов — СССР) были рассмотрены важнейшие аспекты использования этнографического и фольклорного материала, степень его доказательности, пределы возможностей тех или иных видов такого материала при реконструкции процессов формирования народов Европейского континента и их культуру.

На заседаниях симпозиума были заслушаны 14 докладов, представленных учеными 7 стран (Венгрии, ГДР, Польши, Норвегии, СССР, Финляндии, ФРГ). Они были посвящены методологическим проблемам изучения этногенеза, значению антропологических материалов для уточнения этногенетического процесса в древности, а также роли этнографических и архивных материалов для проблем этнической истории, в частности на примере балто-германо-славянских контактов. Финно-угорская проблематика была представлена докладами П. Вереша, Я. Гуйя (ВНР) о лингвистических и археологических материалах как источнике для изучения происхождения и развития финно-угров, И. Лехтинен (Финляндия) о трансформации украшений как индикаторов субэтнических делений, Х. Станга (Норвегия) о древних этнокультурных связях вепсов. Проблема романизации на примере Сардинии и Дунайско-Карпатского региона была рассмотрена в докладах советских ученых. В дискуссии было подчеркнуто значение междисциплинарного подхода к проблеме теоретического и конкретно-исторического этногенетического исследования, намечены пути развития этого подхода на новом уровне, освещены многочисленные конкретные методические и фактологические вопросы.

Существенное общетеоретическое значение имели также вопросы, обсуждавшиеся в рамках симпозиума «Постоянство и изменчивость в культурных системах в странах современной Европы» (председатели: М. Апостольский — СФРЮ, К. В. Чистов — СССР). К их числу принадлежит вопрос о соотношении таких важнейших категорий этнографии, как постоянство и изменчивость культуры на различных этапах этнокультурной истории европейских народов. Доклады ученых из социалистических стран (ГДР, ПНР, СФРЮ, ЧССР) показали, что проблема стабильности традиций является одной из фундаментальных в современной этнографии. В процессе обсуждения представленных докладов участники симпозиума пришли к выводу о необходимости разработки типологии этнокультурных и социально-экономических ситуаций, в рамках которых развиваются изменения народной культуры, а также о необходимости теоретического осмысления и систематического описания особенностей механизма трансмиссии культуры, как всестороннего осмысления роли этнического сознания в ускорении и затормаживании этих процессов.

В непосредственной связи с вопросами постоянства и изменчивости в сфере культуры находилась проблематика симпозиумов «Локальные и региональные общности Европы: общее и особенное» (председатели: Р. Ержабек — ЧССР, Л. Бекман — Швеция, Н. Н. Грацианская — СССР) и «Взаимодействие культур Европы с культурами других континентов» (председатели: Д. Буассевен — Нидерланды, Л. Е. Куббель — СССР).

Значимость первого из этих симпозиумов определяется тем, что в настоящее время в этнографической науке оживленному обсуждению подвергается проблема локальных и региональных общностей как разновидности историко-культурных общностей. В связи с этим центральное место в дискуссии заняли проблема теории этноса и принципы типологии историко-культурных полиэтнических общностей, разрабатываемые советскими этнографами. Выяснилось, что ученые европейских социалистических стран хорошо знакомы с работами советских ученых, творчески применяют и развивают отдельные положения теории этноса. Особое внимание было уделено проблеме карпато-балканской культурной общности. При этом большинство участников симпозиума указывало на определяющую роль социально-экономических факторов в формировании карпатской культурной общности; вместе с тем имели место суждения, основанные на бытующей с XIX века теории, согласно которой носителями нового типа отгонного скотоводства здесь были румынские колонисты.

Второй из названных выше симпозиумов был посвящен обсуждению методологии и методики изучения контактов европейских и неевропейских культур. В его работе нашли отражение глобальные проблемы, связанные с межкультурными контактами, а также региональные особенности контактов в различных частях Европы. Осо-

бый интерес вызвала дискуссия о различиях в восприятии заимствованных элементов профессиональной и бытовой культуре, а также вопрос о процессе складывания у европейских народов стереотипов «чужих культур». Широкая проблематика симпозиума обусловила большое разнообразие обсуждавшихся тем и точек зрения. И все же учены ГДР, Нидерландов, ПНР, СРР, СССР, США, Франции, ФРГ, Швеции, принимавшие участие в работе симпозиума, высказали сходные взгляды по многим обсуждавшимся вопросам и пришли к выводу о необходимости рассматривать культурные контакты в динамике, т. е. с учетом того, что доступные наблюдения и результаты таких контактов имеющие облик прямых заимствований, непременно подвергаются функциональному переосмыслению. Во многих выступлениях была подчеркнута несомненная связь между экономической специализацией этнических групп, эмигрантов и степенью устойчивости их этнической традиции. Участники симпозиума были единодушны в том, что любые попытки искусственного сохранения, а тем более «возрождения» традиционных элементов культуры в их первоначальном виде в современных условиях мало перспективны.

Симпозиум «Этнокультурные и этнодемографические процессы в послевоенной Европе» (председатели: А. Робек — ЧССР, В. И. Козлов — СССР) был посвящен современным этническим процессам в странах Европейского континента, влиянию на них социально-экономических структур, динамике и различию демографических процессов у разных народов в многонациональных странах.

В выступлениях советских ученых: «К вопросу о межнациональных браках в Югославии» (Ю. В. Бромлей и М. С. Кашуба), «Быт национально-смешанных семей» (Е. П. Бусыгин), «Межэтнические отношения и этнокультурные процессы» (Л. М. Дробижева), «Особенности этнических процессов в современной Испании» (А. Н. Кожановский), «Этнические процессы в различных частях Европы» (В. И. Козлов) и других нашли отражение опыт решения национального вопроса в СССР, марксистская концепция о роли прогрессивных усилий народов и государств, направленных на гуманистические социально-культурные изменения и расширение культурных контактов и взаимодействий, а также роль социалистического государства в управлении этнодемографическими процессами. Советские ученые приняли активное участие в обсуждении докладов этнографов из ГДР, НРБ, СФРЮ, ЧССР, в которых рассматривались вопросы, связанные с современными проблемами трансформации социально-классовой структуры, демографическими и этническими изменениями в Европе. Анализ этнокультурной и этнодемографической ситуации в Европе свидетельствует о значительных изменениях, произошедших в европейских странах за последние десятилетия. По мнению участников симпозиума, они во многом определяются различными темпами роста численности основных народов и этнических меньшинств, динамикой мигрантов, а также развитием этноязыковых процессов.

На симпозиуме «Проблемы этнологического картографирования» (председатели: Б. Братанич — СФРЮ, А. Фентон — Великобритания, С. И. Брук — СССР) рассматривались общие вопросы картографирования и отдельные его виды — лингвистическое этнодемографическое, картографирование материальной и духовной культуры. Исторический обзор работ по подготовке этнологических атласов Европы второй половины XIX века был дан А. Фентоном. Проблемы регионального историко-этнографического картографирования в СССР после второй мировой войны были рассмотрены в докладе С. И. Брука. Общие проблемы этнического картографирования были освещены в докладе М. Я. Берзиной (СССР). Значительное внимание было уделено истории современного состоянию национальных атласов отдельных европейских стран (П. Переску — «Основная тематика и работа над этнодемографическим атласом Румынии», А. Палади-Ковач — «Этнодемографическое картографирование в Венгрии», С. Ковачевичева — «Результаты культурно-пространственных исследований в Словакии»). Представители Украины, Молдавии, Белоруссии ознакомили присутствующих методикой составления атласов по материалам духовной и материальной культуры разработанной в этих республиках. В докладе Н. В. Шлыгиной (СССР) «К вопросу о региональном этническом картографировании» были отражены основные положения готовящегося к печати первого выпуска Атласа Прибалтики — «Крестьянские поселения и постройки». Большой интерес вызвала представленная Б. В. Андриановым (СССР) карта форм подвижности неоседлого населения мира, классифицированных по хозяйственно-культурным типам.

Дискуссия по ряду принципиальных вопросов — о функциях и целях этнологических атласов, о принципиальных методических различиях в составлении готовящегося Европейского этнологического атласа и национальных атласов, показала, что со вре-

при создании Международной комиссии по этнологическим атласам (1953 г.) для многих европейских стран (ВНР, НРБ, ПНР, СФРЮ, Финляндии, и др.) картографирование стало одним из главных направлений этнологических исследований.

Заметное место в исследованиях последних десятилетий заняло изучение городских поселений как этнографического объекта. В составе Конгресса был организован специальный симпозиум «Этнография города. Проблемы и методы» (председатели: Г. Геллер — НРБ, М. Г. Рабинович — СССР). На симпозиум были представлены доклады ГДР, НРБ, ПНР, СССР, СФРЮ, ЧССР. Они были посвящены как конкретным исследованиям крупных городов — Любляны, Лодзи, Праги и др., так и общим проблемам, относящимся к народной городской культуре европейских стран. Был затронут и теоретических вопросов в связи с понятием «город» и методологическими особенностями изучения материальной культуры горожан. В результате большинство участников симпозиума пришло к выводу, что представления о нивелирующем влиянии города на народную культуру, а также о крестьянстве как единственном носителе этнических традиций преувеличены, что народная культура является результатом взаимодействия крестьян и горожан. В ряде выступлений подчеркивалась значимость марксистских принципов подхода к методологическим проблемам развития города и этническим процессам в условиях урбанизации; вместе с тем было отмечено преимущество социалистической системы в решении проблем развития современного города, в частности, учет этнических особенностей населения городов, национальных, культурно-бытовых интересов городских жителей.

Самыми представительными по числу делегатов и количеству докладов были симпозиумы «Календарные и семейные обряды» (председатели: Т. Бодроги — ВНР, К. Соколова — СССР) и «Современный фольклор европейских народов» (председатели: Г. Штробах — ГДР, Б. Н. Путилов — СССР).

На первом из них было заслушано 21 выступление ученых из ВНР, Великобритании, ГДР, Италии, НРБ, СРР, СССР, Финляндии, ФРГ. В центре внимания докладов были народная обрядность, ее прошлое и настоящее, методологические особенности фиксации и исследования обрядов.

В процессе обсуждения методологических и методических вопросов участники подержали идею советского ученого Н. И. Толстого о необходимости разработки единой программы изучения исторического соотношения различных видов обрядности. Вопросы использования обрядового фольклора для реконструкции этногенетических процессов и отдельных элементов традиционной обрядности в современных условиях, а также программы картографирования календарных и семейных обрядов нашли отражение в докладах специалистов из НРБ, Великобритании, ГДР, СРР и Финляндии. Дискуссия свидетельствовала, что для большинства ученых характерен исторический подход к проблеме, и обряды оцениваются как явление социальной жизни.

В симпозиуме «Современный фольклор европейских народов» творческому обсуждению был подвергнут обширный круг теоретических, методологических и практических вопросов, представляющих общий интерес для современной европейской фольклостикки и имеющих важное значение для понимания процессов освоения и переработки фольклора современной культурой в странах Европы.

Наиболее оживленную дискуссию вызвали вопросы, связанные с различным пониманием участниками симпозиума границ содержания и специфики понятия «фольклор» применительно к традиционным и современным его формам. С одной стороны, были указаны характерные для западноевропейской и американской науки идеи расширения толкования фольклора, включающего различные явления не только духовной, но и материальной культуры и размывающего четкие границы понятия. С другой стороны, большинство участников симпозиума подчеркнуло выработанную в советской науке концепцию этнической природы фольклора, его полифункциональности как особого феномена искусства и теснейшей включенности в систему народного быта и национальной культуры. В докладах и выступлениях советских ученых, а также в выступлениях специалистов из ВНР, ГДР, Италии, ПНР, СФРЮ, последовательно развивалась идея народной сущности фольклора как его основополагающего социального признака.

Все участники симпозиума были согласны в том, что понятие «современный фольклор» следует толковать и рассматривать в широком плане, включая в него как живую, уходящую традицию, так и новообразования. Подчеркивалось, что кроме собственно художественных и бытовых функций фольклор и в наши дни продолжает выполнять и социальные функции.

Специальное внимание в докладах и дискуссиях было уделено новообразованию в фольклоре. При этом выявилась общая точка зрения, согласно которой в современном фольклоре традиции и новообразования составляют сложное единство и взаимодействуют в разнообразных формах. В частности, в докладах советских ученых на многочисленных примерах было показано как в разных регионах нашей страны нововобразования отражаются на традициях, вырастают из нее и преобразуют ее. Был сделан вывод, что возможности фольклоризма чрезвычайно широки, и задача науки — изучать типологию форм фольклоризма, научно обосновывать и поддерживать наиболее перспективные из этих форм.

В связи с 60-летием образования СССР Ю. В. Бромлей прочитал для участников Конгресса лекцию на тему «Основные тенденции этнонациональных процессов в СССР». Существенным дополнением к программе Конгресса были также концерты фольклорных ансамблей нашей страны, демонстрация цикла этнографических фильмов советских и зарубежных ученых, экскурсии в музеи Суздаля и Владимира.

* * *

В соответствии с Уставом Международного Общества этнологии, и фольклора Европы во время работы Конгресса проходили заседания руководящих органов и Генеральной ассамблеи этого Общества.

В заседании Генеральной ассамблеи приняли участие представители 20 стран (8 социалистических, 12 капиталистических). Основными задачами Генеральной ассамблеи были рассмотрение некоторых изменений в Уставе Общества, выборы нового состава Административного совета и его руководящих органов, рассмотрение предложений о почетных членах Общества.

Генеральная ассамблея приняла решение о следующих изменениях в Уставе Общества:

1. Увеличение числа членов Административного совета до 35.
2. Образование в составе Административного совета бюро из 7 членов: президент, двух вице-президентов (представляющих соответственно страны Западной и Восточной Европы), генерального секретаря, казначея, двух членов (представляющих международные организации, связанные с деятельностью Общества).

Генеральная ассамблея единогласно избрала бюро Административного совета в составе: президент — Н.-А. Брингеус (Швеция), вице-президенты — Ж. Кюзенье (Франция) и Ю. В. Бромлей (СССР), член бюро Э. Геллнер (Великобритания). Вакансии генерального секретаря, казначея и одного члена бюро оставлены временно не занятыми. Бюро предоставлено право подобрать кандидатуры на эти места.

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги работы II Конгресса Международного общества этнологии и фольклора Европы. Было отмечено значительное усиление внимания специалистов к общеметодологическим и общетеоретическим аспектам исследований. Несмотря на то, что ученые отдельных стран придерживаются порой разных теоретических и методологических принципов и подходов в решении научных проблем, было высказано мнение о необходимости продолжения работы по определению наиболее общих принципов в исследовании ряда важнейших проблем, связанных с изучением историко-этнографического региона, объединяющего народы, которые издавна имели общие исторические судьбы и общие культурные традиции. В частности, было предложено создать усилиями европейского сообщества этнологов и фольклористов краткий терминологический этнографический словарь на основных европейских языках. Выступавшие призывали активизировать деятельность МОЭФ, направляя ее на содействие прогрессу не только в сфере этнографии и фольклора, но и в области всесторонних научных и культурных контактов между народами Европы. Следует особо отметить, что во многих выступлениях звучала забота о сохранении мира на земле.

Ю. В. Бромлей, Л. П. Кузьмина

15—10 сентября 1982 г. в Манчестере (Англия) состоялся 44-й Международный конгресс американистов. В нем приняли участие 1300 делегатов от 35 стран, главным образом представители США и Канады, стран Латинской Америки и Западной Европы. Конгрессы американистов проводятся один раз в три года, поочередно в одной из стран Старого или Нового Света, с 1876 г., т. е. уже более 100 лет. Именно в 70-е годы прошлого века, главным образом благодаря трудам выдающегося американского ученого Л. Г. Моргана, утвердилась такая дисциплина, как американистика, — наука о древних цивилизациях Нового Света и коренных жителях Америки — индейцах.

Следует заметить, что со временем предмет американистики претерпел значительные трансформации, включив в себя вопросы истории, современного экономического, политического и культурного развития стран Латинской Америки, некоторые проблемы главным образом сравнительно-типологического характера) североамериканских стран — США и Канады. Тем самым некогда достаточно узкая, культуроведческого характера, область научного знания приобрела комплексный междисциплинарный характер, подвергшись вполне естественному «вторжению» таких дисциплин, как политическая экономия, социология, политология и др. 44-й конгресс отчетливо отразил этот процесс расширения и даже частичной утраты каких-либо четких критериев предмета современной американистики.

Программа этого научного форума включала в себя работу почти 100 симпозиумов, поделенных по следующему дисциплинарному принципу: история, археология, антропология, политика, лингвистика, литература, карибоведение, междисциплинарные симпозиумы. Свыше 1000 представленных докладов отличались исключительной дробностью, иногда случайным отбором для того или иного симпозиума, последнее полностью зависело от усмотрения ученых — организаторов симпозиумов. Что касается руководства конгресса, т. е. оргкомитета во главе с англичанином Г. Блэкморем, то его стороны не было сделано попытки как-то выделить наиболее общие темы для дискуссий, ориентировать ученых на обсуждение теоретических или методологических проблем, внести синтезирующие моменты в сам процесс изложения научных результатов и обмена мнениями. Конгресс, таким образом, представлял собой работу разрозненных симпозиумов с числом участников от 10 до 50 человек, на которых преимущественно заслушивали и очень кратко обсуждали научные сообщения.

Уровень докладов на конгрессе, конечно, прежде всего определялся составом участников, среди которых было немало известных научному миру историков, археологов, этнографов, лингвистов. Однако основную массу участников составили молодые ученые даже совсем начинающие специалисты, докладывавшие часто о результатах своих первых кабинетных или полевых исследований. Многим из этих докладов еще предстоит воплотиться в диссертационные работы или публикации и трибуна международного конгресса служила в данном случае лишь местом первичной апробации результатов новейших изысканий.

Конечно, с точки зрения строгих профессиональных критериев к части таких докладов можно было предъявить серьезные претензии: в них встречались типичные в данном случае изъяны — от попыток необоснованных глобальных теоретических построений до простых нарративных банальностей. И все же во всей совокупности материалов конгресса нашли отчетливое отражение основные направления и тенденции современной американистики, наиболее значительные научные результаты самых последних лет, круг спорных или еще недостаточно изученных проблем.

Ведущее место на конгрессе заняла историко-археологическая и этнографическая (антропологическая) тематика. Будучи единственным представителем от СССР на конгрессе, автор этого сообщения, естественно, имел возможность ознакомиться с содержанием работы лишь самой малой части симпозиумов, главным образом тех, которые были посвящены современным проблемам коренного населения Америки — индейцам. Однако назовем для сведения, в том порядке, как они перечислены в программе, некоторые темы симпозиумов по истории и археологии.

По истории: экономика и торговля в колониальной провинции Чиapas; роль Севера Америки в экономике Испанской империи, 1783—1825 гг.; экспорт капитала в Латинскую Америку в XIX и XX вв.; индейские восстания в колониальной Испанской Америке; реакция на европейскую традицию в американском искусстве и архитектуре; реформы Бурбонов в Южной Америке; иконология и общество в Южной Америке: ис-

пано-американское колониальное искусство; «Существует ли новая этноистория?»; демография и этноисторические исследования в колониальных Америках; Аргентина, Австралия, Канада: некоторые сравнения, 1870—1950; демография приходов в колониальной Испанской Америке; Испания и Англия в годы доиспанского господства; приемлемость и общество в колониальной Испанской Америке и др.

По археологии: кодекс Мендосы; производство и распределение в Месоамерике доколумбово искусство; палеоэкология и человек в Центральной Мексике; динамика населения в классический период в Месоамерике; изображение флоры и фауны в искусстве доколумбовой Америки; культура осушения полей в Америках; миграция растений из Амазонии в район перешейка и их культивация; кодексы миштеков; проблемы терминологии керамики; связь истории и археологии в изучении майя южных равнин; археология Копана и др.

Что касается антропологических симпозиумов, то их содержание вполне укладывается в наше понимание предмета этнографии, ибо физическая антропология как научная дисциплина в программе конгресса отсутствовала. Кстати, в итоговой резолюции конгресса была отмечена необходимость привлечь к работе будущих конгрессов представителей антропологии.

Проблематика симпозиумов по социальной и культурной антропологии была преимущественно связана с изучением американских индейцев. Одним из центральных вопросов о сохранении индейской самобытности, обеспечении приемлемых условий существования перед лицом реальной угрозы со стороны современных монополий и массовой культуры.

Специально был выделен круг вопросов о нынешнем положении индейцев куна в Панаме. Эта народность — объект давнишнего внимания антропологов — сравнительно успешно отстаивает свои права. Живут куна в резервациях на востоке страны. Им удается сохранять свою культурную самобытность, вести автономную хозяйственную деятельность, иметь собственные профсоюзы в зонах интенсивной занятости, а также довольно сильные политические организации. В одном из докладов отмечалось, что в XX в. среди куна заметно усилилась миграция мужчин в города, на банановые плантации и в зону Панамского канала, что играет важную роль в адаптации индейских общин к рыночной экономике. Уровень женской трудовой миграции остается очень низким. Ряд докладов касался борьбы индейцев Панамы против релокации и осуществления крупных хозяйственных проектов на территории резерваций, а также особенностей политической организации коренных жителей. Важно отметить, что в этом симпозиуме в качестве сопредседателя и экспертов самое активное участие приняли представители самих индейцев, что было одним из немногих исключений на конгрессе.

Многообещающим выглядело название симпозиума «Межэтнические отношения: культурная адаптация среди американских индейцев». Представленные доклады касались эволюции индейцев племенной группы хиваро под влиянием общеэкономических процессов развития района и даже мировой экономики (резиновой и нефтяной бумы). Была сделана попытка пересмотреть природу конфликтов среди племенных групп шуара, характер межплеменных конфликтов вдоль границы Эквадора и Перу, а также объяснить причины широко известной «агрессивности» хиваро по отношению к внешнему миру. И хотя в объяснении вышеназванных вопросов преобладал поверхностный подход, все же ряд конкретных исследований, выполненных в ходе экспедиционных работ, особенно по проблемам социально-экономических трансформаций, представляет определенный интерес. Так, были выявлены новые тенденции в хозяйственной деятельности племен шуара: развитие свиноводства, выделки кож, лесодобычи с ориентацией на рыночную экономику; применение традиционных форм организации трудовой деятельности для новых занятий; изменение под влиянием последних в социальной организации образа жизни индейских общин. Интересные изменения наблюдаются в системе родственных связей среди шуаров, в том числе переход от большой патрилинейной и патрилокальной семьи к малой семье, развитие миксации между некогда замкнутыми враждовавшими группами.

Одним из наиболее популярных был симпозиум по народной медицине у американских индейцев. В этой области сейчас интенсивно работают десятки исследователей — представителей различных дисциплин: от ботаники до медицины. Соединение их с этнографией породило такие междисциплинарные направления, как «медицинская антропология», «этноботаника», «этнобиология». Интерес к народной индейской медицине оправдан хотя бы уже тем огромным вкладом, который внесен культурой американских аборигенов в общечеловеческий багаж медицинских знаний: свыше 200 примене-

и индейскими племенами лекарственных средств в разное время были официально признаны фармакопеей Соединенных Штатов Америки. Практическая значимость научных изысканий заключается в возможности не только использования традиционных знаний в современной медицине, но и создания более естественной и приемлемой в глазах аборигенов системы медицинского обслуживания для современного индейского населения.

Сделанные на симпозиуме доклады затрагивали самые разные вопросы: система передачи медицинских знаний среди индейцев (главным образом через женщин) и сохранения тайн (главным образом о наркотических растениях); социальное содержание понятия «болезнь» и ее причин у индейцев (потеря души, нападение духа, нарушение общественных норм и т. п.); место и значение шаманизма в народной медицине, а также его психотерапевтические аспекты; применение отдельных растений, продуктов и минералов в качестве лекарственных средств. В ряде докладов прозвучала озабоченность работой в ходе хозяйственной деятельности фонда растений мира, 85% которого находится в лесах влажных тропиков Южной Америки. Это приведет к сокращению источников лекарственных ресурсов.

В симпозиуме принял участие ряд крупных антропологов: Фредерика де Ланга (США) сделала доклад о представлениях аляскинских индейцев (глинкины, тапаски, атеа и др.), о причинах болезни и смерти и о соответствующих лекарствах и системах лечения; Дэвид Аберле (Канада) изложил некоторые замечания о религии неотеизма у современных индейцев навахо; Кристиан Фест (Австралия) рассказал о традиции употребления индейцами алкогольных напитков.

Конгресс отдал дань еще одному весьма популярному направлению в этнографии — изучению шаманизма среди американских аборигенов. Более чем в 20 докладах специального симпозиума, а также некоторых других заседаний рассматривались всевозможные аспекты истории и современного функционирования института шаманизма среди индейцев Центральной и Южной Америки. Причем основное внимание уделялось социальным аспектам шаманизма, исследованию роли шамана в качестве посредника в конфликтных ситуациях между членами группы, регулятора отношений, хранителя веры и идеалов, толкователем которых он выступает, миротворца и лекаря, наконец, защитника общины от внешних враждебных сил.

Некоторые исследователи современной ситуации отмечали вовлечение шаманов в политическую деятельность, обострение конфликтов между шаманами как выразителями соперничающих, враждующих групп. Эти конфликты приводят к физическому уничтожению шаманов, распространению среди индейцев скептицизма по отношению к шаманизму.

Следует отметить, что некоторые западные исследователи, спекулируя на интересе к древним формам религии, в том числе к шаманизму, пытаются рекультивировать умирающую практику камлания и внедрить ее в современную жизнь как форму трансперсонализма и психотерапевтического лечения. Так, например, известный американский антрополог Майкл Харнер, знаток культуры индейцев хиваро, опубликовал популярную работу — руководство по практике шаманизма, а также выступает с семинарами камлания.

Специальный симпозиум был посвящен федеральной политике в отношении индейцев и проблеме сохранения этнической самобытности коренного населения США и Канады. Представленные доклады содержали критический анализ политики колониализма в процессе сгона индейцев с занимаемых ими земель, в том числе практики переселения племен на «цивилизованные» и «дикие» в зависимости от их отношений с властями. В целом негативно были оценены и результаты новейших программ, осуществляемых американским и канадским правительствами в 60—70-е годы. Не признавая за коренными жителями их прав на национальное самоопределение, современная индейская политика по-прежнему направлена на ассимиляцию коренных жителей, дальнейшее разграбление расположенных на их землях ресурсов, интеграцию индейцев в капиталистическую среду со всеми вытекающими отсюда неизбежными катастрофическими последствиями — таков в целом главный вывод из обсуждаемой на симпозиуме темы.

Важно отметить одно обстоятельство: многие из выступавших на конгрессе антропологов продемонстрировали свою искреннюю озабоченность судьбами американских индейцев, подвергали довольно резкой критике политику монополий и правящих кругов ряда стран Нового Света. Однако лишь в редких случаях анализ проблем американских индейцев соотносился с характером самого общественного строя, которым все это порождено эти проблемы.

Наконец, среди ученых-американистов есть определенная категория, которая не активно и убедительно подчиняет свою научную деятельность интересам крупного частного капитала и правящей элиты. Из этих источников поступают значительные, нежные средства на организацию исследований по проблемам коренных жителей. Целью этого финансирования является получение рекомендаций, как с наименьшим ущербом для репутации и с наименьшими издержками осуществлять политику дальнейшей ассимиляции индейцев, монополистической экспансии и эксплуатации ресурсов этнических территорий аборигенов. Именно таким духом была проникнута, например, работа одного из наиболее многочисленных симпозиумов по теме «Перемены в Анзонии».

Как и следовало ожидать, столь крупный научный форум и со столь актуальной тематикой не смог остаться полностью в стороне от злободневных современных политических проблем, хотя организаторы конгресса, прежде всего английские ученые, всячески стремились удержать работу конгресса в «стерильно» научных рамках. Во-первых, еще до конгресса ряд ученых из Аргентины и других латиноамериканских стран выступили с предложением бойкота конгресса как протест против политики Англии в отношении Мальвинских (Фолклендских) островов. В конечном итоге конгресс состоялся. Однако фактор ухудшения отношений Англии и США с латиноамериканскими странами после военного конфликта в Южной Атлантике сказался на атмосфере конгресса. Группа ученых-латиноамериканцев предложила резолюцию в поддержку переговоров между Англией и Аргентиной о мирной передаче последней спорных островов. Эта резолюция, как и ряд других в поддержку борьбы американских аборигенов и с осуждением политики ассимиляции и геноцида, не были приняты на ключевом пленарном заседании конгресса в значительной мере благодаря тому, кому ведению заседания руководителями конгресса.

В целом среди участников конгресса из стран Латинской Америки заметна явная неудовлетворенность засилием в работе форума представителей стран капиталистического Запада. Многие высказывали предложение о желательности и важности расширения участия ученых из СССР и других социалистических стран в конгрессах американистов. Действительно, эти научные форумы с их столетней традицией и солидным научным авторитетом заслуживают большего внимания со стороны советских ученых: интересы науки и пропаганды наших научных достижений от этого только выиграют.

В. А. Тишков

ХIII КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ

20—21 мая 1982 г. в Москве, в Институте востоковедения АН СССР, состоялась очередная, XIII конференция по изучению Австралии и Океании. В обсуждении проблем указанного региона приняли участие австраловеды и океанисты Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Тбилиси, Ростова и других городов нашей страны, представители разных наук (историки, этнографы, экономисты, литературоведы). В ходе этих ежегодных встреч, отметил, открывая конференцию, К. В. Малаховский (Институт востоковедения АН СССР, Москва), вырабатывается более глубокое и многостороннее представление о народах, живущих в Австралии и Океании, об их прошлом и настоящем. 12 сборников, явившихся результатом предыдущих конференций (первая состоялась в 1969 г.), — весомый вклад в познание истории, экономики, прежней и новой культуры народов этого региона.

На конференции было заслушано 30 докладов. Многие доклады по своей тематике комплексные, но можно сказать, что 10 посвящены преимущественно истории, 9 — этнографии, 6 — экономическим и 5 — литературоведческим проблемам.

Н. Б. Лебедева (Ин-т востоковедения АН СССР, Москва) в докладе на тему «К вопросу о типологии развивающегося мира: малые развивающиеся страны (на примере Океании)» отметила, что к решению этого вопроса можно подходить с разных сторон, беря за основу: 1) число жителей и площадь территории, 2) экономические показатели, 3) политические факторы (участие в международных делах). Для всех раз-

сущихся стран Океании характерны некоторые общие черты: акцент в хозяйстве на аграрный вид производства (наследие колониализма), финансово-экономическая и политическая зависимость от бывших метрополий (неоколониализм). Сильно мешают развитию этих стран такие факторы, как удаленность друг от друга, малые размеры их территории. Тем не менее развивающийся мир Океании неоднороден. Можно выделить группы и архипелаги, продвинувшиеся в экономическом развитии (Науру, Новая Каледония и др.), и такие, где развитие идет замедленно (Папуа Новая Гвинея, Соломоновы острова, Вануату и др.).

В. Г. Гришин (Дипломатическая академия МИД СССР, Москва) охарактеризовал милитаристскую деятельность США на подопечной территории Тихоокеанские острова, управляемой Соединенными Штатами с санкции ООН, и показал ее губительные последствия для местных жителей, микронезийцев. Особенно трагична, отметил докладчик, судьба жителей атоллов Бикини и Энвиеток, где в 40—50-х годах были проведены испытания американского атомного и водородного оружия (на Бикини — 2 взрыва, на Энвиетоке — 43 взрыва). Серьезно пострадали также жители атоллов Ригелап и Утирик, на которые в 1954 г. выпали радиоактивные осадки. По расчетам ученых, лишь через 30 лет эти атоллы станут вновь пригодными для обитания человека. В настоящее время база на атолле Кваджалейн используется Пентагоном для испытания новых стратегических ракетных систем. Это усиливает напряженность в районе Микронезии, ныне расколотой на части (Северные Марианские острова станут частью США, остальные архипелаги вступят в «свободную ассоциацию» с США), и ставит под угрозу безопасность народов этого региона.

В. П. Николаев (Ин-т востоковедения АН СССР, Москва) рассказал о характере экономической помощи, оказываемой Австралией странам Океании. Австралия, лишившись своих колоний (теперь у нее остался только о. Норфолк), стремится сохранить экономическое и политическое влияние на многие освободившиеся страны Океании. В 1980/81 финансовом году она предоставила этим странам экономическую помощь в размере 547 млн. австралийских долларов (почти половину суммы получила Папуа Новая Гвинея, остальное поделили между собой Тонга, Фиджи, Вануату, Тувалу и другие архипелаги). Значительная часть средств пошла на оплату австралийских специалистов, работающих в этих странах. Предоставляя экономическую помощь, Австралия оговаривает выгодные условия для австралийского монополистического капитала и не создает условий для того, чтобы страны Океании могли освободиться от этой ее помощи.

Д. Д. Тумаркин (Ин-т этнографии АН СССР, Москва) рассказал в своем докладе о письме премьер-министра Великобритании У. Гладстона, написанном в 1882 г. Докладчик обнаружил это письмо в одном из лондонских архивов. У. Гладстон в этом письме высоко оценивает личность и общественную деятельность великого русского поэта Н. Н. Миклухо-Маклая, его гуманное отношение к папуасам Новой Гвинеи. Письмо показывает, что в последние годы своей жизни Н. Н. Миклухо-Маклай пользовался значительной известностью в Западной Европе. Проанализировав содержание письма, докладчик рассказал также об истории появления этого документа.

А. Я. Массов (Кораблестроительный ин-т, Ленинград) остановился на трагическом для папуасов периоде в истории европейской колонизации Новой Гвинеи. Правительство Квинсленда объявило о присоединении восточной части Новой Гвинеи к владениям Британской империи. Квинслендские плантаторы и работорговцы немедленно использовали сложившуюся политическую ситуацию в своих корыстных интересах. У берегов Новой Гвинеи появились корабли работорговцев, стали широко практиковаться разбойничий захват папуасов и продажа их в рабство квинслендским владельцам плантаций сахарного тростника. 1883—1884 гг. известны в истории Новой Гвинеи как годы «охоты на черных дроздов». Ф. Энгельс, указав докладчик, расценил события этих лет как новый разительный пример тихоокеанского работорговли.

К. Ю. Бем (Ин-т востоковедения АН СССР, Москва) в докладе «Политика Германии в Океании (1918—1936 гг.)» дал анализ попыток Веймарской, а затем гитлеровской Германии проникнуть в свои бывшие колонии в Океании, потерянные после первой мировой войны. Докладчик охарактеризовал позиции различных партий и группировок в Германии, связанные с попытками возродить германский колониализм.

Два доклада были посвящены характеристике традиционного общества австралийских аборигенов. О. Ю. Артемова (Ин-т этнографии АН СССР, Москва) в докладе «Лидеры в обществе аборигенов Австралии» выделила два основных типа лидеров — вождей общин, с одной стороны, и руководителей религиозных обрядов —

с другой. Докладчица проанализировала социальные нормы, определяющие пол, функции и полномочия этих лидеров, и подробно остановилась на вопросе о том, как того рода люди выдвигаются в лидеры и как влияет личность лидера на жизнь общины.

Т. В. Сеньюта (Гос. университет, Донецк) рассмотрела в своем докладе причины временной ускоренности брака у аборигенов Австралии (муж и жена в течение времени переходили на жительство из общины мужа в общину жены). Этот обычай, по мнению докладчицы, был вызван рядом обязанностей, связывающих аборигенов с родителями его жены (в частности, он должен был снабжать их дичью), а выполнение этих обязанностей ему было легче, живя в их общине. Вторая причина: престарелые люди заинтересованы в помощи со стороны дочери (от 60 до 90% потребляемой аборигенами пищи добывалось женщинами).

А. С. Петриковская (Ин-т востоковедения АН СССР, Москва) в докладе, в котором неразрывно переплелись проблемы литературоведения и этнографии, охарактеризовала творчество писателей — аборигенов Австралии. Впервые эти писатели заявили о себе в 1960-х годах. В своих произведениях (в основном это были пьесы, биографические повести) они рассказывали о трагической судьбе аборигенов, об их кровных связях с землями предков, об их борьбе за эти земли, отнятые у них, и о своих гражданских и человеческих правах. В 1970-х годах все чаще звучит в их произведениях мотив невосполнимости культурных потерь, тема «человека между двух миров», критика «черной бюрократии» (т. е. той прослойки аборигенов, которая утратила связь с породившей их культурой), критика индивидуалистической индустриальной культуры («белые — несчастная раса»). Продолжают выходить произведения, идеализирующие прежние обычаи аборигенов (в частности, обряд корробори). Наблюдая попытки возродить традиционную культуру. Так, поэтесса-аборигенка Кэслин Уокер, в своем доме читает детям лекции о прежнем образе жизни аборигенов, обучает древним навыкам и знаниям.

Ряд докладов был посвящен традиционной культуре океанийцев, ее истокам и также ее месту в современной жизни.

М. С. Бутинова (Музей истории религии и атеизма, Ленинград) в докладе «Полинезийский пантеон» выявила основные черты полинезийского политеизма. В целом мировоззрение полинезийцев было охарактеризовано как наивно-материалистическое. Довольно рано (во всяком случае до его изучения этнографами) оно испытало на себе влияние христианских верований. Мир, согласно традиционным представлениям полинезийцев, никем не создан, он существовал всегда (позднее, под влиянием миссионеров, сложилась легенда о сотворении мира). Полинезийские боги (Ту, Тау, Ронго, Тангароа, Хина и др.) заключали между собой брачные союзы, и от этих союзов рождались первые люди (мотив сотворения человека богом заимствован из легенды об Адаме и Еве; сохранены даже детали — первую женщину полинезийский бог сотворил из ребра первого мужчины). Многие полинезийские боги по своему происхождению — это умершие вожди и жрецы. Впрочем, отметила докладчица, полинезийцы легко возводили и живых вождей и жрецов в разряд богов.

И. К. Федорова (Ин-т этнографии АН СССР, Ленинград) в своем докладе «Следы шаманизма в фольклоре полинезийцев» привела ряд примеров из полинезийских легенд, свидетельствующих, по ее мнению, о существовании в Полинезии в прошлом шаманского комплекса (представления о верхнем, среднем и нижнем мирах и соединяющем их мировом древе; техника экстаза и т. д.). Позднее шаманы уступили место жрецам.

К. Ю. Мешков (Ин-т этнографии АН СССР, Москва) в докладе «Некоторые аспекты рапануйско-японских параллелей» предпринял попытку найти сходные черты в культурах Японии и острова Пасхи и высказал предположение, что эти черты уходят своими корнями в культуру древней Индии.

Н. А. Бутинов (Ин-т этнографии АН СССР, Ленинград) в свою очередь отметил ряд сходных черт в культуре полинезийцев островов Кука (южных) и острова Пасхи и высказал предположение, что первые иммигранты (ханау момоко) прибыли на остров Пасхи с островов Кука (с острова Раротонга, по местным преданиям, отправился в плавание Ау-Маке; на о. Пасхи, по преданиям рапануйцев, первым высадился Хау-Мака). Позднее с Маркизских островов прибыла новая волна переселенцев (ханау еепе).

Е. С. Соболева (Ин-т этнографии АН СССР, Ленинград) в докладе «Этнические процессы на острове Тимор» проследила этническую историю этого острова с мо

та европейской колонизации до наших дней. Сейчас остров входит целиком в Республику Индонезия. Культура народов Тимора испытывает на себе сильное влияние индонезийской культуры.

Ю. В. Зернецкая (Ин-т литературы АН УССР, Киев) в докладе «К вопросу австрало-украинских литературных взаимосвязях» подчеркнула, что интерес украинского читателя к австралийской литературе прослеживается с конца XIX в. Особенно возрос этот интерес в советское время. В свою очередь в Австралии благодаря читателям, посетившим Украину (К. С. Причард, А. Маршалл и др.), растет интерес к украинской литературе, к образу жизни советских людей. Докладчица охарактеризовала произведения австралийских писателей, переведенные в нашей стране на украинский язык, а также труды украинских литературоведов, посвященные австралийской литературе. Было подчеркнуто, что в Австралии об украинской литературе знают гораздо меньше, чем на Украине об австралийской.

Кроме того, заслушаны следующие доклады: Б. Б. Рубцов (Ин-т востоковедения АН СССР, Москва) «Экономика Австралии в начале 1980-х годов», Л. Г. Степанчук (Ин-т востоковедения АН СССР, Москва) «Экономическая политика правительства Новой Зеландии (1975—1981 гг.)», А. Ю. Сучков (Московский финансовый ин-т) «Некоторые аспекты влияния энергетического кризиса на экономическое развитие стран азиатско-тихоокеанского региона», А. В. Чуйко (Ин-т востоковедения АН СССР, Москва) «Значение внешней торговли для Австралии и основные тенденции ее развития», О. В. Жарова (Ин-т востоковедения АН СССР, Москва) «Конституционный кризис в Австралии в 1975 г. и падение лейбористского правительства Уитла», Н. П. Челинцева (Ин-т востоковедения АН СССР, Москва) «Развитие австрало-американских отношений (вторая половина 1970-х — начало 1980-х годов)», М. Солодкина (Всесоюзный заочный финансово-экономический ин-т, Москва) «Критика буржуазных концепций экономического развития Австралии», А. И. Мартынов (Ин-т всеобщей истории АН СССР, Москва) «К вопросу о типологических особенностях развития буржуазной внешнеполитической мысли и историографии внешней политики Австралии (1901—1941 гг.)», И. В. Ковлер (Ин-т востоковедения АН СССР, Москва) «К истории формирования либеральной партии Новой Зеландии в XIX в.», И. Г. Каневская (Дальневосточный гос. университет) «Роль межгосударственных конференций 1860—1870-х годов в развитии федерального движения Австралии», А. Ю. Рудницкий (МГУ) «Проблема предоставления австралийским колониям самоуправления и исторические взгляды Мэннинга Кларка», В. И. Котлярова (Ин-т инженеров железнодорожного транспорта, Ростов) «Миф о процветании и рассказы Хэла Портера», Н. Г. Натанишвили (Сектор информации по естественным наукам АН ГССР) «Новая Зеландия 1930-х годов и становление Бенжамина Сарджесона», И. В. Головня (МГУ) «Драматургия Дэвиса Уильямсона».

По многим докладам на конференции состоялась оживленная дискуссия.

С заключительным словом выступил К. В. Малаховский. Он указал на важное значение заслушанных на конференции докладов и проведенных по ним дискуссий. Однако опыт всех 13 конференций по изучению Австралии и Океании, подчеркнул он, свидетельствует о том, что далеко еще не все актуальные вопросы получили достаточное освещение. В частности, слабо изучены малые государства Океании, их роль в международной жизни, их стремление проводить самостоятельную политику. Недостаточно разработаны проблемы духовной жизни современных океанийцев. Требуют большего внимания многие проблемы экономики Австралии и Океании, политики США, Японии, Англии и Франции в этом регионе.

С удовлетворением можно отметить, что в этой конференции этнографы приняли более активное участие, чем в предыдущей.

М. С. Бутинова

Летом 1981 г. состоялась музыкально-фольклорная экспедиция сектора фольклора и искусств Научно-исследовательского ин-та языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР.

В экспедиции приняли участие научные сотрудники и аспиранты сектора.

Основная цель экспедиции — сбор словесного и музыкального фольклора мордвы, проживающей в Теньгушевском районе Мордовской АССР. Л. В. Седова (руководитель группы) собирала предания, легенды, былички, В. И. Ромашкин — музыкальное творчество, Т. П. Маслова — материалы по традиционной и современной свадьбе, А. И. Макарова — сказки.

За время полевой работы записано 1692 произведения устно-поэтического и музыкального творчества. Среди них 1073 частушки, 64 былички, 38 преданий, 28 сказок, 56 текстов детского и 60 календарного фольклора (колядки, рассказы о веснянках), 19 гаданий и игр, 38 инструментальных наигрышей, 63 свадебные песни и 14 описаний традиционной и современной свадьбы, 25 описаний похоронных обрядов и плачей. Записаны также 163 русские народные песни (свадебные, хороводные, плясовые, рекрутские, сиротские).

Несмотря на то что традиционный свадебный обряд здесь в основном ушел в прошлое, люди пожилого возраста его хорошо помнят. Во всех обследованных селах на магнитную пленку от информаторов различного возраста (от 30 до 80 лет) были записаны свадебные обряды, песни, причитания, что позволило в какой-то степени представить свадебные обряды шокши на протяжении XX в.

Нам удалось присутствовать на свадьбе в с. Нароватово, где были зафиксированы основные этапы современного свадебного обряда, а также уточнены свадебные песни и плачи, функционально связанные с этим действием.

В традиционном свадебном обряде мордвы-шокши имеются детали, характерные только для теньгушевской мордвы. Интересен обряд «одаривания». В некоторых селах (Сакаево, Шокша, Мельсетьево) близкие родственники жениха дарили невесте столько овец, сколько она подарит им «панархт» (рубашка). Принято было дарить семь (по древним воззрениям мордвы, это число считалось магическим). В ответ на подарок невесты крестный отец да-

рил ей телку. Этот обычай особенно строго соблюдался в зажиточных семьях.

В традиционной свадьбе мордвы-шокши несколько иначе, чем у других групп мордвы, совершался обряд «заплетания косы невесты». Это происходило в первый день свадьбы в церковной сторожке, и обычай разделяла на две части мать жениха. У мордвы-мокши этот обряд совершался спустя две недели после посещения дядельского дома, у мордвы-эрзи — в первый день свадьбы в доме невесты.

Отличается локальными чертами и свадебная поэзия, в частности, функционально связанные с обрядом песни. Прежде всего нужно отметить, что во всех обследованных селах нам не удалось зафиксировать корильные песни. Информаторы обычно говорили, что они не корят во время свадьбы.

В некоторых селах (Кураево, Нароватово) существовал такой обычай: во время «великого поста» под окнами молодоженов исполнялись «сериямонь морот» (дословно: песни, исполняемые криком). В этих местах хвалили молодоженов. Однако в том случае, если молодые не выходили, упреждать «певцов», начинали их упрекать. Фиксированный обряд является скорее всего следствием контакта шокши с русскими населением.

В настоящее время жанр «сериямонь морот» полностью перестал бытовать.

В традиционном свадебном обряде мордвы Теньгушевского р-на исполнялись в основном величальные песни. В большом количестве зафиксированы нами песни «свахань барум» (дословно: свахань сваха, барум — хорошо). Это величальные песни жениху, невесте, свахе, сватам.

Во время экспедиции отснято несколько фотоленок.

Материалы экспедиции показывают, что несмотря на влияние близлежащих ивановских (с востока и юга — Ельниковского и Темниковского районов) и русских запада — Рязанской и Горьковской областей) сел, теньгушевская мордва сохранила немало своеобразных черт в свадебном обряде и свадебной поэзии, отсутствующих в других эрзянских и мокшанских районах Мордовской АССР. Собранные фольклорные произведения помогут дальнейшему изучению мордвы Теньгушевского района.

Л. В. Седова



КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ БОЛГАРСКИХ СКАЗОК

Главной задачей болгарской фольклористики, как это отметил в своей программной статье «Новые задачи болгарской фольклористики» П. Динеков¹, является научная разработка проблем фольклора, решение насущных теоретических и методологических проблем исследования фольклора, развитие и усовершенствование марксистско-ленинской методологии его исследования.

Современный этап развития болгарской фольклористики характеризуется творческим освоением лучших достижений советской и зарубежной фольклористики, активным внедрением исторических и структурных методов анализа фольклорных текстов: так, на методику исследования сказок большое влияние оказали идеи и концепции советского фольклориста В. Я. Проппа, его методика исследования сказок².

Изучение сказок имеет в болгарской фольклористике давние традиции. Первое каталогизирование болгарских сказок было проведено М. Арnaudовым³. Большое значение для болгарской и мировой фольклористики имело многотомное издание фольклорных текстов⁴, в предисловии к 10-му тому которого П. Динеков подчеркивал важность изучения сказки «как особого вида народной прозы» среди прочих видов народной прозы (таких, как предания, легенды, устные рассказы), анализа ее художественной специфики как особого жанра⁵.

Очень интересны труды Р. Ангеловой⁶, посвященные изучению функционирования болгарской народной прозы в современных условиях; предметом ее исследований были функции рассказчика и слушателей, трансформация традиционных сюжетов при пересказе, создание новых фольклорных произведений. Видное место занимают интересные работы В. Кузмановой⁷, исследовавшей особенности тех волшебных сказок, которые включают как композиционный прием задавание трудных вопросов или загадок.

Более подробно мы остановимся на трудах Л. Парпуловой⁸, и особенно на ее монографии о болгарской волшебной сказке⁹, так как именно она стала наиболее заметным явлением болгарского сказковедения последних десятилетий.

Книга Л. Парпуловой, содержащая формальный анализ болгарской волшебной сказки, несомненно, является крупным вкладом в развитие современного сказковедения. Эта монография является творческим развитием, применением к болгарскому материалу идей и концепций В. Я. Проппа, высказанных им в его классическом труде «Морфология сказки».

Книга состоит из введения, трех глав и заключения. Во введении формулируются следующие основные задачи исследования: 1) изучить болгарскую волшебную сказку на основе имеющихся традиций и достижений в исследовании волшебной сказки как

¹ Динеков П. Българската фолклористика пред нови задачи.— Български фолклор, 1975, кн. 1.

² Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1946; его же. Морфология сказки. М.: Наука, 1969.

³ Арnaudов М. Българските народни приказки. Опыт за класификация.— Сборник за народни умотворения и фолклористи, XXI, 1905, с. 1—110.

⁴ Българско народно творчество (далее — БНТ). Т. 1—13. София, 1960—1965.

⁵ Динеков П. Битови приказки и анекдоти.— БНТ, т. 10, 1963, с. 6.

⁶ Ангелова Р. Съвременното състояние на българските народни приказки, предания, легенди.— Славянска филология. Т. 5, София, 1963; Към въпроса за съвременното състояние на българските народни приказки, предания и легенди.— Известия на Етнографския Институт и Музей (далее — ИЕИМ), 1964, кн. 8; Основни насоки в живота на българската разказна проза.— Фолклорът и народните традиции. София, 1976.

⁷ Кузманова В. Наблюдения върху съвременното състояние на българските волшебни приказки с трудни задачи.— Фолклорът и народните традиции. София, 1976; и др. Персоналът, свързан със задаването на трудни задачи в българските волшебни приказки.— ИЕИМ, 1975, кн. 16.

⁸ Парпулова Л. Върху един въпрос от поетиката на волшебната приказка.— Български фолклор, 1975, кн. 1 и другие работы.

⁹ Парпулова Л. Български волшебни приказки (въведение в поетиката). София, 1978. 233 с.

особого жанра; 2) установить, в какой степени болгарская волшебная сказка характеризуется типичными для этого жанра особенностями; 3) показать национальное своеобразие болгарской волшебной сказки, накладывающее свой отпечаток на интернациональные мотивы и сюжеты; соотношение национального и интернационального; 4) показать трансформацию волшебной сказки и сознательное и бессознательное пародирование жанра волшебной сказки.

Первая глава посвящена исследованию жанровых особенностей волшебной сказки к числу которых автор относит введение волшебного элемента, построение сюжета системы персонажей. Основным жанрообразующим признаком является волшебный элемент; по этому признаку волшебная сказка отличается от мифа, с которым связана генетически. В сказке, как писал Е. М. Мелетинский¹⁰, концепциям которого следуя автор, происходит деритуализация и десакрализация мифических событий, введен сознательного, намеренного вымысла. Введение волшебного элемента воздействует, по мнению автора, на внутреннюю структуру жанра, делая возможным сохранение ряда традиционных сюжетов и мотивов, унаследованных от архаических мифов. Это определяет жанровый стиль волшебной сказки, который позволяет описывать чудесныеключения сказочных персонажей, действующих в условиях сверхъестественного сказочного мира, сохраняя при этом художественную достоверность и убедительность. Вторым жанрообразующим признаком является сюжет. Автор рассматривает внутреннюю проблему механизма ассоциаций в сказке, выявляет такие сюжетные детали, которыми связываются определенные ассоциации. Примером такого семантического и смыслового элемента может служить образ Солнца, который наряду с вхождением в основную оппозицию — Солнце/Луна ассоциируется с целым рядом противопоставлений, таких как жизнь/смерть, верх/низ, небо/земля, земля/подземный мир, восток/запад, юг/север, день/ночь, лето/зима, светлый/темный, свой/чужой, близкий/далекый и т. д. Для автора существенно установление механизма превращения отдельного события в сюжетную деталь, которое становится возможным благодаря сети ассоциативных значений, унаследованных от мифа и ритуала. Одному и тому же сюжету могут соответствовать разные сказочные события. При этом само развитие сюжета не свободно, регламентировано, подчинено определенным правилам.

При формальном анализе строения волшебной сказки автор вводит понятие мотива¹¹, которому применительно к сюжету соответствует эпизод, а применительно к морфологической модели сказки — функция или совокупность функций (с. 65). Используя методику А. Дандиса¹², автор объединяет мотивы, выполняющие в сказке одну и ту же функцию, в мотивему, которая складывается из алломотивов и вариантов мотивов. Так, мотивема «отлучение детей от дома» может реализоваться с помощью таких алломотивов, как «мачеха изгоняет падчерицу из дома», «отец отдает сына в обучение волшебнику», «родители-людоеды преследуют детей», «родители отдают первого ребенка сверхъестественному существу в качестве платы за услугу» и др. Взаимозависимость функций и мотивемы является характерной чертой поэтики волшебных сказок.

Сюжет сказки может усложняться с помощью различных приемов, к ним относятся а) синонимии, т. е. повторения равнозначных мотивов с одинаковой функцией (например, утроение предварительного испытания); б) антонимии, т. е. использования семантически равнозначных мотивов в противоположных функциях. Так, например, смысловая оппозиция «правильный — неправильный» выражается через антонимию двух мотивов — получение награды от сверхъестественного существа (старуха дала падчерице сундук с золотыми монетами) — наказание от сверхъестественного существа (старуха дала сундук со змеями и ящерицами).

Третьим жанрообразующим признаком волшебной сказки автор считает систему персонажей. Мотивема, функция и персонаж тесно между собою связаны и внутренне организуют текст. В волшебных сказках доминирующая роль принадлежит сюжету, который определяет распределение функций и закрепление их за основными персонажами. Автор подтверждает на болгарском материале семиперсонажную схему действующих лиц, разработанную В. Я. Проппом¹³, а именно: 1) антагонист (вредитель), 2) даритель, 3) помощник (одушевленное существо и волшебное средство), 4) царская дочь (искомый персонаж) и царь, 5) отправитель, 6) герой и 7) лжегерой.

Каждый тип персонажей соотносен с наиболее характерными исполнителями. Так «искомый персонаж» — это царская дочь, самая красивая девушка, мать, жена или невеста героя; «вредитель» — это чудовище-людоед, змея и т. п. Причем не существует однозначного соответствия между персонажем и функцией. С одной стороны, один персонаж может совмещать несколько функций (например, чудесная жена может объединять в себе функции искомого персонажа, дарителя, вредителя, помощника и отправителя), а с другой стороны, может происходить расщепление одной функции на несколько персонажей (например, расщепление одной функции между царем и царской дочерью). Благодаря этому возникают различные вариации основной семиперсонажной схемы. Они могут быть различными в разных этнических средах, поэтому можно положить в основу типологического сопоставления композиционных особенностей сказок разных народов. Национальное своеобразие сказок, по справедливому наблюдению автора (с. 79), проявляется не в самом наборе элементов, а в различных соотношениях, которое отражает национальную психологию. Так, в болгарских сказках

¹⁰ Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976, с. 264.

¹¹ Парпулова Л. За съдържанието на термина *мотив* в фолклористиката. — Български фолклор, 1977, кн. 2.

¹² Dundes A. From Etic to Emik Units in the Structural Study of Folktales. — Journal of American Folklore, 1962, v. 75

¹³ Пропп В. Я. Морфология сказки, с. 72—73.

в отличие от русских, царская дочь почти никогда не задает трудных вопросов 103 волшебных сказок, включающих этот мотив, только в 13 трудные вопросы (царская дочь, а в 90 — сам царь). Для волшебной сказки характерны герои только положительные, либо только отрицательные. Они являются олицетворением определенных свойств и состояний, их атрибуты создают «маску» и «костюм», типичный облик исполнителя данной функции.

Вторая глава книги Л. Парпуловой посвящена композиции волшебной сказки, в рассматриваются внутренние законы построения повествования. По мнению автора, основную организующую функцию в строении волшебной сказки выполняют три опции: а) прямая/непрямая речь, б) слова автора/слова героя сказки, в) сказанное/не сказанное (подразумеваемое) слово. Волшебная сказка может создавать свой «тайный язык», использующий средства естественного языка, но придающий им другой, скрытый смысл, который раскрывается в процессе повествования. Так, «странные» герои становятся нормальными, а нормальные — ненормальными. Хочется отметить интересное сопоставление композиции волшебной сказки с композицией иконы (III). Видение картины мира в сказке сходно, по наблюдению автора, с принципом от перспективы¹⁴, господствовавшей в иконописи и средневековой живописи. Пространство в волшебной сказке условно, стилизовано, закрыто в себе, изолировано от реального, так и от мифического пространства. Время, как и пространство, занимает промежуточное положение между мифическим и реальным, основной характеристикой сказочного времени, как и сказочного пространства, является закрытость, обязательное наличие финальной границы, например, женитьба героя. Сказка, как утверждает автор, не признает хронологии событий, последовательность действий строго фиксирована. Автор фиксирует такие две особенности времени в сказке: 1) «оставшееся время» (например, в сказке «Спящая красавица») и 2) приуроченное время (это проявляется в том, что герой появляется в нужный момент). В целом анализ сказочного пространства и времени очень интересен и представляется большой удачей автора.

Третья глава монографии по своей проблематике стоит особняком по отношению к первым двум, она посвящена вопросу изменения жанра волшебной сказки, сознательному и несознательному ее пародированию¹⁵. Процесс изменения жанра автор рассматривает на примере сказок «Храбрый портной» и «Дядя Трак и последний змей», рассматривая первую как пародию на формальную сторону волшебной сказки, а вторую — пародию не только на формальную, но и на содержательную сторону волшебной сказки, ее фантастику и образность. Нам представляется, что здесь имеет место не пародирование, а развитие другого жанра народной прозы с иной системой ценностей. Для волшебных сказок характерно противопоставление таких человеческих свойств, добра — зла, зависть — благородство, смелость — трусость и т. п., причем за положительные качества герои получали вознаграждение (чуждые дары) от сверхъестественных существ, то для плутовских авантюристических сказок характерно противопоставление хитрости — глупости, и победу над антагонистом герой одерживает не помощью волшебных помощников, как в волшебной сказке, а собственными силами и простотой.

В целом книга Л. Парпуловой имеет большое теоретическое и методологическое значение. Построенная автором формальная модель болгарской волшебной сказки еще продемонстрировала универсальность идей В. Я. Проппа и позволила выявить как национальное своеобразие болгарской волшебной сказки (проявившееся, в частности, в особенностях связи функции и персонажа), так и ее интернациональную основу. Интересное сопоставление с турецкими и западноевропейскими волшебными сказками позволило перспективно сопоставления волшебных сказок разных народов по критериям жанрообразующих признаков и приемов композиции.

Среди более поздних работ Л. Парпуловой нам хочется остановиться на ее исследовании символики дерева в болгарских волшебных сказках¹⁶, которое является первой публикацией обширного труда, посвященного изучению символики дерева в болгарской народной прозе, народной песне, в искусстве, обрядах и обычаях. В целом это символизирует жизнь, оно ассоциируется с самыми важными вехами жизни: рождением, свадьбой и смертью. Дерево связывается также с темой познания добра и зла, с идеями справедливости, установления правильного миропорядка. Также рассматривается иконография дерева, т. е. описание внешнего вида, членение на части, и символика его частей. Так, крона дерева символизирует вселенную (прокосмос) и голову человека (микрокосмос), с ней соотносятся птицы и небесные существа. Например, орел на вершине дерева символизирует солнце; со стволом дерева ассоциируются животные, выражающие идею силы, такие как лев, единорог, олень. Судя по этой первой публикации, исследование Л. Парпуловой символики дерева в болгарском фольклоре обещает быть очень интересным.

См. Успенский Б. А. К системе передачи изображения в русской иконописи. — Труды по знаковым системам, 2. Тарту, 1965, с. 248—257; Флоренский П. А. Творческая перспектива. — В кн.: Труды по знаковым системам, 3. Тарту, 1967 с. 381.

¹⁴ Парпулова Л. Към въпроса за пародията в българската народна проза. — ИЕИМ, кн. 16.

¹⁵ Парпулова Л. Чудесни дървета в българските волшебни приказки. (Опит за типизация и изясняване на семантиката). — Български фолклор, 1980, кн. 3, с. 25.

Проблематикой волшебной сказки занималась также И. Коцева¹⁷, в статьях, в которой освещается роль мотива запрещенной комнаты в композиции волшебной сказки. Автор выделяет такие моменты в приеме запрещения, как: а) само запрещение, именно запрещается (например, вход в комнату, открывание шкастунки и т. п.); б) тивировка нарушения запрещения, в) нарушение запрещения; г) последствия запрещения. В статье отмечается, что мотив запрещения (табу) относится к древним сказочным мотивам, историческая основа которых ждет своего выяснения.

Е. Трифонова¹⁸ определяет функцию счастливого конца в волшебной сказке, место по отношению к другим структурным элементам в композиции сказки в динамическом и синхронном аспектах. Автор стремится доказать организующую роль счастливого конца в системе ценностей мира сказки. С его помощью, по мнению автора, реализуется инстинктивное стремление человека к гармонии и справедливости. В динамическом аспекте роль счастливого конца следует искать, по мнению автора, в ритуальной функции мифа, с которым сказка связана генетически.

Начавший регулярно выходить с 1975 г. журнал «Български фолклор» сыграл большую роль в активизации и развитии фольклористических исследований в Болгарии. Этот журнал способствовал объединению сил болгарских фольклористов, налаживанию контактов и связей между фольклористами, работающими в разных местах. Включенный ежегодно библиографический перечень трудов по фольклористике и большую информативную ценность.

В настоящее время в Институте фольклора Болгарской академии наук создается указатель сюжетов и осуществляется каталогизирование сказок по системе Томпсона. В 1976 г. в Институте фольклора Болгарской академии наук был осуществлен проект модели каталога болгарских народных сказок¹⁹.

Мы постарались в настоящем обзоре осветить основные направления в изучении сказок в болгарской фольклористической школе, труды которой имеют большое методическое и методологическое значение как для болгарской, так и для мировой фольклористики.

З. М. Вом

¹⁷ Коцева И. Остатъци от «забрана» (табу) в българския песнен и прозаичен фолклор.— Български фолклор, 1975, кн. 2; *ее же*. Мотивът за забранена стая в българските вълшебни приказки.— Български фолклор, 1977, кн. 1, с. 22—35.

¹⁸ Трифонова Е. Към въпроса за ролята на щастливия финал в жанровата характеристика на народната вълшебна приказка.— Български фолклор, 1977, кн. 1, с. 16.

¹⁹ Добрева Д. Някои проблеми на каталогизирането на българските народни приказки по системата на Аарне — Томпсън.— Български фолклор, 1979, кн. 2, с. 14.

ОБЩАЯ ЭТНОГРАФИЯ

А. И. Першиц, А. Л. Монгайт, В. П. Алексеев. История первобытного общества. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1982.

Сегодня вряд ли пришлось бы кого-либо убеждать в огромном мировоззренческом значении такой, казалось бы, далекой от нашего времени научной дисциплины, как история первобытного общества. Данные этой отрасли науки составляют ныне несомненно важную часть историко-материалистического понимания прошлого человечества и лежат в основе такого понимания. Отсюда и вытекает наличие очень многочисленной аудитории, которой преподается история первобытного общества, и отсюда же следует потребность в таком основном учебнике по этой дисциплине, который сочетал бы в себе высокий научный уровень и доступность изложения материала. Такой учебник вышел в 1968 г.; в 1982 г. вышло его третье, переработанное издание.

Рецензировать учебник всегда трудно, прежде всего потому, что он должен не только фактически диаметрально противоположным требованиям: с одной стороны, быть максимально «современным» в научном смысле, но, с другой — обязан предоставлять студентам определенный минимум бесспорных сведений, т. е. быть в определенной мере стабильным по содержанию, и дать такие сведения в форме, доступной пониманию неспециалиста-новичка. А ведь наука не стоит на месте: история первобытного общества в последние годы отличается как раз стремительным возрастанием объема новых данных, а с этим связано и довольно быстрое обновление научных выводов. И отразить это движение должны были последовательные издания рассматриваемого учебника.

Забегая вперед, можно сразу же сказать, что с этой важнейшей задачей авторы справились весьма успешно: в книге достаточно адекватно отражено сегодняшнее состояние истории первобытного общества. Однако то, что учебник выдержал за эти 15 лет три издания, свидетельствует о надежной основе, в которую вносились изменения при повторных изданиях, т. е. именно о несомненной стабильности ее.

Отбор материала для очередного издания всегда труден: речь идет не просто об уточнении тех или иных данных, но именно о показе движения науки. И увидеть, насколько удалось авторам решить эту задачу, можно лишь в сравнении с предыдущим изданием.

Первое, что следует сказать (и что бросается в глаза при ознакомлении с книгой) — это то, что учебник отразил существенное расширение понятийного аппарата истории первобытного общества и соответствующее обогащение ее терминологии. За это стоит большая работа советских и зарубежных исследователей, что в свою очередь нашло отражение в заметном расширении и историографического раздела учебника. Можно, впрочем, отметить, что в целом объем книги возрос незначительно — не намного больше, чем на два авторских листа. А это свидетельствует об успешном решении проблемы отбора материала: выбранные и включены в учебник именно самые важные научные результаты последнего десятилетия. Каковы же основные новые моменты в содержании рецензируемой книги по сравнению со вторым ее изданием?

В первую очередь заслуживает всяческого одобрения то, что авторы ввели в текст учебника больше сведений о проблемах, связанных с периодизацией истории первобытного общества. Студент получит из нового учебника не только представление о наиболее широко принятой периодизации, как это было в предшествующих изданиях, но и ознакомится со связанными с нею основными дискуссионными вопросами (с. 5—7). Здесь отмечены основные подходы к данной проблеме, существующие в науке как у нас в стране, так и за рубежом. Весьма важным новшеством представляется и введение учебника, пусть даже в форме самого общего упоминания, вопроса об обществах синтетических и апосинтетических, который в 70-е годы детально разрабатывался в отечественной этнографии. Такие нововведения заметно обогатили общетеоретическую базу, с которой начинается изучение предмета, и их значение для расширения общестороннего кругозора обучаемых трудно переоценить. Весьма полезна и помещенная во введении к книге сопоставительная таблица исторических и археологических эпох и этапов эволюции человека (с. 10). Все такие дополнения к вводной части учебника позволяют получить сведения о современном состоянии одного из важнейших в методологическом отношении комплекса проблем, связанных со становлением истории первобытного общества как самостоятельной научной дисциплины в ее нынешнем виде.

Намного ярче представлена в новом издании учебника такая важнейшая сторона истории первобытности, как экономика. Известно, что за последние полтора-два десятилетия в этой области было сделано едва ли не больше, чем за все остальное время существования истории первобытного общества как самостоятельной отрасли знания. Значительно сформировалось представление о такой специфической форме позднейшей экономики, как престижная, и сделаны безуспешные попытки истолкования этого явления с марксистских методологических позиций. Были выработаны понятия жизнеобеспечивающего и избыточного продукта, позволившие во многом по-новому взглянуть на вопросы соотношения производства и распределения, вызывавшие жаркие споры. Обнаружилось также, что и вопрос о том, каким образом избыточный продукт общественного производства начал превращаться в отчуждаемый у производителя прибавочный продукт, на практике выглядит гораздо сложнее, чем это представлялось ранее; отсюда — появление такого концептуального момента в западной науке, как «парадокс Салинза». Большой заслугой авторов рассматриваемого издания учебника мне кажется то, что они не просто дополнили материал соответствующих разделов новыми данными, но и включили рассмотрение именно последнего вопроса в главу о разложении первобытного общества. Здесь в предельно сжатой форме показаны основные затруднения, возникающие при исследовании экономических предпосылок разложения первобытного общества; главное же, соответствующие страницы (с. 150—151) убедительно демонстрируют студенту неизбежность основных принципов марксистского подхода к истории первобытности.

Совершенно справедливо подчеркивается в новом издании, что производящее хозяйство возникало, как правило, как комплексное земледельческо-скотоводческое при уже развившемся развитии земледелия (с. 122). Важность такого акцента вытекает из того, что, если для специалистов — этнографов и историков первобытности — такое представление о складывании производящего хозяйства есть как бы нечто само собой разумеющееся, то, так сказать, среди широкой публики довольно широко распространены именно на скотоводство как форму хозяйства, непременно предшествующую земледелию. Впервые в учебник введено упоминавшееся выше понятие «престижной экономики», дано описание этого явления и показано изменение его функций во времени, в частности на поздней стадии первобытности, когда такая экономика сделала одними из действительных средств разложения родового строя и родовой демократии (с. 140—141, 189). И в данном случае можно только приветствовать усложнение картины первобытных экономических отношений, предлагаемой студенту на основе новейших исследований. Ведь такое усложнение играет существенную роль и в формировании у студентов материалистического понимания исторического процесса без упрощения: именно через множество частных случаев, региональных, локальных и этнических вариантов пробивают себе дорогу основные закономерности развития человеческого общества, и их всеобщий характер особенно ярко предстает на фоне таких частных случаев и вариантов. То есть студент не только эксплицитно, но и имплицитно подводится к важнейшей мысли: исторические закономерности действуют не автоматически, а носят статистический характер. И это помогает формированию правильного понимания многообразия человеческих культур.

Не менее значимые дополнения можно увидеть и в разделах учебника, рассматривающих вопросы социальной организации, в частности ее постаранно-политического аспекта. Здесь следует в первую очередь указать на включение в круг представлений о первобытном человеческом коллективе такого важного понятия, как монополия, разработанного в 70-х годах одним из авторов книги. В главу 3 включен лишь небольшой абзац на эту тему (с. 106); но он помимо четкой формулировки содержания

политический удачен еще и в том отношении, что ясно показывается одно из главных условий развитого родового общества — отсутствие публичной власти при сохранении как левитивом достаточно эффективных средств контроля за поведением входящих в индивидов.

В новом издании учебника значительно большее место, чем в предшествовавшем, уделено важнейшим вопросам, связанным с различными сторонами процесса перехода от родового общества к обществу классовому. Расширено описание начальных форм эксплуатации и дана их общая классификация (с. 192—193). Много внимания обращено на пути формирования политической власти и на формы возникавшей государственной организации. Здесь мне представляется очень важным и полезным расширение автором сферы употребления такого понятия, как военная иерархия; она представляется читателю в качестве одной из главных ступеней на пути превращения потестарной структуры в политическую (в предшествовавшем издании такая форма правления именовалась «военной олигархией» и имела характер явления частного, свойственного и Полинезии). Вместе с тем существенно и то, что в рецензируемом издании категория военной иерархии трактуется как обязательный этап в переходе от военной демократии к классовой организации общества (с. 188, 194). При этом справедливо подчеркивается, что и военная иерархия — лишь один из возможных вариантов институционализации власти в трансформирующемся первобытном обществе. Хотя, строго говоря, с этим можно было бы, видимо, разграничить военно-иерархические структуры, так сказать, первичные и вторичные, т. е. такие, которые возникали во многих случаях и тогда, когда первичная власть в обществе складывалась путем сакрализации вождя (скажем, у йоруба).

Наконец, всестороннее одобрение заслуживает и то, как в учебнике освещены новейшие черты раннеполитической организации, в частности, соотношение родоплеменного и территориального принципов деления членов общества (с. 195—196), а также роль сложения государства как критерия уровня общественного развития. После показано путем соотнесения форм организации власти и форм общинной организации основанных на разных формах собственности: именно появление государственности отделяет протокрестьянскую общину от собственно крестьянской (с. 196). Этот новый учебник момент логически вытекает из всего развития науки в последние годы.

Логическим следствием расширения наших представлений о важнейших сторонах жизни первобытного общества на разных этапах его истории следует считать, видимо, и отчетливо видное в новом издании учебника стремление к большей строгости терминологии. Примером может служить последовательно проведенная замена термина «первобытное стадо» на термин «праобщина». Термины эти синонимичны; авторы основывают употребление второго из них тем, что он «короче и удобнее» (с. 60). И вместе с тем слово «праобщина» очень удачно вписывается в ряд терминов, обозначающих общинные формы организации людей, и от этого делается более очевидным некий общинный «ствол», если можно так выразиться, социальной эволюции. Аналогичная унификация терминов видна и в замене названия § 3 третьей главы с «Развитая родовая община земледельцев-скотоводов» на «Позднеродовая община земледельцев-скотоводов»: от этого яснее видно общее движение эволюции.

Резко расширена историографическая перспектива, открываемая перед читателем. Это выразилось не только в само собою разумеющемся учете новейших советских исследований. Впервые в нашей учебной литературе по этнографии и истории первобытности охарактеризованы новейшие направления неолитизма 60-х—70-х годов, включая и англо-американскую «новую археологию» (с. 27—28). Объяснять пользу такого дополнения не приходится.

Наконец, несомненным достоинством следует считать и расширение «представительства» различных регионов и этнических общностей, привлекаемых для иллюстрации по аналогии тех или иных авторских тезисов. Это касается как мезолитических охотников, где к «классическим» примерам бушменов и огнеземельцев добавлено упоминание таких народов, как ведда, семанги, аэа и др. (с. 92), так и в особенности специализированных охотников Субарктики на с. 139—140. Здесь фактический материал обогащен упоминанием ряда народов нашей страны и кратким этнографическим описанием хозяйства одного из этих народов — юкагиров, каким оно было описано русскими исследователями и путешественниками. Такое пополнение текста даже в случае простого перечисления не просто обогащает фактическую базу авторской аргументации, но и усиливает впечатление всеобщности описываемых тенденций общественного развития.

Конечно, не все в новом издании учебника решено успешно. Можно, скажем, отметить, что есть определенные основания к тому, чтобы к пяти первичным очагам земледелия, упомянутым на с. 122, добавить шестой — западноафриканский, изученный Дж. Мердоком и особенно Р. Портэром. Не всегда удается до конца унифицировать терминологию: так, на с. 176 и 177 по контексту трудно понять различие между родом и родоподобными структурами; не убежден я и в том, что замена прилагательного «раннеклассовый» при характеристике скифского государства на «рабовладельческий» (с. 169) улучшила текст.

Но совершенно очевидно, что такие шероховатости ни в коей мере не определяют лицо нового издания учебника. Это частные пожелания, которые авторы, если найдут нужным, учтут при дальнейшей работе над учебником первобытной истории. При этом по всей вероятности, это будет совершенно новый учебник. Дело в том, что непрерывное обогащение материала ставит задачу более органичного синтеза данных археологии и этнографии. При этом возможны в принципе два пути: либо включать этнографические факты в археологический контекст, либо, наоборот, вводить итоги археологических работ в этнографический в своей основе текст. Так как теоретическая база истории и

иного общества складывалась главным образом на этнографических материалах, второй путь представляется сейчас более перспективным. Это, однако, ни в коей мере не означает умаления достоинств третьего издания существующего учебника.

Повторяю, что книга эта заслуживает весьма высокой оценки. В ограниченном объеме третьего ее издания авторы сумели изложить огромный и безупречный фактический материал. При переиздании книга была пополнена сведениями, отражающими успехи трех научных дисциплин — антропологии, археологии и этнографии — за последнее десятилетие. Большую ценность представляет не просто строгий учет достижений науки, но и то, что в глазах читателя еще раз подтверждается именно комплексный характер, междисциплинарность содержания книги. Выпуск третьего издания учебника «История первобытного общества» — явление отрадное как с позиций развития исторического образования в стране, так и с точки зрения определенного обобщения итогов активной работы десятков советских и зарубежных исследователей.

Л. Е. Куббель

Собрания Музея антропологии и этнографии АН СССР (К 100-летию образования первого академического этнографического центра). Отв. ред. Решетов А. М. — Сб. МАЭ, т. 35. Л., 1980.

Рецензируемый, очередной выпуск «Сборника Музея антропологии и этнографии АН СССР» приурочен к знаменательной дате в истории отечественной этнографии. В ноябре 1979 г. исполнилось 100 лет со времени принятия решения об организации в системе Санкт-Петербургской академии наук на базе ранее существовавших этнографического и анатомического музеев, возникших в результате расформирования первого русского общедоступного музея — Петровской кунсткамеры¹, единого этнографо-антропологического учреждения — Музея антропологии и этнографии (с 1903 г. — им. Петра Великого). С 1933 г. МАЭ стал частью созданного Института этнографии АН СССР.

За 100 лет, прошедших со времени основания МАЭ, его коллекции неизмеримо выросли. Ныне они насчитывают несколько сот тысяч этнографических, антропологических, археологических экспонатов со всего земного шара; многие из них уникальны.

Наиболее крупными коллекционными фондами МАЭ в настоящее время обладают Азиатский (прежде всего Китайский), Среднеазиатский, Сибирский, Американский, Океанийский отделы. Надо сказать, что многие коллекции этих фондов поступили в Музей еще в конце XVIII — первой половине XIX в., т. е. в период функционирования Кунсткамеры и Этнографического музея. Другие фонды (Африканский, Австралийский, Восточнославянский) начали формироваться только в конце XIX в.

Сотрудники МАЭ проводили и проводят интенсивную работу по научному описанию коллекций. Свидетельством этому служит выход в свет нескольких десятков сборников МАЭ, посвященных главным образом музейным собраниям, публикация на основе фондов МАЭ многочисленных монографий и сборников.

Постоянно расширяются и углубляются связи МАЭ как центрального этнографического музея Академии наук с различными музеями и научными учреждениями как внутри страны, так и за ее пределами.

Юбилейный сборник открывается небольшой по объему вступительной статьей А. М. Решетова и Т. В. Станюкович «К 100-летию создания этнографического и антропологического центра Академии наук». Поскольку история МАЭ уже достаточно подробно описана в литературе, в статье охарактеризованы только наиболее важные ее этапы.

Остальные статьи (их 30), за исключением последней, сгруппированы таким образом, что вслед за обзорной статьей по истории того или иного подразделения музея следует одна или несколько статей, посвященных наиболее интересным коллекциям или группе коллекций этого музейного отдела, хотя, к сожалению, такой принцип не всегда выдерживается, например, при описании среднеазиатского (фонда) МАЭ и антропологического отдела (фонда).

Т. В. Станюкович в статье «К истории комплектования Восточнославянского фонда МАЭ» прослеживает основные этапы формирования музейных собраний по русским, украинцам, белорусам. В статье А. А. Лебедевой «Коллекции МАЭ по украинцам Закарпатья» описывается собрание, привезенное М. Д. Торэн и Л. А. Динцесом в 1946 г. из Хустского и Раховского районов.

Кавказским коллекциям посвящены три статьи: Л. И. Лаврова «Кавказский отдел МАЭ и Кавказский сектор Института этнографии АН СССР», Т. Д. Равдоникас «Кавказские коллекции МАЭ» — об этнографических сборах чешского ученого Ф. И. Коллати в 1842—1843 гг. и Л. И. Смирновой о двух коллекциях Е. М. Шиллинга (сборы 1945—1946 гг.), насчитывающих более 60 предметов, отражающих быт аварцев².

¹ Подробно об истории этих музеев см.: Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской академии наук. М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1954; *ее же*. Музей антропологии и этнографии за 250 лет. — Сб. МАЭ, т. 22. М. — Л.: Наука, 1964; *ее же*. Этнографическая наука и музеи (по материалам этнографических музеев Академии наук). Л.: Наука, 1978.

² Перечень всех кавказских экспонатов см. Равдоникас Т. Д., Смирнова Л. И. Каталог коллекций по народам Кавказа. — Сб. МАЭ, т. 34. Л.: Наука, 1979.

В обзорной статье В. П. Курылева, Ф. Д. Люшкевич и М. В. Сазоновой «Этнофические собрания МАЭ по народам Средней Азии и Казахстана» подчеркивается Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии и членов Среднеазиатской этнологической экспедиции 1926—1929 гг. в формировании Среднеазиатского ф. МАЭ. Благодаря их усилиям была собрана основная масса экспонатов, в том числе многие уникальные предметы быта разных народов этого региона. Ныне фонд, в котором насчитывается более 8 тыс. предметов, является одним из крупнейших в музее.

В ряде статей сборника описаны сибирские коллекции МАЭ. В статье Ч. М. Тсами и Л. В. Хомич «Из истории изучения этнографии народов Сибири» подчеркивается важное значение в развитии сибиреведения деятельности таких крупных ученых, как Л. Я. Штернберг и В. Г. Богораз, научные традиции которых до сих пор сохраняются советской этнографией. Л. В. Хомич в статье «Коллекции МАЭ по этнографии народов Сибири» подробно описывает недавно поступившую в музей коллекцию А. Х. Сэротэтто уникальную коллекцию шаманских атрибутов. В статье Г. Н. Грачев кратко характеризуются таймырские (долганские и нганасанские) коллекции музея, в статье Е. А. Алексеенко — кетские собрания. Надо сказать, что авторы двух последних статей — активные собиратели и именно благодаря их деятельности музей ныне обладает рядом уникальных предметов по указанным народам. В статье В. П. Дьяконова и Н. И. Ключевой впервые подробно описаны этнографические коллекции по алтаю и хакасии (свыше 1500 предметов), собранные специально для МАЭ сотрудниками государственной конторы по новым видам экспорта (Новоэкспорт) в 1930-е годы. Л. Павлинская посвятила статью бытующим у кудинских и верхоленских бурят изделиям оформленным художественным металлом. Эти вещи в начале нашего века привез в Б. Э. Петри. В статье Ч. М. Таксами описаны имеющиеся в собрании МАЭ изделия из рыбьей кожи у народов Приамурья и Сахалина. Рыболовство издавна являлось новой хозяйственной деятельностью населения этих районов. Здесь, как справедливо считает автор, выработались своеобразные традиции и приемы по обработке рыбы и изделий из нее. МАЭ обладает значительной коллекцией подобных предметов.

Ряд материалов сборника посвящен азиатским фондам МАЭ. Предваряет разд обзорная статья А. М. Решетова «История формирования коллекций и изучения народов Зарубежной Азии в МАЭ». Из нее узнаем, что благодаря деятельности академика В. В. Радлова на посту директора МАЭ (1894—1918 гг.) и собирательской деятельности многих видных ученых, частных лиц и государственных учреждений коллекционный фонд заметно пополнился. Сборы этнографических коллекций продолжались и в советское время. Ныне коллекция отдела Зарубежной Азии наиболее крупная в МАЭ представляет интересное собрание предметов быта народов Восточной, Юго-Восточной Южной и Передней Азии. В статье Л. Л. Викторовой дается общее описание монгольских коллекций музея, в которых имеется ряд уникальных экспонатов. Статья Р. Ксенофонтовой и А. М. Решетова посвящена китайским коллекциям. Петербургские кунсткамеры в собраниях МАЭ. Авторы, привлекая ряд рукописных и печатных материалов, сумели среди обширных (насчитывающих несколько десятков тысяч экспонатов) китайских коллекций выявить более 200 экспонатов, находившихся в кунсткамере в первой половине XVIII в. Подобная работа проведена впервые. В статье Н. Г. Красдембской «Рисунки сингалского культа „бали“» описаны рисунки с изображением фигур мифологических персонажей, употреблявшихся в сингалских астрологических рядах. Рисунки привезены А. М. и Л. А. Мервартами из экспедиции 1914—1918 гг. в Индию и на о. Цейлон³. В работе Р. А. Ксенофонтовой «Японский фарфор XVII—XVIII вв. в собрании МАЭ» на основе тщательного анализа коллекций японских керамических изделий⁴ выявлено 11 экспонатов из коллекций П. Л. Шиллинга, В. А. Жковской и Государственного музея искусств народов Востока, принадлежащих мастерице Арита-Хидзэн (на о. Кюсю) и относящихся к XVII—XVIII вв.

Две статьи Н. А. Бутинова посвящены коллекции Австралии и Океании. В первой дается история создания отдела в связи с общей историей МАЭ. Автор выделяет в истории музея пять периодов и прослеживает, как пополнялись австралийско-океанские фонды в каждый период. При этом подчеркивается важная роль русских мореплавателей начала XIX в., а также роль Н. Н. Миклухо-Маклая в формировании этого фонда. Во второй статье Н. А. Бутинова подробно описаны коллекции бытовых предметов полинезийцев архипелага Туvalu, собранные советскими этнографами во время экспедиции 1971 г. в Океанию на атолл Фунафути, являющемся частью вышеупомянутого архипелага. Эта коллекция первая в МАЭ из указанной части Океании.

Четыре статьи посвящены описанию американских коллекций музея. В статье Р. В. Кинжалова дана краткая история американского отдела МАЭ. На протяжении всего XIX в. в музей поступали многочисленные коллекции от участников кругосветных путешествий и от служащих в Новом Свете членов Российско-Американской компании, в результате чего музей стал обладателем уникальных коллекций по быту коренного населения Северной Америки. В начале XX в. в музей поступили коллекции по коренному населению Южной Америки, собранные чешским путешественником

³ Подробно о цейлонской коллекции Мервартов см. *Краснодембская Н. Г. Цейлонская коллекция МАЭ (экспедиция Академии наук 1914—1918 гг.)* — Сб. МАЭ, т. 29. Л. Наука, 1973.

⁴ Описание этого собрания см. *Ксенофонтова Р. А. Японское традиционное гончарство XIX — первой половины XX в. (Историко-этнографическое исследование)*. М. Наука, 1980.

Фричем⁵ и участниками русской экспедиции 1914—1915 гг. в Бразилию Г. Г. Мани и Ф. А. Фиельструмом. Р. Г. Ляпунова в статье рассказывает о коллекции из эскимосских предметов с о. Кадьяк, привезенных участниками Северо-Восточной графической экспедиции И. И. Биллингса и Г. А. Сарычева (1785—1794 гг.). Г. И. Енискевич описала небольшую, но ценную в этнографическом отношении тлинкитскую шекцию, состоящую из четырех роговых ложек и комплекта одежды из ровдуги, сохранившую капитаном Российско-Американской компании А. Ф. Кашеваровым в 30-е годы в. Работа Ю. Е. Березкина «Сосуд из перуанской коллекции МАЭ» посвящена необычному сосуду с изображением головы мифологического персонажа. Вещь относится к доинкской культуре чиму XV в. н. э. В музей экспонат поступил в 1966 г. В составе собрания кубинского археолога Э. Табио, переданного в дар от Национальной Академии наук Кубы. Детальный анализ привел автора к выводу, что изображено на сосуде божество близко к Урнай Уахам.

Истории отдела Африки посвящена статья Г. Н. Гоцко, которая подчеркнула роль В. Юнкера, Э. Голуба, Н. С. Леонтьева и других известных путешественников и ученых, в формировании африканского фонда МАЭ. Значительное место в работе занятии истории отдела в советское время. З. Л. Пугач рассказала в статье о хранящихся МАЭ африканских изделиях из меди — в основном украшениях и предметах ритуально-магического характера. Автор подробно описал технологию медного производства в Африке.

Антропологический фонд МАЭ описан в более ранних публикациях⁶. В данном сборнике помещена лишь статья И. И. Гохмана о значении краниологических коллекций МАЭ для изучения расо- и этногенеза народов СССР. Автор привлек материалы из архивов на территории нашей страны.

В двух статьях описывается часть хранящихся в МАЭ археологических материалов. В статье С. А. Арутюнова, Д. А. Сергеева и Э. Е. Фрадкина приводятся данные некоторых памятниках древнескандинавского искусства, найденных на Чукотке в результате раскопок Уэленского и Эквенского могильников⁸. В статье анализируется художественная традиция носителей древнеберингоморской культуры (орнамент, скульптура, полийконические композиции). В коллекциях МАЭ представлен и такой археологический материал, как кремневые изображения эпохи неолита и энеолита, найденные на территории европейской части СССР. Им посвящена статья Т. А. Поповой, в которой описаны три кремневых фигурки из сборов В. В. Федорова (1931—1932 гг.) в Калининской области. Автор приходит к выводу о культовом характере этих изображений.

Заключает сборник статья Т. К. Шафрановской «Первый хранитель МАЭ Ф. К. Руссов». Будучи на протяжении 40 лет (1865—1906) единственным хранителем музея, Ф. К. Руссов внес огромный вклад в организацию и упорядочение его коллекций. Особое место в статье занимает очерк истории этнографических коллекций Академии наук, созданный Ф. К. Руссовым и опубликованный в первом выпуске «Сборника МАЭ» в 1906 г.

Как мы видим, в статьях рецензируемого сборника, хотя и в довольно сжатой форме, раскрывается история практически всех отделов МАЭ. Такой материал появляется в печати впервые, что увеличивает ценность публикации. Часть статей посвящена характеристике наиболее интенсивных и уникальных коллекций МАЭ.

Конечно, рецензируемая работа, в которой объединены статьи разные по содержанию, не свободна от некоторых недостатков. Как уже говорилось выше, структура сборника не всегда выдержана. Так, в книге отсутствует обзорная статья о какой-либо центральной азиатской коллекции (хотя такие в МАЭ имеются, например, из сборов среднеазиатской этнологической экспедиции). Следовало бы дать в конце сборника списки имен и этнонимов.

Несомненно, что выход в свет очередного, юбилейного «Сборника МАЭ» — важный вклад в советскую этнографическую науку, в разработку основных проблем истории русской и советской этнографии.

В. Н. Кисляков

⁵ См. Зиберт Э. В. Коллекции чешского исследователя А. В. Фрича в собраниях МАЭ. — Сб. МАЭ, т. 20. М.—Л.: Наука, 1961.

⁶ См. Гинзбург В. В. Краниологическое собрание Музея антропологии и этнографии. — Сб. МАЭ, т. 12. М.—Л.: Наука, 1949; *его же*. Анатомическая коллекция Ф. Рюй-ля в собраниях Петровской хусткамеры. — Сб. МАЭ, т. 14. М.—Л.: Наука, 1953; Фришман Б. В. Краниологические коллекции Музея антропологии и этнографии (по состоянию 1947—1962 гг.). Сб. МАЭ, т. 22. М.—Л.: Наука, 1964.

⁷ Общее описание археологических фондов МАЭ было опубликовано ранее. См. Ляпунова Л. Г., Попова Т. А., Федоров В. В., Фрадкин Э. Е. Археологическое собрание Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Академии наук СССР. — Сб. МАЭ, т. 22. М.—Л.: Наука, 1964.

⁸ Подробно об этих раскопках см.: Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. Древние культуры эскимосов (Уэленский могильник). М.: Наука, 1969; *их же*. Проблемы этнографической истории Берингоморья. Эквенский могильник. М.: Наука, 1975.

Б. А. Калоев. Земледелие народов Северного Кавказа. М.: Наука, 1981. 248 илл., карты.

Метод картографирования явлений и элементов бытовой культуры в последние годы находит в советской этнографической науке все большее применение¹. И это вполне понятно. Фиксация народной культуры на карте открывает новые возможности для изучения: помогает установить ареал культурных явлений, выявить в культуре общие локальные, проследить динамику изучаемых явлений, (картографирование по историческим периодам) и т. п. Таким образом, важность использования в этнографических работах метода картографирования вполне очевидна. Однако несмотря на расширение работ в этом плане, все-таки нельзя сказать, что этнографическое картографирование, осуществляемое по отдельным историко-культурным регионам, достигло достаточного размаха. В полной мере сказанное относится и к Кавказу. Поэтому выпущенный в свет рецензируемой монографии Б. А. Калоева, в которой широко используется метод картографирования, представляется важным событием не только в этнографическом кавказоведении. Опубликованная книга — это как бы подход к региональному (северокавказскому) атласу. А это очень существенно, так как именно материалы региональных атласов послужат в дальнейшем базой для общекавказского историко-этнографического атласа.

Монография Б. А. Калоева — первое обобщающее исследование по истории земледелия народов Северного Кавказа, в котором автор подробно характеризует весь комплекс хозяйственных явлений и связанных с ними идеологических представлений. Само этнографическое описание Б. А. Калоев начинает от древнейших эпох — зарождения земледелия на Северном Кавказе — и доводит до современности. В работе говорится о стадиях земледелия, орудиях труда, используемых в сельскохозяйственных работах, о сельскохозяйственных культурах, о народных верованиях и обрядах, связанных с земледелием. Каждой из названных проблем посвящена отдельная глава. В книге имеются также предисловие, заключение и приложение в виде 13 таблиц-карт (на них мы останавливаемся далее).

Уже простой перечень вопросов, рассматриваемых в монографии, говорит о масштабе предпринятого исследования. Столь же обширна источниковедческая база монографии. Основанный на тщательном изучении и обобщении массы разнообразных исторических источников труд Б. А. Калоева вводит в научный оборот многие, ранее не использованные документы из архивов Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Орджоникидзе, других городов, этнографические полевые материалы, собранные автором в 1964—1973 гг. во всех историко-культурных областях Северного Кавказа, материалы северокавказских краеведческих музеев и Государственного музея этнографии народов СССР в Ленинграде; исчерпывающе использована автором также обширная кавказская научная литература, в том числе периодическая печать. Многочисленные иллюстрации, выполненные на хорошем уровне, составляют в книге не просто иллюстративный фонд, а органическую часть монографии.

Возвращаясь к теме исследования, хочется прежде всего напомнить важную мысль, высказанную еще акад. Н. И. Вавиловым: «Кавказ является одним из древних мировых очагов земледелия, ставших родиной важнейших культурных растений». Б. А. Калоев, опираясь на данные археологии, считает возможным отнести возникновение земледелия на Северном Кавказе к эпохе неолита. Не останавливаясь подробно на историческом очерке (с. 6—53), отметим только, что в нем с достаточной для такого рода работы полнотой характеризуются основные этапы развития земледелия от древних эпох до наших дней. Автор приводит некоторые материалы об изучении кавказского земледелия в XIX — начале XX в., в частности о деятельности в 1850—1890-х годах «Кавказского общества сельского хозяйства» (с. 41—44). Такого рода экспедиции нужны не только в плане исследования основной проблемы — северокавказского земледелия. Не менее интересны они как характеристика одного из этапов истории академического кавказоведения.

Значимы приводимые в этом разделе данные по современному состоянию некоторых традиционных форм земледелия у народов Северного Кавказа (с. 45—47). Это важный процесс переселения северокавказских горцев на равнину, усилившийся во второй половине XIX в. и очень активный в 1920—1930-е годы, способствовал запустению многих горных районов и упадку горного земледелия. Для поднятия этой важной задачи хозяйства, подчеркивает автор, нужно многое. «Возрождение и развитие горного земледелия на Северном Кавказе, — пишет он, — является важной хозяйственной задачей, требующей для своего осуществления ряда серьезных мероприятий» (с. 47). В настоящее время внимание государственных органов, а также специалистов сельского хозяйства обращено к этим пустующим землям как к дополнительному источнику резерву годных ко «вторичному» освоению площадей, причем не только на Северном Кавказе, но и в горных районах соседней Грузии.

Вторая глава работы посвящена традиционным системам земледелия, складывавшимся веками под влиянием природно-географического, культурно-исторического, этнического и других факторов. Системы земледелия автор рассматривает в соответствии

¹ См., например: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л.: Наука, 1971; 1974; 1975; 1977; 1978; Гаврилюк Н. К. Картографирование явлений духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев). Киев: Наукова думка, 1981.

вертикальной зональности, которая, как известно, сыграла большую роль в формировании местного земледелия. При этом Б. А. Калоев следует принятому в кавказоведении разделению на три зоны: высокогорную, горную и равнинную. В намеченных зонах характеризуются переложно-залежная, подсечная, паровая и другие системы земледелия, а также традиционные способы орошения, внесения удобрений и т. д.

В третьей главе рассматриваются важнейшие для Северного Кавказа сельскохозяйственные культуры, в первую очередь ячмень, пшеница, рожь, просо. И здесь, как и в предшествующей главе, материал излагается соответственно принципу вертикальной зональности. Вслед за Н. И. Вавиловым автор подчеркивает доминирующую роль горного земледелия в процессе аккультурации многих видов злаков, причем делает вывод (он представляется справедливым), что горное земледелие в силу определенных исторических условий по сравнению с равнинным до 70—80-х годов XIX в. имело более высокий уровень развития. В главе приводятся также сведения по истории возделывания народами Северного Кавказа огородных культур и картофеля, по развитию у них садоводства.

В четвертой главе монографии достаточно подробно, с привлечением археологических и этнографических материалов характеризуются орудия обработки почвы. Важный принцип вертикальной зональности выдерживается и в данной главе. Однако автор связывает особенность орудий обработки почвы не только с вертикальной зональностью, но и с определенными культурно-этническими традициями, что представляется весьма верным. Напомним, что некоторые исследователи в ходе прошедшей дискуссии 1960—1970-х годов по вопросам агроэтнографии отрицали значение этнического фактора в объяснении различных типов орудий труда или по крайней мере неоправданно преуменьшали его роль². Б. А. Калоев выделяет различные виды мотыг-землекопалок, пахотных орудий, волокуш, борон, мотыг-тяпок и др. Наиболее детально рассмотрены пахотные орудия, изображения которых представлены в особой таблице.

В этой главе дан небольшой глоссарий, сделанный автором в виде таблиц, который содержит названия зерновых и огородно-бахчевых культур, распространенных у народов Северного Кавказа. Исходя из этнографических данных, Б. А. Калоев считает, что наиболее распространенным типом пахотного орудия в горной зоне Северного Кавказа было безотвальное орудие типа рала, а на равнине — тяжелый плуг. В главе приводятся некоторые материалы по коллективной обработке земли — супяге — обычаю, широко принятому у народов Северного Кавказа и сохранявшемуся в крае вплоть до коллективизации.

В отдельной главе монографии исследуются орудия и способы уборки зерновых, молотбы, веяния зерна; в ней же рассказывается о помещениях для хранения зерна и способах его дальнейшей обработки. И здесь автор строго придерживается принятого им ранее рассмотрения материала в соответствии с принципом вертикальной зональности. Наиболее древним приемом обработки злаков было вытапывание зерен из снопов копытами животных. Как правило, для этого использовали крупный рогатый скот, реже ошей. Молотбы, подчеркивает автор, была у народов Северного Кавказа единственным сельскохозяйственным процессом, в котором наряду с крупным рогатым скотом пользовались и лошадьми. Участие же последних в других сельскохозяйственных работах (в пахоте, бороновании и др.) по обычаю считалось недопустимым вплоть до конца XIX в. Возможно, что в основе подобной специфики лежат древние сакрально-магические запреты на использование человеком в хозяйственной деятельности того или иного животного, как это можно было видеть у тех же народов Северного Кавказа в традиционной уборке злаков, производимой только с помощью серпов.

Завершают главу материалы о разнообразных зернохранилищах. Древнейшим и универсальным зернохранилищем у большинства народов изучаемого региона была зерновая яма. Автор описывает и другие типы зернохранилищ, в частности долбленные деревянные колоды, бывавшие лишь в горной Чечне.

Заключительная глава монографии содержит материалы по верованиям и обрядам, связанным с сельскохозяйственной деятельностью народов Северного Кавказа. Это почитание различных божеств аграрного культа, магические способы вызывания дождя, обряды, сопровождавшие полевые работы, и т. п. В наиболее архаической форме, как отмечает автор, эти обычаи и обряды длительное время сохранялись среди жителей горной зоны. Б. А. Калоев, в частности, приводит материалы, связанные с божествами — кровотелами земледелия. Все они у различных северокавказских народов известные под разными именами, выполняли единую функцию: обеспечение урожая и сохранение его от стихийных бедствий. В главе исследуются также обряды, связанные с вызыванием дождя, обычаи жертвоприношения, приуроченные к началу полевых работ, ритуальные песни и танцы и т. д. Из цикла календарных обычаев и обрядов интересны проведение первой борозды, выезд и возвращение с пахоты и др. Большинство из рассматриваемых автором обычаев и обрядов характерно для всех народов Северного Кавказа (например, проведение первой борозды). Имелись и локальные варианты (как «хлебный день» у осетин). Более того, все эти обычаи, обряды, народные верования не замыкались в историко-культурных границах Северного Кавказа, а выходили далеко за его пределы.

² См. материалы этой дискуссии: Громов Г. Г., Новиков Ю. Ф. Некоторые вопросы агроэтнографических исследований. — Сов. этнография (далее СЭ), 1967, № 1; Сабуров Л. М. По вопросу статьи Г. Г. Громова и Ю. Ф. Новикова... — СЭ, 1967, № 6; Суриков В. М. К определению этнических традиций в земледелии. — СЭ, 1971, № 5; Бежко Л. А. С. Еще раз об агроэтнографических исследованиях. — СЭ, 1971, № 5 и т. д. Рецензионная статья, подводящая итоги дискуссии, — СЭ, 1976, № 3.

В «Заключении» подытоживаются результаты исследования. Автор фиксирует также внимание на некоторых важных кавказоведческих вопросах. Например, на культурных взаимовлияниях горцев и русских Северного Кавказа, которые никогда не были односторонними. Благодаря давним историческим связям горцы от русских узнали о разведении и выращивании ряда сельскохозяйственных культур, а в развитии земледелия у северокавказских народов равнинной зоны большую роль сыграли различные типы орудий, завезенные русскими переселенцами (например, тяжелый передковый плуг, рамочные бороны, мотыги, косы и др.). В свою очередь русские переселенцы восприняли от своих северокавказских соседей немало культурно-хозяйственных навыков в новом для них крае со своими специфическими природными особенностями: способы возделывания ряда культур, местные типы сельскохозяйственных орудий — легкий горский плуг, волокуша и др.

Другой важный вопрос, поднимаемый автором в «Заключении» и затронутый ранее, — роль этнокультурных традиций в развитии земледелия (особенно в становлении различных типов пахотных орудий). Б. А. Калоев занимает в данном вопросе вполне определенную позицию, всем материалом книги доказывая связь земледелия народов Северного Кавказа с давними и самобытными этническими традициями в этой области.

Заключая исследование, автор вновь подчеркивает мысль о необходимости развития на Северном Кавказе традиционных форм земледелия, о возрождении горных районов края.

Важную часть рецензируемой монографии составляют карты-таблицы. Материал, представленный в них, хронологически относится к двум периодам: к середине XIX и концу XIX в. — 1920-м годам. Принцип этот выдерживается не всегда, что, видимо, обусловлено состоянием необходимых для составления карт данных. Так, часть материалов (табл. 4, 6) совмещена на одной карте второй половины XIX в. — 1920-х годов. Вне временных данных картографируются религиозные верования и обряды.

Карты-таблицы несут очень большую нагрузку. В основу их положено дореволюционное административное деление Северного Кавказа; учтено также расселение местных народов. Знаками разной формы и размера обозначены картографируемые элементы культуры. Таким образом, автор старается дать представление о преобладании, бытовании и единичности на Северном Кавказе в определенный хронологический период того или иного элемента культуры. Иногда на карте совмещены элементы земледельческой культуры, которые, видимо, лучше было бы представить на разных картах. Таковы карты I и Ia, где даны системы земледелия и способы удобрения. Сравнительно небольшой размер карт (этот упрек скорее адресован издательству «Наука») и насыщенность материалом мешают их свободному чтению.

Некоторые недочеты рецензируемой книги в известной мере объясняются состоянием к настоящему времени исторических источников, которые не всегда дают возможность с достаточной достоверностью осветить все вопросы истории северокавказского земледелия. Автор справедливо отмечает, что время появления водяных мельниц на Северном Кавказе пока не установлено (с. 163). Однако, исходя из фольклорных данных, он считает возможным отнести появление этого вида мельниц к глубокой древности (с. 169), а на с. 16 без ссылок на источники датировать поздним средневековьем.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что научное значение рецензируемой монографии в том, что в ней в наиболее полной и систематизированной форме впервые собраны и исследованы материалы по истории становления и развития земледелия у народов Северного Кавказа. Книга имеет и практическое значение. Не случайно она принята Горским сельскохозяйственным институтом г. Орджоникидзе в качестве учебного пособия для студентов.

Л. Б. Заседательова

Кузнецов В. А. Нартский эпос и некоторые вопросы истории осетинского народа
Орджоникидзе: Ир, 1980. 136 с.

В ряду эпических произведений фольклора, пользующихся мировой известностью, почетное место занимает нартский героический эпос.

Отличительная особенность нартского эпоса — его интернациональность: он известен и народам Северного Кавказа, и абхазам. Тем не менее, рассматривая вопрос истоках эпоса, многие исследователи склоняются к мнению, что первоначальное ядро сказаний о богатырях-нартах зародилось в среде ираноязычных предков осетин — скифов и сарматов. В разное время это было блестяще показано в работах таких известных нартоведов, как Вс. Ф. Миллер, В. И. Абаев, Ж. Дюмезиль и многих других.

В предлагаемой вниманию читателей новой работе В. А. Кузнецова проблема «историзма» нартского эпоса получила дальнейшее аргументированное развитие. Опираясь на хорошо знакомые ему археологические материалы, автор убедительно показал, что нартский эпос в основе своей, несомненно, историчен. Он отражает определенные ступени в жизни народов края, в том числе и сложные взаимоотношения иранских племен и древних аборигенов Северного Кавказа, которые, видимо, внесли определенный вклад в формирование эпоса. Так, в главе I — «К истории проблемы» В. А. Кузнецов пишет: «Признавая наличие в нартском эпосе общетюркских и некоторых возможных монгольских элементов и заимствований, мы вместе с тем считаем его в основе своей самобытным творением осетинского народа и его этнических предков, развивавшимся в течение длительного времени на почве местной кавказской мифологии и в жи-

юм общения с соседними культурами и отразившим главным образом общественную жизнь и быт эпохи „военной демократии“» (с. 25).

Для обоснования этого тезиса В. А. Кузнецов широко использует разнообразные письменные источники, исторические параллели и археологические материалы, в которых представлены предметы символики, перекликающиеся с образами и сюжетами нартских сказаний: различные полиморфные существа (крылатые кони, кони с рыбьими хвостами и крыльями в виде рыб), поясные пряжки со сценами посвящения коня путешествия в «страну мертвых» и др. (гл. II — «У древних истоков»). Сопоставление сюжетов с мотивами и представлениями, известными в мифологии сопредельных стран древнего мира и Закавказья, позволило автору довольно убедительно доказать, что корни их лежат в глубокой древности (во II—I тысячелетии до н. э.) и «должны быть связаны с наследием аборигенного древнекавказского населения, находившегося в живом общении с окружающими народами и внесшего свой творческий вклад в ту фольклорную почву, на основе которой сложился нартский эпос осетин» (с. 44).

В главе III — «Нартские амазонки и сарматский „матриархат“» В. А. Кузнецов весьма аргументированно прослеживает связь нартских сказаний о девах-воительницах с известным преданием Геродота об амазонках. Тщательно сличив тот и другой тексты с археологическими материалами и письменными известиями об амазонках на Кавказе, В. А. Кузнецов приходит к заключению «об исторической реальности амазонок», рассказы о которых в художественно-поэтической форме донесли до нас воспоминание о связи определенных пластов эпоса «с сармато-савроматским кругом древнеиранских племен» (с. 51—56). Автор идентифицирует древнюю реку Мермод(ас), на которой Страбон локализует легендарных амазонок, с современной рекой Терек (с. 59—63) — гипотеза, высказанная еще Е. И. Крупновым и поддержанная позднее В. Б. Виноградовым. В пользу этой гипотезы автор привел новые убедительные аргументы.

В критической литературе, посвященной анализу нартского эпоса, часто указывается на мифологическую сущность многих его мотивов и персонажей. В таком духе принято обычно трактовать образ злых и загадочных «каджей», о которых в ряде сказаний говорится, что они обитают в море и ходят пятками вперед.

На демоническом истолковании образа каджей настаивает и В. И. Абаев в своем предисловии к работе В. А. Кузнецова, и это имеет определенный резон. И все же автор обращает внимание читателя на то, что существуют сказания, в которых эти мифические существа выступают в качестве вполне земных и «реальных» людей, живущих по соседству с нартами «у гор высоких» и вступающих с ними в разнообразные бытовые отношения. Например, юноши каджей ходят к нартам для того, чтобы померяться силой, угоняют у них скот, вступают с девушками нартов в брачные отношения и т. д. Реальные человеческие черты каджей в этих сказаниях, многочисленные бытовые подробности, которыми сопровождаются повествования о них, дали В. А. Кузнецову возможность предположить, что под «исходным мифологическим именем каджей скрывалась некая этническая группа, вполне конкретная и враждебная по отношению к героям и создателям эпоса». И далее. «Представляется вероятным, что первоначально мифический образ злых существ каджей, восходящий к местной кавказской среде, в осетинском фольклоре претерпел семантические изменения и стал нарицательным именем врагов нартов — врагов, вполне реальных исторически» (с. 67). Такая картина согласуется с историческими и археологическими данными, а также с тем, что у соседей осетин — ингушей нарты обычно выступают в качестве отрицательных персонажей. Не исключена и сама возможность контаминации исторических реалий с мифическими образами (как и обратное замещение) — примеров тому известно немало.

И все же вопрос о каджах нельзя считать до конца решенным, и глава эта («Борьба с каджами»), как справедливо отметил в своем предисловии В. И. Абаев, одна из наиболее спорных в рецензируемой работе. В противоположность этому, следующая за ней глава «Нарты в верховьях Кубани» по глубине аргументации и четкости решения может быть отнесена к наиболее убедительным в книге. Об этом можно судить хотя бы по тому, что еще совсем недавно точная локализация ареала формирования основных сказаний нартского эпоса и механизм его усвоения разными народами Северного Кавказа казались совершенно неразрешимыми. К такому негативному заключению пришел тот же Абаев в результате изучения географической номенклатуры эпоса. Можно было бы думать, — пишет он, — что встречающиеся в сказаниях названия местностей, равнин, гор, морей, поселений, а также наименования племен и народов позволяют прикрепить нартов к какой-то конкретной исторической почве. Но эти надежды не оправдываются. Географические и этнические упоминания эпоса носят в большинстве смутный и как бы нарочито нереальный характер»¹. Однако В. А. Кузнецов с большой убедительностью показал, что основные события в эпосе вращаются в районе р. Урупа (Уарп — эпоса) и крепости Хыз, расположенной там же неподалеку, в бассейне Верхней Кубани и ее притоков (рек Кяфар и Большой Зеленчук), где и поныне сосредоточено около половины наименований с корнем «хыз». Здесь же находятся и городища позднесалтанского времени VII—XII вв. Таким образом, верховья Кубани были той контактной зоной, где предки осетин соседствовали с адыгскими племенами, из которых высоко почиталась прослойка певцов-сказителей — «гегуако», известных нам по описанию историка конца XVIII в. П. Г. Буткова. Такие же сказители, знавшие несколько языков, имелись и у осетин. Они, по сообщению П. Г. Буткова, «обязаны были знать все отечественные песни прошедших времен» и таким образом сохраняли «исторические воспоминания» там, где отсутствовала письменность. Эти певцы «никогда не

¹ Абаев В. И. Нартовский эпос. — Изв. Северо-Осетинского н.-и. ин-та. Т. X, в. 1. Дзауджикау, 1945, с. 107.

вооружались и во всем Кавказе, даже среди неприятелей своего племени, пользовались совершенною безопасностью»². Именно им, заключает свои изыскания В. А. Кузнецов, нартский эпос обязан широким распространением среди народов Северного Кавказа у которых нартские сказания «бытуют до сих пор в своих оригинальных национальных вариантах» (с. 95).

С кем соседствовали нарты в Прикубанье со стороны степей, выясняется в VI главе — «Тюрки в нартском эпосе». До сих пор этот вопрос решали преимущественно в плане выявления тюркских элементов в эпосе. В. А. Кузнецов перевел его в этническую плоскость. Оставляя в стороне механизм исследования, отметим только, что попытка автора увенчалась успехом. На большом сравнительном материале ему удалось убедительно установить целый ряд древнетюркских и угорских племен и народов, с которыми создатели эпоса контактировали на протяжении второй половины I и начал II тысячелетия н. э. В числе этих племен были авары. (В эпосе «вар», «уар»), древние болгары («агур», «угур»), хазары («хыз», «хаз»), куманы («гумский человек», страна «Гум»).

Завершающая глава книги — «Нартский эпос и памятники средневековой материальной культуры» посвящена интерпретации произведений прикладного искусства, представленных на бытовых позднесредневековых изделиях; постройках (храмы, склепы) и других исторических памятниках и предметах. Исходя из посылки, что «фольклорно-эпическое творчество в древности было одним из основных проявлений духовной жизни и культуры, образно-художественным воплощением господствующей в народных массах идеологии» (с. 115), В. А. Кузнецов стремится увязать с эпосом фрески известной Нузальской церкви (рубеж XI—XII вв.), изображение птицы, держащей в клюве ветвь с тремя круглыми плодами (золоченая седельная пластинка из Змейского каменного могильника XII в.), рельефную композицию на стене дольменобразного склепа из окрестностей городища на р. Кривой (XI—XII вв.) и некоторые другие декоративные сюжеты памятников прошлого. Одни его объяснения остроумны и в значительной степени убедительны, другие, на наш взгляд, менее удачны: например, сравнение композиции с изображением черепахи (на склепе из окрестностей р. Кривой) с «Колесом Балсага» из эпоса; или трактовка борьбы нарта Сослана с «алдаром Гумиром» как отражение классовой борьбы внутри нартского общества, хотя известно, что на Кавказе понятие «Гумир» отождествляется с легендарными киммерийцами (сравни грузинское «гмири» — герой). Но суть не в этих частности. Нет никакого сомнения в том, что в целом работа В. А. Кузнецова представляет собой важный вклад в изучение нартского эпоса, будирует исследовательскую мысль и, как отмечает автор в «Заключении», заставляет нас признать, что в недрах эпоса содержится ценная историческая информация, «которая далеко не исчерпана и подлежит дальнейшей разработке».

В. П. Кобычев

² Бутков П. Нечто к «Слову о полку Игореве». — Вестник Европы, ноябрь 1821 г. СХХI, № 22, с. 112

Обрядовая поэзия Пинежья. Материалы фольклорных экспедиций МГУ в Пинежский район Архангельской области (1970—1972 гг.)/Под ред. Савушкиной Н. И. М.: Изд-во МГУ, 1980, 279 с.

Рецензируемый сборник подготовлен студентами филологического факультета МГУ, участниками фольклорных экспедиций и семинара по методике публикации архивных фольклорных материалов. Тексты и описания обрядов собраны в четырех поездках в Пинегу — в 1970, 1971 и в 1972 (две поездки) гг. Следует сразу сказать, что сборник получается интересным — тексты значительно дополняют опубликованный материал по фольклору русского Севера, а их научная обработка (отбор, вступительные статьи к разделам, примечания) выполнены продуманно и тщательно. Весьма отраднo, что вся эта сложная и большая работа выполнена студентами (49 чел.), в чем немалая заслуга их руководителя и редактора сборника Н. И. Савушкиной.

В отличие от предыдущих публикаций фольклора Пинежья, уделявших большое внимание эпическим произведениям, в рецензируемом сборнике собрана обрядовая поэзия.

Сборник построен по жанрово-тематическому принципу и состоит из предисловия и четырех разделов: «Календарная поэзия», «Свадебный обряд и поэзия», «Похоронный обряд и поэзия» и «Заговоры». Он снабжен необходимым научным аппаратом: вступительные статьи и примечания к разделам, список использованной литературы, словарь местных слов, алфавитный указатель текстов песен и причитаний (разделы I, II, III); предметно-алфавитный указатель текстов заговоров, список исполнителей, словарь местных и устаревших слов, список библиографических сокращений.

Важным дополнением к сборнику является музыкальная часть, подготовленная музыковедом-фольклористом Ю. Е. Красовской.

Раздел «Календарная поэзия» (вступительная статья Л. Нехай, подготовка текстов и примечания Е. Королевой и Л. Нехай) включает 21 песню двух обрядовых циклов — периода подготовки будущего урожая, а также весенне-летних полевых работ и сбора урожая. Песни первого цикла (опубликовано 13 текстов из записанных 60) составляют колядки и «виноградья». Очень жаль, что не даны описания колядования

более чем студентами их записано около 20. Этот материал был бы к месту в сборнике, так как обряд колядования практически уже исчез и записи были сделаны, возможно, из уст последних очевидцев.

Второй цикл раздела состоит из 8 текстов. Это песня «Пятница», исполнявшаяся раздвиг «Девятой пятницы» (после Пасхи) во время ритуального обхода дворов, ожиночные песни. Все тексты представляют особую ценность, так как встречаются, а песню «Пятница» (№ 14) можно считать уникальной — до сих пор текст ее приводился ни в сборниках народных песен, ни в исследованиях по фольклору.

Дополнительные сведения и интересные наблюдения содержатся в примечаниях. В отчасти восполняют отсутствующие описания обрядов святочно-рождественского юда, уточняют особенности бытования некоторых текстов (например, № 3, 6, 10, 12). Русской фольклористике, начиная с середины XIX в., известен различный подход к публикации свадебного обряда и фольклора. Создавая раздел «Свадебный обряд и поэзия», составители сборника стремились представить читателям «свод пинежской свадебной поэзии и соответствующий ему обряд». При этом они рассматривали материальную сторону фольклористов-филологов, т. е. прежде всего как комплекс «поэтических изведений». Созданию «свода» безусловно предшествовала большая работа по выявлению основных устойчивых эпизодов свадебной игры по всей Пинеге, а также по выявлению общего поэтического репертуара свадьбы. «Свод» пинежской свадьбы явился главным образом по воспоминаниям участников и очевидцев о событиях приблизительно 50-летней давности, а также по их пояснениям к песням и причитаниям.

За основу «свода» был взят обряд, рассказ о котором (записан в дер. Кушкопала в 1972 г.) оказался в материалах экспедиции наиболее полным. Мне кажется, что публикация такого «свода» допустима, особенно если подходить к материалу с точки зрения фольклориста-филолога. Кроме того, подобный «свод» будет полезен для студентов при изучении русского фольклора. Для этнографа же такого рода материал интересен, так как при его составлении теряются многие важные подробности обрядовым образом детали обряда, не сопровождающиеся исполнением песен, описания поведения участников, а также факты, позволяющие судить о состоянии северных локальных традиций. Вместе с тем сама возможность создания такого «свода», по-видимому, свидетельствует о процессе унификации и нивелировки обряда, вошедших на Пинегу за последние 40—50 лет. И все же более полное описание свадебной стороны свадьбы значительно обогатило бы представление о местных традициях и эволюции обряда. Что касается фольклорного материала, то «свод» очень интересен. Песни и причеты, включенные в него, отличаются хорошей сохранностью, что, безусловно, повышает ценность описания обряда и отдельных деталей, включенные тексты. Однако хотелось бы видеть более полные и четкие пояснения как к тексту «свода», так и в некоторых примечаниях. Например, из примечания к № 53 неясно, в каких районах не подносили водку, к № 54 — где отсутствовал обряд закрытия врата, когда невесту ведут из бани.

Хотелось бы сказать и о безусловных достоинствах примечаний. Выполнены они тщательно, необходимые справочные сведения, как правило, приводятся с максимально возможной для данного издания полнотой. Примечания содержат ценный исследовательский материал. В них приведены сведения о бытовании песен и причетов, определены особенности прикреплённости отдельных текстов или их фрагментов (например, к № 41, 42); отмечены различия в функции причетов и песен во время «посидок»; дана характеристика взаимоотношения причетов и песен в обряде.

Кроме описания традиционного свадебного обряда в сборнике приведено и описание современного свадебного обряда, сделанное в той же дер. Кушкопала, что дает бесценный материал для изучения эволюции обряда. Приводимые материалы раз свидетельствуют о явлениях, уже неоднократно отмечавшихся исследователями: прежде всего о сокращении обряда за счет многих обрядовых моментов и деталей, связанных с ушедшим бытом, о появлении новых элементов, часто заимствованных из городского обряда, и др. Подтверждается лучшая (в сравнении с другими обрядовыми моментами) сохранность традиционных игровых моментов. Интересно, что в описании современной свадьбы, сыгранной по-старинному, появляются детали, скорее всего утраченные, но не зафиксированные в «своде» (сравни, например, «Заручины»). Что является результатом более детального опроса или заимствование из других, не местных источников?

В разделе «Свадебный обряд и поэзия» включены также подразделы: «Свадебная поэзия», «Величальные и корильные песни» и «Причитания», где опубликовано более 30 сюжетов свадебных песен. Восемь из них вошли в подраздел «Свадебная поэзия» (вступительная статья, подготовка текстов и примечания В. Варганова). Характеризуя место в обряде лирических свадебных песен, В. Варганова делит их на два типа: песни, строго приуроченные к определенным обрядовым действиям и исполнению (они были включены в текст описания свадебного обряда), и песни, которые в обряде не удалось установить. Последние на основании свидетельств информаторов сгруппированы в два цикла — исполнявшиеся в доме невесты и жениха. Эти песни свободно перемещались в пределах своего цикла, но могли повторяться вокруг каких-то определенных этапов или моментов обряда (например, вокруг «просватанной недели»). Такую систематизацию можно условно принять за рабочую, так как она соответствует современному этапу бытования этого песенного цикла.

Следующий подраздел — «Величальные и корильные песни» (вступительная статья, подготовка текстов и примечания Л. Хариновой) включает девять текстов, сгруппиро-

важных по персонажам, которым они адресованы. Особое место в пинежском обряде по наблюдениям Л. Хариновой, занимают величальные песни вдове, так называемые «жалостливые». Песни, обращенные к родителям жениха и невесты, на Пинеге не хранились совсем. По мнению составителя, тексты величальных и корильных здесь довольно устойчивы (правда, объяснение причин этой устойчивости спорно, с. 103).

Свадебные причитания помещены в двух подразделах: в «своде», где выявлено традиционное и типичное в пинежских свадебных причетах и в «Причитаниях», где представлены записи редких, порою уникальных текстов, отличающихся большим художественным совершенством. Для них характерна и большая смысловая самостоятельность, поэтому они могут быть поняты и без описания обряда (тем не менее составители положили тексты в соответствии с их местом в обряде). Для того, чтобы показать особенности жанра, связанные с его импровизационным характером, составители включили в этот подраздел и варианты причетов, уже данных в «своде».

Вступительная статья Т. Шмелевой написана с большим проникновением в материал. Хорошо им владея, автор дает читателям представление о жизни жанра в нежском свадебном обряде, а также о местной традиции исполнения (индивидуальное и ансамблевое), которая, по ее мнению, способствовала сохранению причетов в этом районе. Обилие причитаний позволило выявить их типичные варианты, так называемые средние тексты. Составители выделили два основных типа причитаний — ритуальные и лирико-повествовательные. В раздел «Свадьба» вошли причеты ритуальные и наиболее типичные и обязательные из лирико-повествовательных, в «Причитаниях» — преимущественно менее типичные, часто уникальные. В целом раздел «Причитания» — один из наиболее интересных в книге.

Можно спорить, нужно ли выделять в особые подразделы лирические, величальные и корильные песни, а также причитания. На мой взгляд, нужно, так как это дает возможность более детально и глубоко показать современное состояние жанров и их специфические особенности, определить функции тех или иных текстов песен и причетов. Жаль, что плохая сохранность других жанров свадебного фольклора не позволила включить их в сборник.

Раздел «Похоронный обряд и поэзия» (вступительная статья, описание похоронного обряда, 37 текстов похоронных причитаний и примечания к ним) подготовил Н. Нерезенко. Сообщая основные сведения о современном бытовании похоронного причета, автор отмечает, что его традиция по всей Пинеге, особенно в нижнем ее течении еще сильна, хотя «причет как жанр умирает» — исчезает соотносительность мотивов причета и самого причета с определенными моментами обряда, пропадает элемент комбинирования обрядового действия, присущий ему ранее, стирается магическое значение причета и т. п.

В основном опубликованные причеты можно отнести к двум типам — собственно похоронные (исполняются по ходу обряда — при обмывании тела покойного и «снажении» его, при положении в гроб и при выносе гроба) и поминальные (исполняются на могиле на 9-й и 40-й день). Последним в большей степени, чем собственно похоронным, был присущ элемент заговора. Подобные причеты интересны не только для филолога, но и для этнографа, в частности для исследователя древних верований.

Причеты расположены в порядке отнесенности к тому или иному лицу (причет по матери, по отцу, детям и т. д.), а внутри этих групп — по ходу обряда. Тексты высокохудожественны и довольно полны.

В разделе публикуется описание похоронного обряда, наблюдавшегося собирателями. В примечаниях оно дополняется материалами других записей. И все же испытываешь сожаление, что многое в обряде осталось вне поля зрения собирателей. Видно, в данном случае сказались как «филологическая» направленность экспедиций, так недостаточная этнографическая подготовка собирателей.

Результаты многих экспедиций в разные районы Европейской части СССР свидетельствуют о лучшей сохранности у русских похоронного обряда по сравнению с другими семейными обрядами, и поэтому еще не поздно фиксировать его многие архаические черты. Жаль, например, что очень сжато дано описание обмывания покойного. Выпали многие другие детали обряда, которые помогли бы глубже понять тексты и значение причетов.

Сушественно дополняют вступительную статью примечания к текстам. В них выявлены сведения о бытовании и современном состоянии причетов. Однако следовало бы пояснить некоторые непонятные места, которых, правда, немного. Например, что значат строки «Уж строги углы они у нас да ломали?» (№ 160, с. 148). Видимо, это упоминание о каком-то моменте свадебного обряда, но непонятно, каком. Далеко не каждое значение слова «позорицы» (№ 146, с. 140), которого нет в словнике.

Раздел «Заговоры», на мой взгляд, наиболее интересный в сборнике. И не только потому, что в нем помещены редкие, может быть, уникальные материалы (в последние полвека тексты заговоров не публиковались в таком объеме), но и благодаря четкой и хорошо продуманной вступительной статье А. Пескова и тщательно подготовленным примечаниям Е. Королевой и А. Пескова (у Пескова это не первая работа о заговорах¹). Коллекция заговоров, собранная студентами на Пинеге, составляет 235 текстов (опубликованы 33). Среди них заговоры лечебные (157 номеров), хозяйственные (38 номеров), заговоры, призванные воздействовать на взаимоотношения людей (16 номеров) и на домового (12 номеров), а также обереги, назначение которых охранять челове-

¹ См. Песков А. М. Об устойчивых поэтических элементах русского заговора. В кн.: Филология. В. 5. М.: Изд-во МГУ, 1977.

12 номеров). Это собрание имеет не только научную, но и эстетическую ценность, так как большинство текстов отличается высокой художественностью и поэтичностью. Во внимательной статье отмечаются существенные изменения, произошедшие в отношении сполнителителей к заговорам, и верно определяются причины, ведущие к их исчезновению. Нельзя не согласиться с автором в том, что «утрата веры в магическую силу слова и действия, прекращение передачи „слов“ молодому поколению, исчезновение из крестьянского быта знахарства и колдовства обусловили утрату утилитарной функции заговора, а вместе с ней и самого заговора как особого фольклорного жанра на Пинежье... Заговор прикреплен к повседневному быту. Поэтому вместе с изменением форм повседневного быта пинежан отпадает и необходимость в „повседневном“ („на всякий случай“) заговоре» (с. 167). В примечаниях содержатся ценные наблюдения о поэтике жанра, в частности об устойчивости и распространенности отдельных формул и мотивов, о вариативности текстов. Весь раздел может служить хорошим фундаментом для дальнейших исследований этого интересного жанра.

В заключение несколько общих соображений о сборнике в целом. У сборника, созданного на основе студенческих экспедиций, есть безусловное преимущество перед сборниками, издаваемыми научными учреждениями, — это массовый полевой материал. Многочисленные записи одних и тех же текстов, многократно повторяющиеся выезды в одни и те же районы позволяют выявить наиболее типичные и полные варианты, с большей достоверностью судить о репертуаре. Несмотря на ряд замечаний, часто продиктованных интересами этнографов, на которые, вероятно, легко возразить (поставленные задачи, объем и т. д.), необходимо подчеркнуть, что сборник получился содержательным. Он воспринимается целостно и выдержан в едином стиле, что особенно важно и сложно при участии многих авторов, индивидуальная манера которых вместе с тем не пострадала. Высокий научно-профессиональный уровень всех публикуемых материалов свидетельствует о больших возможностях студенческой научной работы и позволяет говорить о ней без всяких скидок. Для всех исследователей и любителей русского фольклора выход сборника «Обрядовая поэзия Пинежья» — примечательное событие. Можно только радоваться, что после длительного перерыва филологический факультет МГУ возобновил издания такого рода.

Т. С. Макашина

НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ

G. Duby. *Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale*. Paris: Hachette, 1981. 318 p.

Характерная особенность подхода Жоржа Дюби к семейно-брачным отношениям — стремление рассмотреть их как органический элемент общественной системы в целом. Используя этот замысел, Дюби анализирует свой предмет в нескольких различных ракурсах. На первом плане — исследование взаимосвязи семейно-брачных отношений с политическими, социальными, экономическими и идеологическими условиями в течение средних веков — с точки зрения становления брака — этапов средневековья. К таким этапам Дюби относит, во-первых, каролингское время, когда христианские богословы на Западе отказываются от негативной оценки семейно-брачных отношений и начинают трактовать брак как не только допустимый, но и желательный для мирян институт; во-вторых, XI в., в течение которого на Западе формируются две противостоящие друг другу модели брака — церковная и светская; в-третьих, рубеж XI—XII вв., когда противоборство воззрений, отразившихся в этих двух моделях, становится особенно острым; в-четвертых — XII в., на протяжении которого, как полагает Дюби, происходило постепенное сближение и слияние этих двух комплексов воззрений¹. В конце XII — начале XIII в. институт брака, по мнению Дюби, приобрел на Западе черты, предвосхищающие основные его особенности в новое и новейшее время. Соответственно история семейно-брачных отношений в IX — начале XIII в. трактуется Дюби как история возникновения современных форм семьи и брака.

При рассмотрении семейно-брачных отношений на нескольких последовательных филологических срезах Дюби совмещает структурный подход к браку как к элементу сменяющих друг друга социальных систем с его генетическим исследованием. Это позволяет сочетать изучение семейно-брачных отношений IX—XIII вв. в их статике — на каждом из выделяемых Дюби этапов — и в их динамике — в течение периода в целом. Два названных плана анализа брака как социального явления дополняются в книге двумя другими. Один из них — исследование представлений о браке, присущих в тот или иной момент различным социальным группам, другой — сопоставление этих представлений с социальной практикой. Подобный историко-культурный анализ в некоторых разделах книги занимает едва ли не центральное место. Он служит не только раскрытию основной темы, но и используется и для освещения более общей проблемы,

¹ Автор опирается преимущественно на французские источники. Однако в центре его внимания не специфика французских форм брака, но общие для Западной Европы феномены, которые с особой отчетливостью отразились как раз в материалах французского происхождения.

и идеального в истории².

Многоплановость рецензируемой работы — лишь одна из ее важных особенностей. Другая не менее привлекательная ее черта — исключительная насыщенность конкретными историческими, в том числе и «событийными», материалами. Об этом следует сказать особо, потому что для так называемой «новой исторической науки» — влиятельного направления в современной западноевропейской историографии, одним из наиболее авторитетных представителей которой Дюби является³, долгое время было типично пренебрежение событийной историей. В рецензируемой работе уделяется такое внимание обстоятельствам воцарения отдельных королей или герцогов, условиям их браков и разводов, выбору брачных партий для их отпрысков, столкновениям и этим вопросам между светской властью и церковью, что, о подобном пренебрежении в данном случае говорить не приходится. Это не означает какого бы то ни было возврата к событийному повествованию «в манере старых историков» (с. 22). Для этой последней история общества начиналась и кончалась деяниями тех или иных властителей. Для Дюби эти деяния — не более чем проявление неких подспудных социальных процессов, формирующих как личность самих властителей, так и поведение их подданных. Тем не менее самое использование Дюби конкретных событий для реконструкции социальных процессов весьма симптоматично. Оно отражает определенные изменения в методике и методологии «новой исторической науки». Крен в сторону крайней социологизации исторического исследования, присущий этому направлению в прошлом, ныне, по-видимому, преодолевается. Отсюда не следует, что ослабевает интерес к социальным процессам и структурам: они остаются важнейшими объектами анализа. Но приемы их исследования усложняются и расширяются. Для их восприятия используются теперь не только массовидные данные, но и единичные свидетельства событийного плана. Событие, рассматриваемое как эпифеномен исторического процесса, все чаще привлекает пристальное внимание.

Отношение к событийной истории в известной степени определяет характер изложения и самое построение рецензируемой книги. Она начинается с подробного анализа десятилетней борьбы между французским королем Филиппом I (1060—1108 гг.) и южнофранцузским епископом (поддержанным папской курией) из-за попытки короля развестись со своей первой женой и вступить в новый брак. Исследуя обстоятельства этой борьбы и ее исход (король был вынужден формально отказаться от повторного брака), Дюби воспроизводит воззрения на брак, секс, семью и женщину, характерные на рубеже XI—XII вв., с одной стороны, для светской аристократии, с другой — для богословской элиты. Отправной точкой всего исследования оказывается, таким образом, не начало и не конец, но середина рассматриваемого в книге исторического периода, когда противостоявшие модели брака — светская и церковная — достигли своей полной кристаллизации. После такой экспозиции автор возвращается хронологически назад — в первые столетия средневековья — и последовательно прослеживает все важнейшие хронологические этапы в становлении брака вплоть до начала XIII в.

Особый интерес в книге вызывают разделы, где делается попытка выявить взаимосвязь семейно-брачных форм с социальной системой. В одном из них автор задается целью объяснить отсутствие вплоть до конца XI в. единобрачия в среде светской знати и рыцарства, где кроме законной супруги считалось тогда нормальным иметь одну или нескольких официальных konkubин — сожительниц; законный брак не признавался не расторжимым; мужчина нередко пользовался по отношению к супруге правом *repudium* (отказа). Целью подобного развода всегда был новый брак (осуществлявшийся нередко в результате похищения новой жены).

Чтобы понять, чем обуславливалось упорное сопротивление аристократии принципам единобрачия, Дюби изучает конкретные обстоятельства разводов и новых браков, исходит из соотношения полов детей в каждом из них, социальные и имущественные статусы брачующихся, высказанные (и невысказанные) мотивы матримониальных актов. Ближайшей причиной большинства разводов и новых браков выступает, по мнению автора книги, стремление мужчин обзавестись наследниками — мальчиками, прижитыми от жен возможно более знатного происхождения. Корни этого стремления, овладевшего в IX—X вв. всей аристократией, Дюби усматривает прежде всего в массовых социально-культурных представлениях. Согласно этим последним, социальные грады в рыцарской среде определялись индивидуальными достоинствами, в первую очередь доблестью, мужеством, широтой натуры. Все они считались врожденными качествами, передававшимися детям от отца и матери. Чем выше была знатность каждого из родителей, тем выше могли быть достоинства сыновей и их шансы на удачу в жизни. Исходя из этих представлений, всякий рыцарь, мечтавший укрепить свой род и обеспечить ему славное будущее, должен был стремиться к браку с возможно более знатной женщиной, причем такой, которая рождала бы мальчиков — продолжателей рода. Отсутствие среди потомства мальчиков побуждало к разводу и повторному браку. Стимулом к разводу было и появление возможности вступить в брак с более знатной женщиной.

² См. *Duby G. Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme*. P., 1978 (см. нашу рецензию на эту книгу в «Вопросах истории», 1981, № 1); *Duby G., Lardreau G. Dialogues*. P., 1980; *Duby G. Le mental et le fonctionnement des sciences humaines*.—L'Arc P., 1978, № 72.

³ Особенно рельефно многие черты этого направления воплощены в статьях, публикуемых парижским журналом «Annales. Economies — Sociétés — Civilisations»; см. также: *La nouvelle histoire*/Sous la direction de J. Le Goff. et autres, P., 1978.

Дюби далек от того, чтобы рассматривать эти социально-культурные представления как главную движущую силу в матримониальном поведении знати (поиском иных движущих сил в формировании семейно-брачных отношений — как и в социальном развитии в целом — он вообще не придает слишком большого значения; об этом ниже). Мотивы сопротивления знати IX—XI вв. принципу единобрачия рассматриваются Дюби как психологическая форма, в которой сами современники осмысливали это поведение. Складывалось же оно, по мнению Дюби, вследствие взаимодействия тех импульсов, порождавшихся как ментальной, так и политической и социально-экономической структурами (здесь и борьба аристократических родов за политическое доминирование внутри графств и герцогств, и их заинтересованность в приближении к власти, и их стремление к овладению богатыми владениями знатных родственников, борьба о наследственных достоинствах потомков).

В еще более широком социально-структурном контексте осмысливается в книге гегельное признание светской аристократией XII—XIII вв. моногамного церковного брака. Как констатирует Дюби, в течение XII в. исчезают обстоятельства, препятствовавшие до этого времени вступлению в брак младших отпрысков рыцарства. Суть этих обстоятельств, складывавшихся еще с X в., может быть понята, на взгляд Дюби, лишь в связи с «феодалной революцией конца IX — начала XI в.», приведшей к победе феодального способа производства⁴. Окончательное превращение в это время аристократических родов в крупных земельных собственников, их умножение, укрепление патримонической власти глав этих родов, исчерпание фонда нефеодализированной земли — все это сделало, с точки зрения Дюби, необходимым (и возможным) прекращение дальнейшего дробления родовых владений знати. Путь к сохранению целостности земельных достояний был найден в ограничении браков младших сыновей знати и исключении земли из состава приданого дочерей, не считая случаев, когда они звались единственными наследницами). Лишенные возможности обзавестись семьей в отчем краю, молодые неженатые рыцари становятся с XI в. наиболее агрессивной силой в составе господствующего класса. Именно они активнее всего участвуют в военных походах на Восток и в политических авантюрах внутри собственной страны. Эти же «молодые», лишенные надежд на «законный брак», были самыми упорными противниками церковной реформы семейно-брачных отношений и особенно прочно жались за традиционные «умыкания», за *maritagium danico more* («брак по датско-норманнскому — обычаю») в форме конкубината, за меньшую регламентацию личных связей вообще.

Ситуация в корне изменяется, по мнению Дюби, в XII в. Рост городов, торговли, денежно-денежных отношений, появление рентных фьефов (т. е. фьефов не в виде земельных владений, а в виде денежной или продуктовой ренты с какой-либо статьи дохода, например в виде права сбора торговых пошлин, винной или мельничной монополии, платежей горожан и т. п.) существенно расширили экономические ресурсы господствующего класса. Такое же значение имели широкая внутренняя колонизация XII в. и демографический рост крестьянства, позволившие создать новые сеньории. Их роль сыграло и усиление королевской власти, использовавшей часть рыцарства в своих политических интересах и обеспечивавшей его должностями, рентами и пожалованиями. В результате исчезла необходимость ограничивать браки «молодых». Доля дочерей, лишенных материальных возможностей обзавестись собственным домом и семьей, резко сократилась. Увеличилось число «законных браков», вырос их авторитет, царским идеалам доблести и героизма стало все чаще противопоставляться стремление к имущественной обеспеченности. Знатность жены стала казаться не более важной, чем ее богатство, стремление к сохранению прав на которое подчас препятствовало расторжению брака. Частота разводов уменьшилась. В этот же период церковь добилась причисления брака к основным христианским таинствам, обязательного участия священника в его оформлении и соответствующего изменения свадебного ритуала. От ритуала теперь начинается с проверки священником гражданского состояния брачующихся — не родственники ли они, холосты ли они; в него включается публичное подтверждение сторонами согласия на брак, торжественная месса и благословление новобрачных в церкви. Показательно, однако, что часть свадебной процедуры ее оставалась за пределами церкви: завершением свадебного ритуала считалось благословение священником и отцом жениха постели новобрачных.

Таким образом, победа в XI—XIII вв. церковного брака выступает в книге Дюби как неотъемлемый элемент общей перестройки экономических, политических и идеологических отношений⁵. Изучение семьи и брака оказывается составной частью исследования всей общественной системы.

Несмотря на широту этого подхода, выводы, к которым приходит Дюби в своей книге, отличаются известной неопределенностью. Читатель напрасно искал бы например, заключений, касающихся иерархии тех факторов, которые обусловили становление новой формы брака. Причинные связи явлений, рассматриваемых Дюби, оказываются

⁴ Подробнее о содержании, которое Дюби вкладывает в понятия «феодалная революция» и «сеньориальный способ производства», см.: Бессмертный Ю. Л., Гуреев А. Я. Некоторые проблемы изучения общественного сознания средневековья в сочинениях зарубежной медиевистики. — В кн.: Культура и общество в средние века: методология и методика зарубежных исследований. М.: ИНИОН АН СССР, 1982, 5 сл.

⁵ Говоря о связи новой концепции брака с идеологией XI—XIII вв., Дюби особенно подробно останавливается на месте этой концепции в тройственных моделях социальной структуры.

подчас до такой степени многосторонними и многозначными, что самая возможность каузального объяснения представляется невозможной.

Здесь несомненно сказывается определенная установка автора. Так, формулируя свою основную задачу, Дюби пишет, что предпринимаемый критический анализ текста «позволяет должным образом поставить вопрос, который мне важен: как (подчеркнуто мною.— Ю. Б.) вступали в брак 800—900 лет тому назад в христианизуемой Европе» (с. 23). Именно вопрос «как» в центре внимания автора. Это не значит, что Дюби вовсе не интересуется вопросом «почему». Но его познавательное значение, в глазах автора, гораздо меньше. Связано это с тем, что, как говорит Дюби в другой своей работе, ему не импонирует постановка проблемы по схеме «X влияет на Y», предполагающая существование некоей «конечной причины причин»; он предпочитает этому констатацию «корреляции между X и Y», при которой «все определяется всем»⁶.

Можно вполне согласиться с Дюби в его критическом отношении к плоскому, де-терминизму, сводящему объяснение всего сущего к одной единственной «причине причин», но разве не в той же мере заслуживает критики противоположная крайность игнорирующая гносеологическую роль каузальности? Ответ на этот вопрос содержится фактически сама рецензируемая книга. Избегая эксплицитного формулирования причинных зависимостей, Дюби имплицитно их определяет. Примером тому — воспроизведенный выше очерк Дюби, касающийся эволюции семейно-брачных отношений рыцарства в X—XII вв. Исходный пункт этой эволюции выступает в книге Дюби как прямое следствие утверждения в стране «сеньориального способа производства». Конечный ее пункт выглядит столь же тесно связанным с социально-экономическим и политическим подъемом XII в. Тот факт, что приоритет этих связей прямо не обозначается, вряд ли мешает вдумчивому читателю заметить его. Зато отсутствие эксплицитного вывода создает — помимо желаний автора — почву для неверного истолкования его суждений, и в частности их упрощения. Ведь то, например, объяснение изменений в семейно-брачных отношениях, которое, как только что было отмечено, посплудно звучит в книге Дюби и которое предполагает довольно-таки прямолинейное выведение из социально-экономических и политических изменений, вряд ли осталось бы без оговорок и уточнений самого автора, будь оно более отчетливо им сформулировано.

Думается, что попытка предпочесть каузальному объяснению исторических феноменов «корреляционное» не продуктивна и по самой своей сути. Эти два способа объяснения вообще не противостоят друг другу. Ибо констатировать корреляцию между X и Y — это значит определить, насколько изменение одной из этих переменных зависит от изменения другой. Мы возвращаемся, следовательно, все к той же причинности только взятой более широко и комплексно, с учетом неизбежного пересечения в историческом поле одновременно многих причинных зависимостей.

В краткой рецензии трудно остановиться на всех проблемах, поднимаемых новой книгой маститого французского исследователя. Упомянем лишь одну из них — связь в изменении форм брака и форм семьи. В своей последней работе, как и в некоторых предыдущих, Дюби исходит из господства в течение всего рассматриваемого им периода IX—XIII вв. малой «нуклеарной» семьи (т. е. семьи из родителей и их несовершеннолетних и неженатых детей). Ее стабильность как бы противопоставлена в построении Дюби глубокой изменчивости брачных форм. Это противопоставление стабильности форм семьи нестабильности форм брака представляется недостаточно аргументированным. Как показали исследования последних лет, в крестьянской среде малая семья и в IX в., ни в последующие столетия не была господствующей: большая (если не большая) часть крестьян продолжала жить многосемейными сообществами⁷. Трудными для Дюби показано сохранение так называемой «расширенной» семьи и в составе рыцарства X—XI вв.⁸ Сужение состава семьи и возобладание ее «малой» формы происходит как раз на XII в.⁹, т. е. на период, в течение которого побеждает и новая модель брака. Не следует ли отсюда, что победа новой формы брака была до некоторой степени обусловлена окончательным утверждением малой семьи? Если бы это предположение оказалось верным, можно было бы констатировать определенный параллелизм в развитии форм семьи и брака. Утверждение церковной модели брака выступало бы в этом случае связанным с социально-экономической и политической эволюцией не напрямую (как это фактически получается в рецензируемой книге), но через посредство изменений в форме семьи, изменений, воплощающих в себе действительно очень сложную гамму социальных процессов.

Ю. Л. Бессмертный

⁶ Duby G., Lardreau G. Op. cit., p. 140—141.

⁷ См. нашу статью «К демографическому изучению французской деревни IX в. (Сов. этнография, 1981, № 2) и указанную в ней библиографию; см. также: Chapelot J. Fossier R. Le village et la maison au Moyen Age. P., 1980, p. 222—227.

⁸ Дюби Ж. Структуры семьи в Западном средневековье. М.: Наука, 1970.

⁹ Fossier R. Enfance de l'Europe. Aspects économiques et sociaux. P., 1982, p. 910—913.

Е. В. Ревуненкова. Народы Малайзии и Западной Индонезии (некоторые аспекты духовной культуры). М.: Наука, Глав. ред. вост. лит.-ры, 1980. 274 с. с илл.

Отечественная этнографическая литература обогатилась новым интересным исследованием, в котором проблемы шаманизма рассматриваются на материалах народов Малайзии и Западной Индонезии. Автор его, Е. В. Ревуненкова, уже хорошо известна своими статьями на эту тему, где она ставит и с определенных позиций решает вопросы, связанные с личностью шамана, понятием «шаманизм», соотношением фольклора с древними представлениями и обрядами¹; для нее «шаманизм» и «шаманство» — синонимы².

Основной задачей обсуждаемой монографии, как ее формулирует автор, является создание обобщающей картины шаманских представлений у народов Индонезии и Малайзии в свете материалов, появившихся с начала XX в. (Введение). Но эта задача фактически отодвигается на второй план, а главным оказывается раскрытие на частных материалах тех же закономерностей шаманизма, которые прослеживаются далеко за пределами очерченного региона. Обсуждаются и сибиреведческие работы. Именно представления и методы исследований интересуют автора при выработке собственного подхода к теме для ответа на вопросы: кто такой шаман, что такое шаманизм, как соотносятся шаманизм, религия и магия, универсальный ли это феномен или локально ограниченный и, наконец, может ли существовать шаманизм без шамана? Читатель найдет в книге подробные описания атрибутики сакральных лиц, некоторых детских игр как источника изучения шаманского ритуала, представлений малайцев и аборигенов Малакки о тигре, в которых проступает общий пласт архаичного сознания, и другие не менее интересные разработки.

Несомненно, Е. В. Ревуненкова поставила перед своим исследованием чрезвычайно серьезные и важные задачи. Ее позиция — позиция ученого, рассуждающего о путях развития научных взглядов, постоянных исканий и раздумий о предмете исследования, — которые автор активно вовлекает и читателя. Книга написана увлекательно, кстати сказать, великолепным языком. Научный поиск автора в процессе чтения создает эмоциональное напряжение и вызывает неослабевающий интерес.

В главе I — «Личность шамана» приводятся различные взгляды русских (Богораз, Геленин, Широкогоров и др.) и зарубежных (Ольмаркс, Хюльткранц, Харва, Левин-Спасс, Бутейе и др.) ученых на эту проблему главным образом с точки зрения психофизиологической организации шаманов. По сути, вся глава посвящена рассмотрению крайних мнений: с одной стороны, взгляда на шамана как на психически больного, с другой — как на личность, не выходящую за пределы нормы поведения. Первый подход исторически был более ранним, и со временем выяснилось, что он вступает в противоречие с вновь вводимым в научный оборот материалом и дает далеко не объективную картину. Как доказательство психического здоровья шамана Е. В. Ревуненкова не только привлекает экспериментальные данные этнопсихологической школы, мнения этнографов о способности шамана моделировать психику других людей, находиться в контакте с аудиторией. Остановившись на последней черте более подробно, она проводит параллели с актерским мастерством, показывая, что у актера и шамана одна и та же психологическая основа творческой деятельности. К этому можно было бы добавить, что и их задачи, очевидно, нередко оказываются сходными, какими бы, на первый взгляд, различными на разных уровнях развития культуры они ни выступали. В основных чертах такой подход не вызывает возражений. Вместе с тем как будто не вызывает сомнений и другой факт. Если для будущего шамана часто даже искусственно создавалась обстановка, значительно возбуждающая его воображение, то для других членов тех же обществ подобная обстановка столь же часто могла возникнуть естественно, например во время длительного пребывания на охоте в одиночку (в сибирских охотничьих обществах). Однако шаманами они не становились. Потенциально духами мог быть одержим каждый, но не каждый человек «подготовлен» к такой одержимости. Поэтому, как кажется, одним сенсорным голодом это явление трудно объяснить.

В ранних работах по шаманству все внимание сосредотачивалось на одном лице, являющем непосредственную связь с духами, — шамане. Но по мере накопления этно-

¹ В том числе в журнале «Советская этнография» ею были опубликованы статья «О личности шамана» (1974, № 3) и обширный обзор литературы и взглядов ученых различных направлений «Актуальные проблемы исследования шаманизма» (1981, № 1) в связи с выходом в свет книги «Shamanism in Siberia». Budapest, 1978.

² Некоторые сибиреведы различают эти понятия. Ср., напр.: Вдовин И. С. Исследование шаманизма народов Сибири и Севера; Потапов Л. П. Некоторые аспекты изучения сибирского шаманства. — IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Доклады советской делегации. М.: Наука, 1973; Вдовин И. С. Введение. — В кн.: Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л.: Наука, 1976; Потапов Л. П. К вопросу о древнетюркской основе и датировке алтайского шаманства. — В кн.: Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1978; Вдовин И. С. Заключение. — В кн.: Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Л.: Наука, 1981. Хомич Л. В. Шаманы у малайцев. — Там же. При чтении обсуждаемой монографии Е. В. Ревуненковой улавливается некоторая разница в содержании терминов, однако я стараюсь не касаться этого дискуссионного, впрочем, как и многих других, вопроса и в данном случае следую за автором.

графического материала в сфере научного анализа появляются и другие лица, «занные» с сакральными силами, обнаруживаются их общественные функции и, наконец, встаёт проблема их соотношения с тем лицом, которое уже прочно заняло положение шамана. Например, в материалах по хантам: XVIII в. — жрец-шаман; XIX в. — шаман и жрец; более пяти различных категорий лиц, из которых только одна или две прижато к шаману (1976 г.)³. Мне кажется, что рассмотрение фигуры шамана в отношении соотношения с другими лицами является чрезвычайно перспективным не только для решения проблем шаманства, но и для более древних реконструкций. Именно поэтому и по-прежнему актуален путь исследования, который предлагается в монографии, переводя проблему из опозиции «нормальность — ненормальность» в иной план — определение характерных признаков шамана, отличающих его от других сакральных лиц. Отметим, что так же решает вопрос о шамане — не шамане В. М. Кулемзин на материалах хантов. В данном случае первый план должны выступить типические признаки шамана. Согласованности между различными авторами в выделении таких признаков нет, поэтому каждый в процессе исследования должен их сформулировать для себя заново, что и делает, например, В. М. Кулемзин. Е. В. Ревуненкова, располагая иным, более широким материалом, идет дальше. Она ставит весьма существенный вопрос: всегда ли и везде ли та отличия имеются?

В главе II — «Детерминанты шаманизма» привлечен огромный литературный материал. Обсуждаются взгляды таких известных исследователей, как Херманн, Уэбб Метро, Элиаде и Шрёдер, Арбан и Льюис, Паульсон, А. А. Попов и многих других ученых. Большая заслуга Е. В. Ревуненковой состоит в том, что она на протяжении всей книги знакомит русского читателя с обширнейшим кругом зарубежных ученых, принимающих участие в обсуждении этой увлекательной темы. По существу, так обстоятельным анализом основной мировой литературы по шаманизму она подводит итог более чем двухвековым спорам и приходит к выводу, что сейчас не существует однозначных решений, и скорее можно говорить о трансформации и развитии старых идей и преемственной связи между отдельными направлениями: историческим, структурным, психологическим, культурологическим, социальным, религиоведческим и т. д.

И все-таки, где те критерии, по которым шаман может быть выделен из числа сакральных лиц? Для таких лиц используется широчайший круг названий: шаман, жрец, гадатель, предсказатель, прорицатель, оракул, пророк, знахарь, лекарь, ясновидец, колдун, медиум, певец, создатель новых сказаний и т. п. Рассматривается проблема соотношения экстаза и одержимости как признаков, отличающих шамана. Автор считает, что «подобно тому, как подход к определению самого понятия „шаманизм“ зависит от точки зрения на психофизиологическую организацию шамана, так от той точки зрения на соотношение шамана с другими священнослужителями зависит определение границ и объема этого понятия» (с. 35). Однако в связи с тем, что не выработана единая система терминов, споры часто носят схоластический или терминологический характер.

Вполне соглашаясь с автором, необходимо обратить внимание на то, что в научной практике проблемы генетические, исторические, синхронные и диахронные, проблемы внутрисистемных противоречий часто находят внешнее выражение именно в терминологических спорах. Решение терминологических проблем во многом означает решение об отнесении того или иного явления к определенному типическому кругу, а не только возможность последовательного употребления однажды введенного термина. Споры в области терминологии, связанной с шаманизмом, ярко показывают, что эта проблема находится в стадии интенсивной научной разработки.

В качестве рабочего подхода Е. В. Ревуненкова предлагает называть шаманом того, кто осуществляет связь с тремя космическими зонами, а жрецом — руководителя культовых церемоний, знатока и хранителя ритуалов. Сразу же у читателя возникает справедливый вопрос: а не отражает ли связь с тремя мирами большинство культовых церемоний, проводимых жрецом? Для выхода из терминологических споров автор предлагает к сущности шаманизма (с. 62), считая, что она заключается в совокупности трех составляющих (детерминант): мифологической (представление о трехчленности мира и космической оси), медиумной (лица, реализующего связь между мирами), ритуальной (камлания как средства реализации). Но так как видимых оснований выделению этих детерминант в тексте нет и громадная работа по выявлению сущности шаманизма именно в такой форме остается за пределами поля зрения читателя, вытек воспринимается скорее как еще один логически вполне правомерный подход к рассмотрению материала.

В последующих двух главах работы (III и IV) в каждом случае на конкретном историко-культурном и социальном фоне рассматриваются вопросы становления и развития шаманизма. Автор не может обойтись без определенных типических признаков. По-видимому, исходя из содержания Е. В. Ревуненкова относит к ним: общие условия становления «специалиста», характер связи с предками, божествами и духами, отношение к мирским функциям и жертвоприношениям, роль рассматриваемых лиц в ритуале связи с сакральными силами, форму ритуала и атрибутику, наличие транса. В эти признаки анализируются на фоне представления о трехчленности космоса. По сути речь идет о различных положениях того лица, которое можно называть шаманом, в реплетении его функций, специализации и т. п., т. е. в основном о практической деятельности, что, как думается, в контексте работы и составляет понятие «шаманизм».

³ Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком, сочиненное в 1715 г. СПб. 1884; Karjalainen K. F. Die Religion der Jugra-Völker. Porvoo, 1922; Кулемзин В. Шаманство васюганско-ваховских хантов. — В кн.: Из истории шаманства. Томск, 1971

«шаманский комплекс». Чтобы показать ранние формы состояния таких лиц, автор вводит понятие «единой монолитной социокультурной системы» или «единого социокультурного комплекса», когда, в частности, мирские функции главы объединения совмещены с сакральными. Очевидно, что само по себе весьма спорное условное понятие «единого комплекса» вводится для того, чтобы установить отправную точку организации фактов, характеризующих, в общем, непрерывность развития. Первый раздел главы III о становлении и древних формах шаманизма у населения Мафёского полуострова, народов Суматры и Калимантана называется «Шаманские представления у семангов и сеноев». вновь возникает вопрос: существуют ли особые шаманские представления, каково соотношение между шаманскими и не шаманскими представлениями? Тем более, что, анализируя материал, автор приходит к выводу, что у семангов шаманизм еще не выделился из единого социокультурного комплекса, центром которого стоит синкретическая фигура халака» (с. 65). Далее великолепно конструируются разные степени обособления шамана от мирских функций у разных народностей региона и постепенная специализация лиц, связанных с сакральным миром. Обращается внимание на эмоционально-эстетические функции действий поханага, являющие характер театрализованного представления. Иногда признаки этих лиц до такой степени совпадают с признаками шаманов у некоторых сибирских народностей, что дает автору основание считать, например, дукуна представителем самого «чистого» шамана, а шаманизм джакунов — кульминацией развития этого явления в рассматриваемом регионе. Процесс появления особых лиц, причастных к шаманизму, но выполняющих лишь одну какую-то функцию из собственных шаману, показывается на примере ибанов Калимантана. Шаманство мелану Саравака еще отражает черты древнего состояния, когда функция будущего шамана мог выполнять каждый. Мультифункционализм малайского паванга (глава IV), по мнению автора, — результат освоения шаманских черт лицом, проступающим в этимологии его названия: па — предок, прадед, мудрый старец. Рассматривая функции бомора, Е. В. Ревунен — анализирует малайские ритуальные танцы, которым свойственны все признаки театра, и считает, что их следует отнести к сфере шаманизма как в плане генезиса, так и типологии. Доказывается, насколько многозначны термины, относящиеся к малайскому шаманизму, часто совпадающие в значениях, но в разных контекстах обретающие особый смысл. В результате намечаются четыре возможные стадии или формы шаманизма: становление, наиболее полное самостоятельное развитие, шаманизм в состоянии сожительства, диффузные формы шаманизма. Шаманизм может переходить от одного общественного строя в другой, приспосабливаясь к любой культуре, сосуществовать с любой религией (с. 136). Значение этого вывода трудно переоценить. Для того чтобы показать разницу между шаманом и жрецом (глава V), автор обращается к тем обществам, где эти различия проступают особенно ярко. На обширном местном материале со всей очевидностью доказывается, что «нет и не может быть принятых норм и критериев для последовательного и четкого разграничения разных сакральных лиц в функциональном и психологическом плане, хотя на эмпирическом уровне они отличаются друг от друга» (с. 216). А если это так, то шаманизм может быть всегда связан только с одним лицом, шаманский комплекс может существовать и без него или быть связанным не только с ним (с. 220). Однако шаманская техника остается в типических чертах почти неизменной, варьируя во второстепенных деталях у разных этнических общностей и разных лиц. Шаман, жрец и другие сакральные лица, как бы они ни были противопоставлены в различных вариантах практики, выполняют одну и ту же функцию связи с миром духов (богов) для удовлетворения потребностей общества. В этих выводах проступает то обстоятельство, что именно здесь не в особых шаманских представлениях, а в определенном уровне знания окружающем мире, возникающем и изменяющемся в различных познавательных ситуациях, и в данном случае предполагающем наличие духов (богов) и необходимость общения с ними. Элементы такой практики мы можем найти и в высоких религиях. Поскольку они включают в себя древнюю мировоззренческую основу.

В заключительной, VI главе рассматривается соотношение шаманизма, религии и философии, дается определение шаманизма, решается вопрос о центральных и маргинальных ареалах его распространения. Пожалуй, содержание этой главы особенно отчетливо демонстрирует противоречивость подходов, неустоявшуюся терминологию, свистящую о нерешенности и, по-видимому, о невозможности пока окончательного решения проблемы. Естественно, что и автор не мог избежать известной противоречивости собственных суждений. Особенно это проявилось при определении идеологической базы шаманизма: «Как бы ни называть эту базу, она существует в шаманизме, и поэтому сам шаманизм нельзя сводить только к культовой практике» (с. 228), «у него нет своей теоретической основы, своей идеологии» (с. 237), «...он не является самостоятельной религиозно-магической системой» (с. 238). Вместе с тем определение шаманизма формулируется как особая система мировоззрения, включающая в себя элементы рационального, иррационального и художественно-образного познания мира (с. 246). Но если эта система представлена таким образом, то правомерен вопрос: чем же ее отличие вообще от системы мировоззрения, господствующей на том или другом временном уровне общества, где присутствуют сакральные лица? И не отражает шаманство именно это мировоззрение? Ведь практически проделанная работа и выводы, как кажется, подтверждают такую точку зрения. В определении входит и важная детерминанта — система выражается в представлении о возможности реального общения между тремя космическими зонами. Но ведь даже и в том случае, если практически допустить, что все духи (боги) существуют в среднем мире, общение с ними необходимо. Всей работой доказывается, что наличие одного, нескольких лиц или

даже их отсутствие не снимает этой необходимости. Доказывается наличие шашского комплекса и без шамана, а в определение шаманизма включается осуществление этой связи лишь определенным лицом. От определения шаманизма остается туал, который во второстепенных моментах тоже различен, но должен обязательно направлен на реализацию коммуникативных отношений духи (боги) — люди, психические сходства обнаруживаются у широчайшего круга народностей.

Весь материал, просмотренный под определенным углом зрения, очевидно, не помещается в рамки данного ему автором определения. Проведенная работа гораздо шире действительности, она совершенно по-новому ставит проблему содержания термина «шаманизм». По-видимому, перед нами различные формы проявления миропонимания, деятельности, часто сохраняющие черты более раннего времени. Для доклассовых обществ трудно говорить о том, что в одном случае мы имеем дело с религией, а в другом — со сложившейся картиной мира. Традиционно принято называть это нецерковное единство религией, племенными религиями, традиционными верованиями и культурами, формами религии и т. п. Такой подход оказывается неудобным в исследовании ранних обществ, так как он имплицитно предполагает наличие в этих обществах «не религии». И хотя весь ход исторического развития приводит к такому разделению, но по отношению к ранним представлениям о мире он, как кажется, довольно неравномерен. Если мы будем выделять особые шаманские представления, то пока мы не сможем выделить особые представления охотника, земледельца, сказочника, воина или, например для Сибири, кузнеца с проецированием их взглядов в какой-нибудь «знахаризм» или «кузнечизм»? Все эти лица — специалисты каждый в своей области, отражающие в основных чертах в практической деятельности общее представление о мире. Но они могут иметь свои особые специальные знания, особые профессиональные приемы, и, чем больше они ритуализированы, тем дольше сохраняются. В этом отношении может быть имеет смысл называть шаманизмом только то состояние развития, когда шаман уже выделился, выражена его профессионализация? Ведь специализация как следствие предполагает относительно быстрое развитие этой области. Тогда обществу более высокого уровня знания начинают накладывать отпечаток на определенные сферы деятельности общества, обслуживаемого специалистом. Здесь уже проявляется некоторая разница между элементами массового мировоззрения и истинно шаманскими. Основные положения в каждый данный момент будут общими представлениями о трехчленности мира — тоже. Разница между народными и профессиональными представлениями будет различной в каждом конкретном историко-культурном ареале, что и создает пеструю картину, наблюдаемую этнографами. В процессе не только развития этого явления, но и изменения каждого конкретного общества, присущей историческому развитию неравномерностью шаман-профессионал может создавать иное общественное положение. В частности, может стать официальным проводником идей при дворах правителей в раннеклассовых обществах. В свою очередь он будет накладывать определенный отпечаток на народное мировоззрение и стремиться подчинить «государственным целям». В этом случае такое лицо, уже значительно измененное, выходит на уровень проводника официальных идей — государственной религии. Может быть, поэтому так сложно явления шаманства в одних обществах относить к религии, а в других не относить к таковой? Не принимаем ли мы часто общенародные представления за исключительно шаманские?

По-видимому, споры о соотношении религии, магии, шаманизма, мифологического мышления и т. п. не иссякнут, пока не будет выработана теория развития ранних культурных взглядов на мир, их стадийных, эволюционных или иных изменений, в которых как часть войдет теория религии, ее постепенного противопоставления «не религии» расцвета, упадка под натиском «не религии». Монография Е. В. Ревуненковой, значение которой намного превышает то, какое отведено ей автором своими определениями, вносит существенный вклад в решение этой междисциплинарной проблемы со стороны науки этнографии. Методика доказательств и выводы, к которым пришел автор, должны не потерять своего значения, и каждый, кто займется вопросами шаманства, не сможет пройти мимо этой книги.

Г. Н. Грин

НАРОДЫ АФРИКИ

Г. С. Киселев. Хауса. Очерки этнической, социальной и политической истории (до XIX столетия). М.: Наука, 1981. 223 с.

Книга Г. С. Киселева содержит исследование ряда важнейших аспектов истории одного из крупнейших народов Африки — хауса. Три основные темы стали предметом пристального внимания автора: этногенез хауса; классо- и политогенез (формирование хаусанских государств); исторические судьбы хауса и их государств вплоть до фолкского джихада в XIX в.

Книга состоит из «Введения», четырех очерков и «Заключения», примечаний и библиографии.

Первый очерк — «Источники и историография» — посвящен обзору и критическому анализу источников и литературы. Г. С. Киселев охарактеризовал основные группы источ-

зов: записи устных исторических традиций хауса, местные письменные источники, данные этнографических исследований и археологические материалы. Поскольку источников, в общем мало и они в большинстве своем бедны данными, необходимыми для реконструктивной работы, которой посвятил свои усилия автор, перед ним стояла задача «выжать» из них максимум возможного, оставаясь при этом, разумеется, на строго научных позициях. Г. С. Киселев с профессиональным искусством справляется с этой задачей. Так, даже источник, многократно использованный хаусоведами и в то же время явно не очень ценный с точки зрения исторической достоверности, — легенду о «Семи хауса» — автор, показав, что она неразрывно связана с другим устным источником — генеалогиями правителей, «заставляет» полноценно работать и при построении его схемы сложения хаусанского этноса, и при анализе социальной истории этого народа.

Историографический раздел этого очерка содержит немногословные, но серьезные и точные характеристики основных работ по истории и этнографии хауса. Критикуя ошибочные или несостоятельные теории, мысли, взгляды зарубежных авторов по тем или иным вопросам, Г. С. Киселев всегда сохраняет уважительное отношение к серьезному научному поиску своих предшественников, подчеркивает все позитивное, представляющее интерес, даже если в принципе он с автором не согласен (см., например, на с. 48—50 анализ работ М. Смита).

Содержание второго очерка — «Проблемы этногенеза хауса» — исследование проблемы этногенеза хауса. Опираясь на обширные материалы лингвистики, археологии, этнографии, истории (и особенно полученные в последние десятилетия), Г. С. Киселев убедительно, на мой взгляд, обосновывает «неприемлемость предположений о недавнем образовании хауса как этноса» (с. 57). Сложение хаусанского этноса, как показывает автор, было длительным, многовековым процессом, а не произошло в результате какой-то единичной миграции, хотя миграции и занимали в этом процессе определенное место. Основу хаусанского этноса составили кадаязычные племена Центральной и Южной Сахары, относимые к южной группе народов, говорящих на прахамито-хамитских языках, которые мигрировали в Центральный Судан в I тысячелетии до н. э. (в антропологическом отношении — негроиды); в дальнейшем на эту основу «накладывались», разнообразно и длительно с ней взаимодействуя, другие этнические компоненты — бербероязычные и тедаязычные группы, а также насельники Восточного Судана. Формирование хауса как народа рисуется Г. С. Киселевым как часть большого этногенетического процесса в громадном Сахаро-Суданском регионе. И это, конечно, единственно верный подход к проблеме, вполне отвечающий традициям изучения этногенеза, сложившимся в советской этнографической науке, суть которых — исследовательский историзм и комплексное исследование этнической истории народов.

Анализируя и сопоставляя различные данные источников и выводы занимавшихся данной проблемой ученых, Г. С. Киселев уверенно полемизирует с самыми крупными авторитетами. Пример тому — вопрос о правомерности отождествления с хауса, живших у оз. Чад ал-худи (упоминаемых арабским автором IX в. ал-Иакуби). Л. А. Ольдерогге — противник такого отождествления; Л. Е. Кувбелъ, читающий этот этноним как «аль-хаусин», — его сторонник, как и ученый из ФРГ Д. Ланге. Г. С. Киселев, отметив, что прямых свидетельств в пользу такого прочтения нет и не отрицая принципа его правомерности, считает, однако, более точным мнение, что сведения ал-Иакуби — не первое упоминание хауса в арабской историографии, а экстраполяция арабскими учеными этнонима, по-видимому, наиболее мощной этнической группировки на весь конгломерат родственных групп, населявших территории между Нигером и оз. Чад» (с. 64).

Очерк третий — «Возникновение хаусанских государств» — исследование процесса классово- и политогенеза у хауса — занимает центральное место в книге.

Автор хорошо знаком с общей теорией вопроса, конкретный анализ он предваряет характеристикой дискуссионных вопросов проблемы происхождения государственно-экономической специфической черты этого процесса в обществах Тропической Африки, в отличие от «европейской модели», является, по мнению многих советских, а также ряда зарубежных ученых, то обстоятельство, что здесь государственность возникала прежде всего в результате монополизации функций общественного управления родоплеменной, общинной верхушкой, т. е. на основе такой социальной стратификации, где основное значение имело не имущественное расслоение, не монополизация собственности на основные средства производства, а разделение труда на производительный и управленческий. Хотя на возможность такого развития общества указывал еще Ф. Энгельс¹, конкретный материал, полученный в XX в. при изучении многих обществ, в том числе едва ли не всех обществ Тропической Африки, создал для историков-марксистов проблему, которую можно сформулировать как возникновение государства при отсутствии частной собственности и общественных классов в их, так сказать, обычном виде. Основные взгляды участников обсуждения этой проблемы специалистам хорошо известны. Г. С. Киселев обоснованно разделяет один из принципиальных выводов этой дискуссии — о поливариантности путей сложения раннеклассового общества и государства, о методологической ошибочности судить о природе складывающихся классов в специфических условиях разных регионов мира по европейской модели, и в частности по модели развития буржуазного общества. Неправомерно, считает Г. С. Киселев, отрицать наличие в обществе классовой структуры только из-за отсутствия в нем частной собственности; в докапиталистическом обществе основу классовых отношений следует искать «в далеко зашедшем общественном разделении

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 183—186.

труда, соответствующего значительной социальной стратификации и, главное, в сн системы стабильной эксплуатации, отношений господства — подчинения» (с. На этом этапе социального развития, продолжает автор, возникает и государств организация.

Солидаризируясь с изложенной выше (конечно, крайне схематично) теор Г. С. Киселев в своем конкретном анализе путей сложения государства и классов общества приходит к ней в результате своего исследования, идя от конкретных факт обществ. И тем ценнее, естественно, его выводы, которые подтверждают у новленные уже закономерности или обогащают новыми материалами и мыслями интересные идеи, которые были выдвинуты в ходе дискуссии.

Самый ранний этап, мало-мальски доступный реконструкции, — в то же время, мый трудный для таковой из-за явного недостатка и отрывочности сведений в н щихся источниках. Г. С. Киселев полагает, что на территории, занимаемой ныне ха в первые века II тысячелетия земледельческие общины сложились в сравнительно кие общинно-потестарные образования во главе с общинно-родовой верхушкой; « лее того, наличие таких элементов не только надобщиной политической структуры, и известной институционализации власти ее руководителей в лице верховного жр вождя» (с. 104). Это, резюмирует автор, и был «отправной пункт» процессов полн и классогенеза у хауса. Соглашаясь в принципе с данным выводом, не могу, одне не заметить следующее. В своих построениях Г. С. Киселев вынужден опереться этнографические источники, прибегнув к методу этнографической ретроспекции. Э метод, который уже давно используется в науке, получил, как известно, признани теоретическое обоснование. Однако применять его следует, думается, с очень б шой осторожностью; и хотя Г. С. Киселев, как правило, проявляет это качество, кажется, есть смысл еще раз подумать, насколько могут быть репрезентативными временные данные по оставшим в своем развитии группам хауса (общины «языч ков» магузава) для реконструкции социальных структур начала нашего тысячелет. При всей застойности, консерватизме суданских обществ такой срок достаточно б шой, чтобы предположить немалые изменения и даже определенное развитие в лю обществе, особенно в новое и новейшее время.

Катализатором дальнейшего развития явилась, по мнению автора, смена (в XIII в правящих династий. Справедливо отвергая крайности «теории завоевания» как шашающего фактора политогенеза, Г. С. Киселев в то же время закономерно отме существственный факт значительного усложнения социальной структуры в результе воевания или миграции: «Вытеснив или уничтожив руководящий слой древнехаус ских общинных образований во главе с верховным жрецом-вождем, мигранты заня его место, но тем самым в силу ...особенно высокой социальной позиции, а такж иноэтнического происхождения они значительно способствовали институционализаци надобщиных политических структур, уже ...имевшихся в обществе древних хаус (с. 108). Г. С. Киселев показывает, что классообразование и формирование госуда ственности у хауса было сложным, многосторонним процессом. Происходит постепеное объединение земель вокруг наиболее сильных центров, появляются новые форм социальной организации и новые системы эксплуатации, новые этносоциальные стр уктуры, формируются новые этнические общности, складывается историческая терри тория хаусанского этноса, возникает вождество — предгосударственные политическ структуры. Исследование взаимосвязи социального и этнического в развитии хауса — один из интересных и ценных разделов книги Г. С. Киселева.

Проникновение ислама (с конца XIV в.), интенсификация торговли со многими областями Судана и Сахары дали новый импульс социально-экономическому, культурному, политическому развитию хаусанских городов и вождеств. На рубеже XVI в. показывает автор, в наиболее развитых вождествах власть правителей трансформируется в царскую власть — начинается формирование раннегосударственной организации. При этом Г. С. Киселев опровергает распространяемую в африканистике идею о ранних хаусанских государствах как городах-государствах. Он показывает, что источники не дают оснований для такого вывода; государства здесь образовывались на основе вождеств, центры которых превращались в столицы (с. 146—149). Что кается раннеклассового общества, которое в этот период складывалось у хауса, то он определяется автором как феодальное (стадиально — как ранний этап феодальной формации). Этот вывод, один из самых важных в исследовании, вполне логичен; одна ко опирается он, к сожалению, в значительной мере на «умозрительную» аргументацию, что отметил, кстати, и сам автор, касаясь одного из аспектов своих рассуждений на эту тему (с. 156). Здесь сказались прежде всего крайняя скудость источников по данной проблеме и дискуссионность, теоретическая неразработанность многих ее аспектов.

Очерк четвертый посвящен истории страны хауса в XV—XVIII столетиях. Автор исследует как внутренние связи и взаимодействие городов и областей хауса, так и их отношения с окружающим миром — экономические, политические, культурные. Особое место в этом комплексе отношений принадлежит распространению ислама в хаусанских землях. Г. С. Киселев прослеживает влияние на хауса крупнейших держав средневекового Судана — Мали, Сонгаи, Борну; особенно тесными и многообразными были связи с Борну.

В контексте этих отношений автор вскрывает специфику контактов «центр — периферия», которые сложились в XV—XVI вв. в Африке севернее экватора: для развитых классовых обществ Северной Африки страны хауса были дальней периферией, ближе же было государство Борну, которое в свою очередь выступало в качестве «центра» по отношению к хаусанским землям; последние играли подобную роль для

зон южных соседей. Участие стран хауса в торговле невольниками (хауса захватывали их в своей южной, доклассовой периферии и переплавляли в Борну, откуда «живой товар» шел дальше на север) стимулировало в этот период их социально-экономическое развитие.

Таким образом, преобладающей в комплексе контактов «страны хауса — Борну» была не регрессивная, а прогрессивная тенденция. Это — важное дополнение к той характеристике контактов «центр — периферия», которую сделал Л. Е. Куббель².

Специальный раздел автор посвятил расцвету хаусанских земель (особенно Кацины и Кано) в XVII в., когда после падения государства Сонгай в страны хауса переместились и основные операции транссахарской торговли, и центры исламской культуры Западного Судана. Значительным явлением стал в XVII—XVIII вв. расцвет «малых» государств хауса — Замфары и Гобира. XVIII в. был временем наивысшего развития хаусанских стран, и прежде всего Кацины и Кано, в период до возникновения в начале XIX в. на территории хауса халифата Сокото.

Нельзя не отметить, что третий и четвертый очерки посвящены темам, которые исторически еще не разрабатывались в советской африканистике, что само по себе уже уделяет их значение. Но ценность их, как и всей книги, конечно, не только в этом. Пред нами основательный, интересный труд, мимо которого, думается, не сможет пройти в ближайшие десятилетия ученый, работающий в области этнической или социально-политической истории Западного и Центрального Судана (не говоря уже о хаусах). Ибо Г. С. Киселев в своих «Очерках» на основе тщательного, нередко полезного анализа источников и внимательного, строгого и объективного одновременно прочтения имеющейся литературы не просто дал последовательное свое изложение и толкование некоторых крупных вопросов хаусоведения, но и сумел органически связать их с важнейшими проблемами современной исторической науки.

С. Я. Козлов

² Куббель Л. Е. Африка. — В кн.: Первобытная периферия классовых обществ до начала Великих географических открытий. М.: Наука, 1978.

Ethnological Research into Contemporary

Ethnic-National Processes in the USSR (To the 50-th Anniversary of USSR Academy Sciences Institute of Ethnography Decorated with the Order of Peoples' Friendship)

The author first describes the part taken by Soviet ethnologists in the practical organization of state-national life in the early Soviet years. He goes on to note the considerable development in subsequent years of ethnographic field studies dealing with ethnic processes among the country's peoples, the elaboration of the theoretical aspects of ethnic problems in the postwar period, and the publication of a number of studies examining contemporary ethnic processes in various regions of the country. In the last decade a prominent role is played by ethnosociology, a discipline that has sprung up in the boundary zone between ethnology and sociology; ethnosociologists have carried out field investigations in certain regions of the Russian Federation, in the Baltic Soviet republics, in Middle Asia (Soviet Central Asia), etc. The results of all these studies have been summarized in a monographic volume under collective authorship «Contemporary Ethnic Processes in the USSR».

The author also briefly describes the result of ethnological research into contemporary ethnic-national processes in the USSR including their ethnosocial, ethnodemographic, ethnocultural, and ethnolinguistic aspects as well as problems of inter-national relations.

Yu. V. Bromberg

Tradition and Variability

It is shown in the paper that variability (or, rather, the correlation between tradition or stability and variability) is one of the most important characteristics of culture in general and of traditional everyday culture in particular. Variability should not, however, be contraposed against tradition: it is for tradition a way of existence and, at the same time, a necessary condition of existence. Such a combination of stability and variability is typical of a broad class of reproducing systems characterized by temporal continuity which is realized in individual (discrete) acts, objects or beings that are, however, conjoined into a single sequence.

An attempt is also made to show the differences in the actual processes by which variability is achieved between the various spheres and strata of traditional everyday culture (dwellings, clothing, food, rituals, verbal folklore) as well as their dependence on the forms of existence of facts and phenomena within these spheres and strata.

In conclusion the author deals with the peculiar interrelation between variation and stability, variation and the fundamental changes which have taken place among European peoples in the era of urbanization.

K. V. Chikobava

Problems in the Study of the Culture of Life Subsistence in an Ethnos

The paper is devoted to a general description of a systematic comparative typological study in the problems of Armenian rural culture. The study was conducted by the personnel of the Department of Culture Theory in the Institute of Philosophy and Linguistics (Academy of Sciences of the Armenian SSR) together with a group of ethnologists. One of the basic tasks of the study was to find optimal forms for integrated co-operation between ethnology and culturology. The direct objects of analysis were the settlement and dwelling system, the system of nutrition and their symbolism. All the main conclusions of this study have been summarized in the monographic volume under joint authorship «Culture of Life Subsistence and the Ethnos» (Yerevan, 1982).

The authors of the present paper give a general description of the ethnocultural approach proposed in this comprehensive work and emphasize its broad perspectives. The main advantage of this approach lies in its capacity for an organic combination of the broadest culturological generalizations with empirical studies of concrete local ethnocultural forms. This may help to overcome a one-sided bias in the specialized study of ethnocultural forms. At the same time, as is pointed out in the paper, progress in ethnocultural

depends directly on the development of crucial problems in the culturological theory itself and first of all on its capacity for representing culture as an actually functioning and developing system and showing the interrelations of its main subsystems.

*S. A. Arutiunov, E. S. Markaryan,
Yu. I. Mkrtumyan*

60 Years of Georgian Soviet Ethnography

The author describes the achievements of Georgian ethnography for the last 60 years. Analysis of scientific literature published in this sphere shows that Georgian ethnography is rooted in the remote past. However, it is only in the Soviet period that Georgian ethnography has become formed as a science. Georgian Soviet ethnographers have produced fundamental works dealing with material culture, economic life, social relations, poetical and musical folklore, religious beliefs. The forms of dwellings and of settlements, traditional interior decoration, work tools, family life, wedding rituals, common law systems, have been studied, as well as a number of other problems. Georgian ethnography holds a high place in Soviet ethnographical science.

V. D. Itonishvili

Arabs in the Caucasus

During the author's expedition to Azerbaijan in 1976, she was told by her informants about locally dwelling Arabs who had until recently retained their ethnic self-awareness, their self-appellation (*Arab*) and their own (though greatly changed) mother tongue. These field data are in good agreement with historical data according to which considerable groups of Arabs had settled in Azerbaijan and Daghestan beginning with the period of Arab conquests.

The paper offers a detailed description of the area inhabited by the Caucasus Arabs, their ethnic aspect, the peculiar features of their everyday culture.

N. G. Volkova

The Policy of Transporting the U. S. Indians in the 1830ies

The paper deals with the initial stage in the policy of transporting Indians from their original ethnic territories to the Western regions of the United States. It is shown on the base of contemporary official documents that although the transportation of the original population took the outward form of treaties with Indian tribes by which they «voluntarily relinquished» their lands, the aborigines were actually forcibly deprived of their domains in the interests of the territorial expansion of the United States.

V. G. Stelmakh

On the Methodology of Studying Problems of Ethnic-National Psychology

The author examines a broad spectre of problems connected with studying ethnical psychology. He demonstrates the exceeding complexity of the object of investigation, the heterogeneity of the elements that comprise the psychology of a people. It is proposed to regard the national psychology of a people primarily as a factor furthering the stability, the integrity of the national entity.

The study of national psychology should be based upon the main characteristics of a nation that, in the aggregate, determine all the aspects of a nation's life: 1) the distinctive manifestations of the historical and class aspects; 2) the distinctive value orientations and attitudes, traditions, emotions and sentiments reflecting the nation's external and internal situation, its natural and historical environment; 3) the historically formed attitudes, views, opinions, feelings expressing the mental position of the particular nationality towards other peoples, to the world, to mankind as a whole.

The sphere of national psychology comprises, according to the author, feelings, emotional experiences, habits, customs, traditions, tastes, attitudes, etc. in which are reflected the distinctive features of national life, of national history. Besides this, the distinctive traits of national psychology reflect in one way or another the particular demographic and ecological factors of national life.

Psychological traits objectivized in the sphere of culture should be studied in junction with national distinctions in the structure of personality.

In all, three groups of social-psychological factors may be distinguished as forming the national mentality: 1) national interests, requirements, attitudes and orientations; 2) the nation's mental make-up; 3) the ethnic-national feelings and sentiments.

A. F. Dashdam

On Certain Methodological Problems in the Study of Ethnic Psychology

The author examines some of the difficulties that stand in the way of the development of ethnopsychological studies. It is, in his opinion, particularly important to give a new slant to the direction of research: instead of badly founded and unlikely to be realized attempts to establish a common mentality in each people, to give at one stroke a summary picture of a particular «national character» it should be aimed at solving more concrete problems of ethnic psychology, such as the study of certain distinctive traits in the mentality of particular ethnic groups, e. g. the attitudes towards interethnic contacts, specific traditions in antistress behaviour, etc.

V. I. Kozlo

National Psychology and Ethnopsychology

Ethnopsychological studies are at present faced with a variety of problems. The gravitate on the one hand — towards philosophy and sociology, on the other — towards general psychology. This difference may, in the author's view, be expediently expressed by the use of two different fixed terms: «national psychology» and «ethnopsychology».

A. A. Leonfyen

The Arbitrary Character of the Concept of Ethnopsychology

While individual psychological reactions can be observed and compared within the framework of one and the same environment, each ethnos has an environment of its own and hence the challenges of the environment they react to are not identical. Ethnic psychology is a part of ethnic culture and, as such, it is a means of adaptation to the natural and social environment. Therefore an ethnopsychological study is rather an ethnological than a psychological task. The result of such a study may be a comparatively high predictability of average individual behaviour in situations that are typical for a certain ethnic entity, but this will not ensure predictability of behaviour in non-typical situations.

S. A. Arutiunov

Ethnic Distinctions in «Naïve» Psychological Concepts

It is affirmed in the paper that in a given culture there exists a system of popular concepts as to the character and typical behaviour of an individual. Such concepts have practically never been studied, and at present the first steps are being taken in this direction. Recently, so-called «implicit theories of personality» have been brought to light, i. e. commonly held ideas as to the interrelation between an individual's qualities and their manifestation in his behaviour. The first task here is to learn the quantity and the functional characteristics of the terms used in a particular culture for describing an individual. It is important to determine the significance and the permissible limits of an individual's self-expression as a personality. It is also necessary to find out which personal qualities are regarded in the given culture as being of crucial importance and which are considered to be peripheral, and how they are interrelated in the ordinary person's mind.

Besides all this, no study of ethnic distinctions in naïve psychological concepts can be complete without a description of the supposed standard traits attributed to an individual of a particular sex, age, status, etc.

I. M. Kuznetsov

CONTENTS

Yu. V. Bromley (Moscow). Ethnological Research into Contemporary Ethnic-National Processes in the USSR (To the 50-th Anniversary of USSR Academy of Sciences Institute of Ethnography Decorated with the Order of Peoples' Friendship). *K. V. Cistov* (Leningrad). Tradition and Variability. *S. A. Arutiunov* (Moscow), *E. S. Markaryan*, *I. Mkrtumyan* (Yerevan). Problems in the Study of the Culture of Life Subsistence in Ethnos. *V. D. Itonishvili* (Tbilisi). Sixty Years of Georgian Soviet Ethnography. *G. Volkova* (Moscow). Arabs in the Caucasus. *V. G. Stelmakh* (Moscow). The Policy of Transporting the U. S. Indians in the 1830ies.

Discussions

A. F. Dashdamirov (Baku). To the Methodology of Studying Problems of Ethnic-National Psychology. *V. I. Kozlov* (Moscow). On Certain Methodological Problems in the Study of Ethnic Psychology. *A. A. Leontyev* (Moscow). National Psychology and Ethnopsychology. *S. A. Arutiunov* (Moscow). The Arbitrary Character of the Concept of Ethnopsychology. *I. M. Kuznetsov* (Moscow). Ethnic Distinctions in «Naïve» Psychological Concepts.

Communications

N. V. Shlygina (Moscow). On the Functional Interrelation of the Buildings of a Peasant Household in the Eastern Baltic. *V. S. Tsoy* (Alma-Ata). The Study of Family Relations among the Koreans of Kazakhstan. *Ye. P. Zavadskaya* (Moscow). Certain Ethnographic Aspects in the Rise of the Multi-National Ethiopian State in the Late 19th Century.

Ethnography in Museums

A. M. Razgon (Moscow). The Museum and Science. *A. O. Meliya* (Tbilisi). The Museum of Georgian Folk Architecture and Everyday Life.

Findings. Facts, Hypotheses

N. L. Zhukovskaya (Moscow). A Visit to Kaminoyama.

Academic Life

Yu. V. Bromley, *L. P. Kuzmina* (Moscow). The Second Congress of the International Society for European Ethnology and Folklore. *V. A. Tishkov* (Moscow). The 44th International Congress of Americanists. *M. S. Butinova* (Leningrad). The 13th Conference for Studies of Australia and Oceania. Expeditions in Brief.

Criticism and Bibliography

Critical Articles and Reviews. *Z. M. Volotskaya* (Moscow). New Trends in the Study of Bulgarian Folk Tales. General Ethnography. *L. Ye. Kubbel* (Moscow). *A. I. Pershits*, *A. L. Mongait*, *V. P. Alexeyev*. The History of Primitive Society. *V. N. Kislyakov* (Leningrad). The Collection of the Museum for Anthropology and Ethnography of the USSR Academy of Sciences. To the 100th Anniversary of the First Academic Ethnographic Centre. Peoples of the USSR. *L. B. Zasedateleva* (Moscow). *B. A. Kaloyev*. The Agriculture of the Northern Caucasus Peoples. *V. P. Kozlov* (Moscow). *V. A. Kuznetsov*. The Nart Epos and Certain Problems in the History of the Osset People. *T. S. Makashina* (Moscow). Ritual Songs of the Pinega River Area. Peoples of Europe outside the USSR. *Yu. L. Bessmertniy* (Moscow). *Georges Duby*. Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France médiévale. Peoples of Asia, outside the USSR. *G. N. Grachova* (Leningrad). *Ye. V. Revunenkov*. Peoples of Malaysia and Western Indonesia: Certain Aspects of Their Spiritual Culture. Peoples of Africa. *S. Ya. Kozlov* (Moscow). *G. S. Kiselev*. The Hausa. Essays on Their Ethnic, Social and Political History Prior to the 19th Century.

Технический редактор *Беляева Н. Н.*

Введен в набор 11.01.83 Подписано к печати 22.03.83 Т-05563 Формат бумаги 70×108^{1/16}
Оформление печат. Усл. печ. л. 15,4 Усл. кр.-отт. 44,6 тыс. Уч.-изд. л. 18,1 Бум. л. 5,5
Тираж 2846 экз. Зак. 4422

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР производит в 1983 году прием в аспирантуру с отрывом и без отрыва от производства по специальностям:

**антропология и
этнография народов мира.**

К вступительным экзаменам допускаются лица, имеющие производственный стаж по специальности не менее 2-х лет.

Срок обучения в аспирантуре 3 года, включая защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Поступающие в аспирантуру подвергаются приемным экзаменам по истории КПСС, общей этнографии или антропологии, одному из западноевропейских языков и представляют письменную работу на самостоятельно избранную тему.

Прием заявлений до 1 сентября 1983 г. Вступительные экзамены 1 сентября.

Документы направлять по адресу: 117036, Москва, В-36, ул. Дм. Ульянова, 11 тел. 123-90-49, 126-05-80 и 199164, Ленинград, В-164, Университетская наб., д. 1 тел. 18-07-12.

Цена 1 р. 90 к.

Индекс 70845

В МАГАЗИНАХ «АКАДЕМКНИГА»

имеются в продаже:

Гадзяцкая О. С. ПАМЯТНИКИ ФАТЬЯНОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 1976. 135 с. 1 р. 27 к.

Очередной выпуск Свода археологических источников содержит сведения о памятниках фатьяновской культуры II тысячелетия до н. э., расположенных на территории современных Ивановской, Горьковской, Костромской и Владимирской областей. Автор проводит анализ погребального обряда, погребальных комплексов и отдельных находок, рассматривает вопросы относительной хронологии, истории и культурных связей фатьяновской культуры. К работе приложены полный географический указатель памятников, карта, иллюстрированные таблицы.

Свод рассчитан на археологов, историков, этнографов, краеведов, работников музеев.

Кузьмина Е. Н. ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ БУРЯТСКОГО НАРОДА. 1980. 160 с. 1 р. 20 к.

В работе прослеживается развитие женских образов от зооморфных и антропоморфных персонажей, выявляются основные функции действующих лиц эпоса, типы улигерных героинь.

Книга рассчитана на фольклористов, этнографов и всех, кто интересуется устной поэзией бурятского народа.

Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов магазинов «Книга — почтой» «Академкнига»:

480091 Алма-Ата, 91, ул. Фурманова, 91/97; 370005 Баку, 5, ул. Джапаридзе, 13
320093 Днепропетровск, проспект Ю. Гагарина, 24; 734001 Душанбе, проспект Ленина
95; 252030 Киев, ул. Пирогова, 4; 277012 Кишинев, проспект Ленина, 148; 443002 Куй
бышев, проспект Ленина, 2; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7; 220012 Минск
Ленинский проспект, 72; 117192 Москва, В-192, Мичуринский проспект, 12; 630090 Но
восибирск, Академгородок, Морской проспект, 22; 620151 Свердловск, ул. Мамина-С
бияка, 137; 700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6; 450059 Уфа, 59, ул. Р. Зорге, 10
720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42; 310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87.